

Ахметов Кадыр

ДОЛГОЕ – ДОЛГОЕ
ДЕТСТВО
КОНЯ ДИКТАТОРУ!
ПЕШИЙ МАХМУТ

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

МУСТАЙ КАРИМ

ДОЛГОЕ – ДОЛГОЕ ДЕТСТВО КОНЯ ДИКТАТОРУ! ПЕШИЙ МАХМУТ

ПОВЕСТЬ, ПЬЕСЫ.

Перевод с башкирского
И. КАРИМОВА

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1984

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

Председатель редакционного совета
Сергей Барузин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

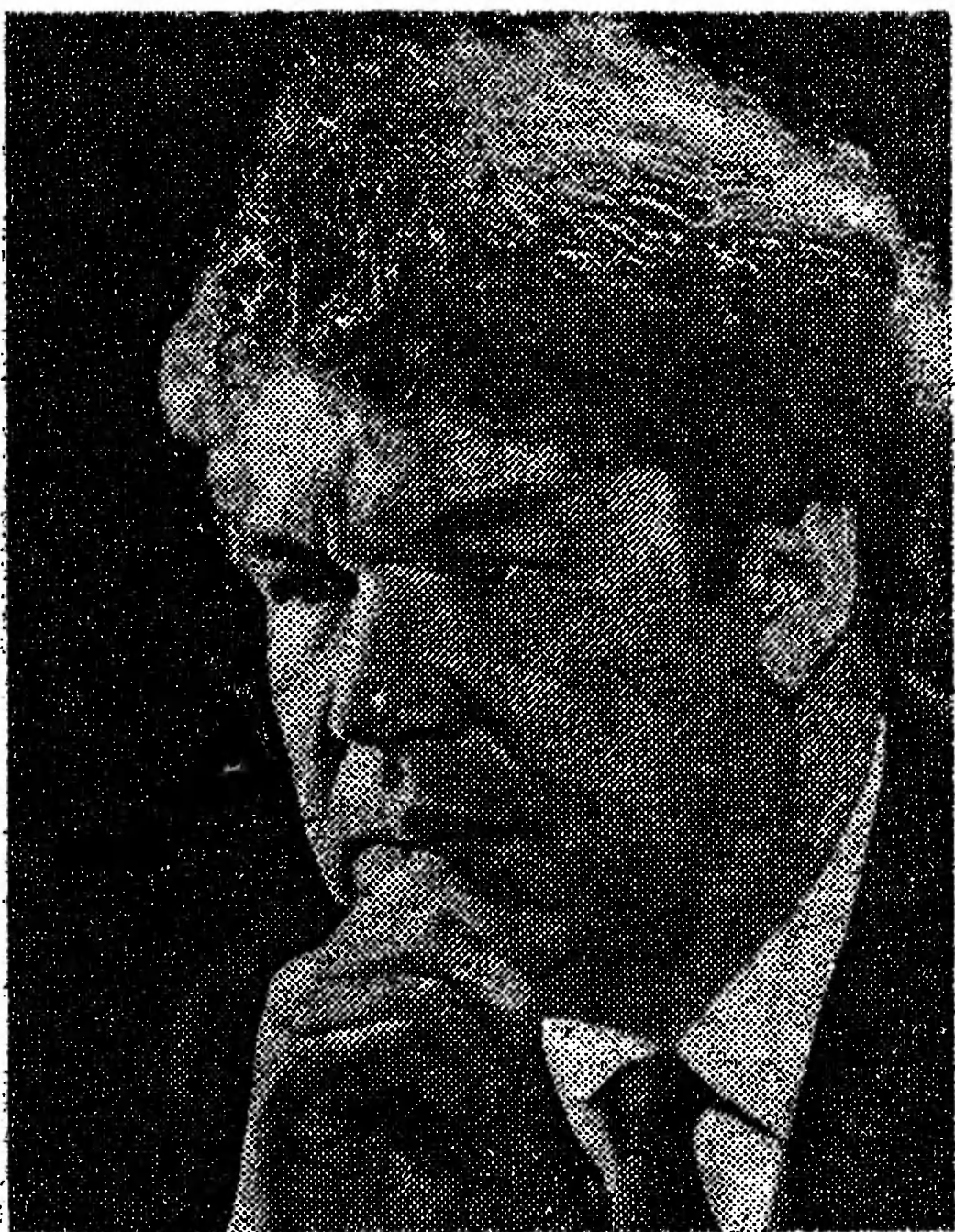
Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Ч л е н ы с о в е т а:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Каленчук, Алим Кешоков,
Юрий Киршин, Вадим Ковский,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лунан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

К $\frac{4702110000-078}{074(02)-84}$ 65—84 подписное



Myra and Raymond



ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО

ПОВЕСТЬ

СЛОВО, СКАЗАННОЕ ЗАРАНЕЕ

Книга эта про людей, которые не изжили в себе веру в чудеса. Они — чудаковатые, странные, неугомонные, наивные... Жизнь их чуть-чуть выше нашей каждодневной жизни, чуть-чуть, может быть, смешней и чуть-чуть трагичней. Терпимее и милосерднее они друг к другу тоже немного больше нашего; обвинять, осуждать кого-то не спешат. И смерть, и счастье эти люди принимают с достоинством. От радости не скачут, с горя не сгибаются.

Может, кто и спросит:

«Неужели в вашем ауле только такие люди жили?» — так я отвечаю заранее:

— Я видел только таких. Других как-то не запомнил.

И еще — может показаться, что многовато в этой книге говорится о смерти. Пусть читатель не удивляется. И жизнь, и смерть в равных правах. Но когда говоришь о второй, утверждается ценность, смысл и отрада первой.

Судьбы эти, в основном, как я уже сказал, — судьбы людей, с которыми я вместе жил или прошел кусок пути. Очень хорошим и совсем уж плохим я дал другие имена, остальных же оставил так.

Рассказчик — я сам... и не только я сам.

АВТОР

ВСЕ КРУЖИТСЯ

Оказывается, я еще жив. Вижу льдисто-синее застывшее небо, медное солнце, примерзшее к этой синеве. Кто-то швыряет камни в его помятый диск, и солнце вздрагивает — дон, дон, дон... Видать и ему уже недолго осталось, скоро отвалится...

Я еще жив. Слышу, где-то рядом с легким хлопотаньем бьет родничок. По телу проходит дрожь... Чудно! Родник-то не из земли, из моей груди выбегает — бульк, бульк, бульк.

Понемногу прихожу в себя. Теперь уже слышу ясно: из груди, слева, вперемешку с кровью выпархивает дыхание. Ни боли, ни мучений. Будто и не я это, а кто-то другой. А я — вон я, навьючил на себя две катушки и тяну связь на передовую. По несущейся передо мной тени я бегу через голое поле — только разрывы мин вырастают и опадают по сторонам. Она длинная, моя тень, — значит, солнце взошло недавно. Вдруг тень с лёта упирается в одинокий дуб на меже. В тот же миг прямо передо мной вспыхивает огненный стог — и гаснет. Но последняя маленькая искра толкает меня в грудь, и я с разбега остановился, отшатнулся. Закачался...

Я все еще качаюсь. Нет, теперь уже сама земля укачивает меня — как в колыбели. Небо то убегает ввысь, то подходит совсем близко. Тот солдат, бежавший с катушками, и я сходимся, сходимся и — становимся одним человеком. Вот это хорошо. Жалко было бы — если бы совсем разминулись.

Да, я уже живой. Над самой головой колышутся ветви дуба, а вокруг него, взявшись за руки, ведут хоровод малыши. И среди них — я, моя сестренка Салиса, братишка Ильяс. Сначала мы поем какую-то веселую песню, потом начинаем верещать, спорим, ссоримся, плачем

и снова миримся. А сами все кружимся, кружимся, кружимся... И не только мы — кружится земля вокруг дуба, небо. Солнце кружится, луна, проглядывающие звезды... Только дуб стоит, не шелохнется.

Но дерево уже не дерево, а моя Старшая Мать. И не одни малыши, вся наша семья — отец, Младшая Мать, мои старшие братья, сестры кружатся вокруг нее. Даже пара наших серых коней, две пестрые коровы, телята, овцы, куры, гуси в этом хороводе. Вокруг нее вращаются все наши счастье-радости, беды-горести, заботы каждодневные и долгие мечты — мир и судьба наши кружатся. Старшая Мать — незыблемый ствол этой жизни, и потому стоит она спокойно и надежно, будто неведомы ей печаль и страдания, старение и смерть, только мягкая улыбка на лице...

Утренний свет скачет в листьях дуба. Ветра нет, это лучи раскачивают листья, и они тихо шелестят. Нет на земле ни войны, ни смерти. Только все еще чем-то колют по солнцу — бом, бом, бом...

Прилетели откуда-то безобразные птицы с черными крестами на крыльях и закружили в небе. Вспышки зенитных разрывов заплесали вокруг них. Я лежу навзничь и вижу все прямо перед собой. Вдруг из утробы этих птиц стали выпрыгивать черные птенцы. В слепой ярости они ринулись прямо на меня. Каждая бомба нацелилась в меня, только в меня. Считаю: одна, две, три, четыре, пять... девять, десять, одиннадцать... Не много-вато ли на одного? Сейчас, вот... первый взрыв, и содрогнется земля... Вот, сейчас...

В один день второй раз умирать не хочется. Двадцать два года я эту жизнь копию — по дням, по часам, по минутам, а тут возьми, дескать, и опрокинь чашку. Нет уж. Я хочу вскочить, спрятаться куда-то. Не могу. Только и хватило меня, чтобы перевернуться лицом вниз. И тут пошел непрерывный грохот. С каждым взрывом я вбираюсь в землю, вжимаюсь в нее.

И стало мне стыдно. Да что я, крот, что ли, землю носом рыть? В бою среди товарищей трусом не слыл, а вот сейчас одолеешь ли себя? Один на один со страхом, когда никто не видит?.. Впрочем, кому надо тебя видеть, увидит всегда. Любимый человек, скажем. Ведь для него ни времени, ни расстояния — нет. Ожидать смерть спокойно, без суетни — тоже мужество. Так не суетись!

Я снова лег навзничь. Придет смерть, пусть в глаза хоть заглянет. Нет, на сей раз не пришла. Врезала стальным осколком мету в мою двенадцатилетнюю жизнь и прокатилась дальше. Тишина легла — задохнуться можно. Жутко даже.

Вдруг горестный леденящий крик пронесся над полем, ударил мне в сердце. И стон, и плач, и мольба — никогда в жизни не слышал я такого крика. Весь вытянувшись, я ждал. Долго ждал. Он не повторился, но в душе моей остался навсегда. Значит, тут, на поле боя, кто-то с последним вздохом оставил миру свой прощальный крик.

И в то же мгновение ожили, гырвались, зазвенели десятки других голосов. Это уже был первый зов новорожденных, который посылают они в раздолбанный мир. Я много слышал их, когда был маленький. И в это смертное, в это свежее утро боя они сошлись в моей душе — крик первый и крик прощальный. Теперь мне суждено нести их до самых пасмурных и грустных своих дней, потому что я тогда понял, почему у реки — два берега. Потому что как два берега держат течение вод, так и между двух берегов течет сама Жизнь — Время: один берег — небытие, другой — вечность. А человек кладет на это жизнь — пытается соединить два берега: из дерева, камня, железа, из мысли и мечты строит мост. Уносят мост половодья, крушат ураганы, обращают его в золу мимолетный галактический огонь. Человек гибнет, рождается вновь и принимается за свое вечное дело: строит мост. Потому что всегда в его сердце живут те два крика.

...Вдруг показалось, что дуб шатнулся, потом снова встал на место. Кто-то бережно поднял меня и положил на носилки. Понесли. В изножье шагает тщедушный солдатик, я вижу только его опущенные плечи и худое желто-бледное лицо, по скулам двумя извилистыми ручейками струится грязный пот. Его карие глаза смотрят на меня пристально, завораживающе... Будто зовут они меня далеко-далеко — в милосердные пределы, в безмятежные года. Или, напротив, заглядывают в зловещий и мрачный край, откуда и эхо твоё не вернется? «Отпусти глаза... — хочу я сказать. — Оставь меня здесь, — во рту только кровь прыскает. Еще я замечаю шрам под подбородком. Наверное, след старой раны. Бледное лицо, карие глаза, мета на подбородке — все это вя-

жется в один узел. Что же это за узел? Кто этот человек, который с трудом несет мое окровавленное отяжелевшее тело? Не могу, совсем обессилела память, соберется и тут же разжмется. Потом я его вспомню, очень хорошо вспомню. А сейчас он, спотыкаясь, вспахивая сапогами землю, выносит меня с поля, где только что забавлялась моя смерть.

Это поле осталось на тридцать лет позади. Живет ли еще тот дуб, который прижудился мне Старшей Матерью, я не знаю. А Старшая Мать еще задолго до того утра переселилась в дом, где быть ей вечно. В день, когда она ушла, падал крупный порхающий снег, падал и падал, и крыша ее дома скоро стала белой-белой. Но Старшая Мать и поныне стоит посередине — то солнечной, то ненастной, то цветами покрытой, то метелью повитой — поляны моей жизни. И все кружатся, кружатся вокруг нее мое детство, моя юность, годы возмужания и зрелости, вся моя жизнь кружится вокруг нее.

Почню: первая рука, которая поддержала и повела меня — была ее рука. Мы много ходили вместе, часто она вела меня вот так — за мою послушную руку своей мягкой и крепкой. Вот и сейчас мы, взявшись за руки, спешим вниз по улице. Люди, наверное, удивляются: «И куда они так спешат?» Когда бы спросили, я ответил: «Человека родить».

ЧЕЛОВЕКА РОДИТЬ

Мою Старшую Мать все зовут повивальной бабкой, повитухой, а меня прозвали — «повивальным дедом». Я маленький, я только еле-еле дотягиваюсь до кармана се белого камзола. Это волшебный карман. Кусочек сахара, горстка изюма, пряничные крошки, сушеная черемуха, каленый горох — разные вкусные вещи то и дело возникают в нем. Иной раз и медные деньги звякнут (а силу денег мы уже знаем!). Словом, карман этот — клад неисчерпаемый...

Вот и сейчас: только сунул руку — как два крупных урюка вкатились в горсть. Один я тут же отправил за щеку. Нет у нас такой ненасытной привычки, взять и

проглотить что-нибудь вкусное сразу. Я его теперь до вечера буду обсасывать. Второй прячу в карман новых, сегодня впервые надетых штанов. Когда вернемся, этот урюк я разделю между сестренкой и братишкой. Может, с этого дня и мой карман станет для них волшебным. «В щедрые руки добро само плывет», — говорит Старшая Мать.

Мы идем к Черному Юмагулу с Нижнего конца нашей улицы. Его жена «заболела на ребенка». Весть эту нам принес сам, бледный, как пепел, Черный Юмагул. Сказал и выбежал, не дожидаясь ответа. Ясное дело, к ребенку зовут совсем не так, как в гости приглашают. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, степенно проходит в передний угол, садится на стул. Не спеша, размеренно прочитывают с хозяином молитву. Потом он расспросит о благополучии скота и рода. Хоть он, может, и твой ут курше — самый ближний сосед по огню — все выспросит подробно. Так положено. Что это не пустой обычай, я понял, только когда подрос. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, своими ушами должен услышать, своими глазами увидеть, что в хозяйстве твоём благополучие, в роду — здоровье и на душе — спокойствие. Ибо человеку с тревожным сердцем может быть и не до застолий.

Надо и то сказать, что в нашем ауле не только по крови-родству знают, но и с положением да богатством сообразуются. У каждого свой круг, своя компания. У каждой компании, как водится, своя застольная:

Хмельны бан с медовухи.
Дует бражку середняк.
А из проруби на брюхе
Похмеляется бедняк ¹.

Мой отец угощается в кругу пьющих брагу. Я это точно знаю. А Черный Юмагул, хотя недавно новый дом с постройками справил, от проруби недалеко ушел. Он, конечно, в нашем доме и глотка холодной воды не глотнул. Впрочем, мой отец дальше порога некоторых домов, где пьют медовуху, тоже не шагнул. Может, не звали, а может, звали, да сам не пошел. Скорее всего, не пошел. Хоть и важное там у них общество, да и не пристало

¹ Все стихотворные тексты переведены Юрием Кушаком.

гордому роду из красного угла к двери пересаживаться. Это я теперь, когда сам стал отцом, так думаю.

Нам же со Старшей Матерью все двери широко открыты — и глинобитных, ушедших в землю лачуг, и домов под железной крышей, с высоким крыльцом, с русскими воротами. Кое-какие, знаю, и не открылись бы, да есть кому их открыть. Считай, в каждом доме весною ли, осенью, днем ли, ночью, в ведро или непогоду — только время настанет, рождается человек. А чтобы встретить человека, нужны мы со Старшей Матерью.

— Видно, наперсница, без него и пути тебе нет, — сказала давеча Младшая Мать, кивнув на меня.

— Да, Вазифа, когда безгрешная душа где-то рядом со мной, и женщины, кажется, легче рожают.

— Будто... — Младшая Мать странно и коротко рассмеялась. — Надо же, как эти двое друг друга приворожили.

— Доля мужа — моя частица. Вот и вся ворожба, — сказала Старшая Мать и вроде бы вздохнула. А может, и не вздыхала.

Что это — «Доля мужа — моя частица»? Смысл этих слов я понял только через многие годы.

— Твое право, — сказала Младшая Мать и опустила голову, словно виноватая. — Чего ни коснешься — вправе ты.

— У каждой из нас — своя вера, у каждой веры — своя истина. Одной правдой мы обе жить не можем. Может, и права я, да только на одну меня моей правды и хватает.

Вот вам и беседа. Вроде бы каждое по отдельности слово моих матерей я понимаю. Но соединятся они — и сразу смысл их из головы как дым разлетается, в воздухе тает. Но в душе остается печаль и смутная тревога.

Эта тоска, располозовавшая мое сердце надвое, долгие годы не оставит меня. Потому что чувства этих двух женщин пройдут со мной по всем дорогам. Как тени двух лун, будет во мне двойная грусть от их двойной любви. Да, две матери любили меня, и сам я старался свою любовь поделить меж ними равно. Сам себя надвое делил. Придет время — не только радость этой любви, я узнаю и ее страдания.

И вот с урюком за щекой я рысцой бегу рядом со Старшей Матерью. Подошли к воротам Черного Юмагула. Хозяин, который плел какую-то веревку перед клетью, бросил работу и побежал открывать ворота. Старшая Мать тут же направилась к дому. Теперь я уже должен буду сам о себе позаботиться. В дом мне хода нет, это давно известно. Коренастый, ладно сбитый Черный Юмагул, помаргивая узкими глазами в припухших веках, умоляет Старшую Мать:

— Пусть уж мальчик будет, уж пожалуйста, мать, первенец ведь, вовек не забуду. Я даже имя припас — Хабибулла. Давно берегу.

Старшая Мать легонько похлопала его по спине.

— Ладно, коль выбирать придется, выберем Хабибуллу. Ступай, займись делом, — сказала и исчезла в дверях.

— Уж пожалуйста, мать, — у Черного Юмагула отчего-то дрожат губы.

Он идет к клетки и снова берется за свою веревку. Я взбираюсь на чурбак неподалеку от него, пристраиваюсь поудобнее. Держу я себя с достоинством, свое место знаю — я повивальной бабки сын. В мелочи не встречаю, у взрослых под ногами не путаюсь. Выбираю себе место по душе и сижу, выдержку показываю. Потому и взрослые в доме, где ждут младенца, не решаются бросить мне: «Эй, мальчик!» — нет, называют полным именем.

Только высидев достаточное время, решаю одарить Черного Юмагула словом.

— Что плетешь? — роняю я.

— Аркан. Когда плетешь, время быстро идет. Ни конца ему, ни края — плети и плети.

Черный Юмагул считается человеком замкнутым. О нем говорят, что из него слово лопатой выковыривать нужно. А сегодня у него язык развязался. Он немного помолчал и добавил:

— На этом свете, брат, все на веревке держится. Не будь веревки — весь мир бы развалился.

А ведь правда! Без веревки попробуй поживи. Пораженный его словами, я молчу, молчит и Черный Юмагул. Поплетет немного и послушает сторожко, как там в доме, поплетет — и опять. Я уже начал изнывать.

— Когда аркан-то доплетешь?

— Да поплету еще, покуда парень не родится...

— Ого! А вдруг не скоро?

— Родится. А лыка у меня целый воз, хоть пять дней плести.

Раза два показалась Старшая Мать. Какая-то молодая женщина принесла три коромысла воды. День уже клонится к вечеру. Тот урюк давно во рту растаял. А косточку я печаянно в красный сундук, в живот то есть, упустил. Там совсем пусто — только эта косточка перекатывается. Уже перед тем как пригнали стадо, та самая женщина, что за водой ходила, вынесла нам поест. Хоть и всухомятку, но, заморив червячка, я почувствовал себя веселее.

Я снова принаседился на том чурбаке, а Черный Юмагул принялся за свое лыко. Аркан, если растянуть, наверное, теперь до полумесяца на мечети достанет. Много сплел.

— А зачем тебе такой длинный?

— Вот в этой клетке будет висеть. А как исполнится Хабибулле семнадцать — вручу ему.

— А зачем аркан, когда семнадцать исполнится?

— Зачем, говоришь? А вот послушай...

Его узкие глаза вдруг широко раскрываются, и какой-то колдовской свет льется из них. Сначала он разлился по его широкому лицу, потом пробежал по аркану, и мне показалось, что не желтый лыковый аркан кольцами лежит на траве, а золотой луч лентой льется из глаз этого совсем не красивого человека. Хочется дотянуться, потрогать, но боюсь, что прикоснусь — и волшебный свет погаснет.

— Вот послушай!.. — повторяет Черный Юмагул. Голос его теперь совсем не писклявый, как давеча, все крепнет, поднимаясь из груди, — можно подумать, что он песню поет...

Вот сейчас мне раскроется тайна, какая глазу людскому не казалась, слуха людского не касалась. Я жду.

Он прислушивается. Но из дома, кроме тишины, ничего не слышно. Хабибулла знака еще не подал.

— Видишь, вон горизонт, — Черный Юмагул подбородком показывает вдаль, — а за этим горизонтом стоит высокая-высокая гора, Урал называется. На самой вершине той горы растет черный дремучий лес, а в том лесу — круглая поляна, а на той поляне круглое озеро. Озеро это — в семьдесят обхватов, а дна и вовсе нет. И в озере том ни рыбы, ни какой другой живности —

один только золотогривый, с серебряными копытами конь Акбузат. Конь этот ветром веет, птицей взмывает, ожидаемое тобой приблизит, прошлое твое вернет, задуманное исполнит, с человеком по-человечьи говорит, с богом тайны делит — вот какой это конь. В самую короткую ночь, в час, когда зацветет орешник, когда с липы начинает капать мед и травы наливаются соком, разрезав озерную гладь, полоща гривой, появляется Акбузат. И, покуда рассвет не забрезжит, никого не боясь, не остерегаясь, будет конь траву на поляне щипать. Изловчишься накинуть ему на шею аркан в семьдесят обхватов длиной, твоим будет конь. Такое дело под силу только джигиту, который днем звезды видит, ночью на зверя пойдет. За день — на месяц, за месяц — на год, вот как будет мой сын расти. И вот исполнится ему семнадцать, перекинет он через плечо аркан в семьдесят обхватов и пойдет за счастливым крылатым конем. Милостью бога сбудется это...

Я сижу и тихонько завидую про себя. Неплохо пошли дела у этого Хабибуллы! Сам еще не вылупился, а в дремучем лесу на берегу круглого озера уже пасется, пощипывая траву, Акбузат, его поджидает, и даже аркан на коня сплетен. Вон он, золотом блестит в лучах закатного солнца, ровно через семнадцать лет захлестнется вокруг шеи волшебного коня. И Хабибулла, который скоро родится, вдруг предстает передо мной золотоволосым могучим богатырем с серебряными ногтями. Вот кого мы тут дожидаемся!

Закончив на этом рассказ, Черный Юмагул вроде бы приуныл. Посмотрел с надеждой в сторону дома и снова принялся за аркан.

Начали опускаться сумерки. Как застывает водная гладь, застыла тихая синева. Я в мыслях опять унесся к тому озеру. Не этот еще не родившийся Хабибулла, а я сам сижу на берегу с арканом в руках. Сейчас покажется из воды красивая голова коня. Да вот он, уже проступил, вынырнул и, разметав гриву, громко-громко заржал!

— Родился! — Черный Юмагул даже присел немножко. — Родился! Мой сын родился!

Он прынул было к дому, но резко остановился и повернул обратно. Подбежал к клети и с жаром принялся плести. Даже глаз за руками не поспевает. Покуда повитуха с суюнче — радостной вестью — не придет, ему

положено терпеливо ждать. Но, видно, очень уж не-
втерпеж. Вот дурень.

Я свесив ноги, спокойно сижу на чурбане. Что поль-
зы в пустой суетне? Придут, скажут. Коли родился, яс-
ное дело, обратно не уйдет. Но почему все же не идет
Старшая Мать? Во мне тоже шевельнулась тревога. Испу-
ганные глаза Юмагула снова выплыли из-под век. Он
бросил работу. Вздохнул. И красивая поляна, и озеро
на той поляне, и конь на берегу реки уже где-то в су-
мерках утонули. Извивающаяся по траве золотая лента
опять стала убогим лыковым арканом. Я боюсь даже
взглянуть в сторону дома: сейчас откроется дверь, и от-
туда выглянет черная страшная беда. Нет, конечно, это-
го не случится, ведь там моя Старшая Мать.

Крик, еще сильнее, еще звонче первого, вырвался на
улицу. Черный Юмагул вздрогнул. Нет, не для того на-
родился этот голос, чтобы так скоро замолкнуть.

Пройдет время, ясным утром я буду лежать под ду-
бом, разнесется по полю чей-то предсмертный прощаль-
ный крик, и вслед за ним снова оживет в моей памяти
крик, вот этот самый, и ударит в сердце.

На крыльце появляется Старшая Мать.

— Суюнче, Юмагул! — говорит она, сама стоит не
шелохнется.

Тот в мгновение ока очутился перед ней, встал на
колени.

— Кто?!

— Два сына.

— Двое? Сразу? Зачем двое? А второго как зовут?

— Эх ты, глупый, двое же лучше, чем один. Уж, на-
верное, за именем дело не встанет, что-нибудь да най-
дешь.

— Да, да, лучше, двое лучше... Найдем имя. Аллах
акбар! — он прямо на коленях прочитывает благодарст-
венную молитву. — За добрую весть, мать, тебе одну ов-
цу. Нет, две овцы. Аллах акбар!

— Ошалел! Воистину: у тощей лошади кишка ши-
рока. Одного ягненка с лихвой хватит.

В нашем деле подобное — я имею в виду двойня-
шек — только второй раз. Привалило Черному! Конечно,

одного ягненка на такой случай маловато. Но что я могу сказать,— вперед повитухи не влезешь.

Старшая Мать сошла с крыльца и похлопала Черного Юмагула по спине:

— Дай бог, чтобы сыновья твои явились в этот мир себе на радость и счастье, вам на благо. А жена твоя ну прямо молодая львица. Подлинную цену женщине по тому узнаешь, как она рожает. Знай ей цену.

Ну, ребенок родился, думаете вы, делу конец, заберут эти двое барашка-суюнче и отправятся домой. Нет вот. Все почести да угощения, положенные нам, только теперь-то и начинаются. На целую неделю их хватит, а может, и больше.

Вот как это бывает.

В дом, где родился младенец,— бедный ли дом, богатый,— со следующего утра сватьюшки да тетушки, кумушки-соседушки начинают стекаться с яствами. Только бэлеш опустился на стол, а в сенях уже скворчат и пофыркивают блины на горячей сковороде, по крыльцу восходит лунная россыпь медового чак-чака, а по двору важно плывет на блюде, блестя каплями солнечного жира, фаршированная курица, вот ее нагоняют с катламой, а там уж в ворота входят с баурсаком, и мимо окна пронесли кыстыбый, и уже с Верхнего конца спускаются еще с чем-то... а там... Кто чем может (а иные и того больше, у себя нет— у соседки займут) — вот какими яствами у нас младенцу кланяются.

Самовар с утра до вечера со стола не сходит. На самом почетном месте, на пуховой подушке сидит повивальная бабушка, рядом с ней — кто, вы думаете? — я. Целую неделю так сидим и даже больше. Отменная, надо признать, жизнь, но есть один изъян. Баня. Каждый день в честь малыша баню топят. А Старшая Мать дня божьего не пропустит, уже когда все вымоются, меня ведет, мылом моет, веником хлещет. Говорит, скорей вырастешь. Трудно, конечно, но терплю. Зато на одну напасть — сто удовольствий. После бани мы опять усаживаемся во главе стола, в поту и радости с медом-сахаром чай пьем.

Завтра я у Черного Юмагула самым важным гостем буду, на самое почетное место сяду. А пока — дали мне ковшик молока, ломоть хлеба да на полу клетки спать уложили. Ничего, за одну зиму, говорят, и заячья шкур-



ка не износится. Одну-то ночь перетерпим. А с утра — новая жизнь начнется.

И началась. Только я проснулся, как почувал, что из дома запахом кипящего масла тянет, даже в носу защипало. И только через неделю взял я веревку, обвязанную вокруг шеи белого барашка, Старшая Мать взяла за руку меня, и мы втроем отправились домой — Стар-

шая Мать, я и барашек, подаренный Черным Юмагулом.

Маленькие дети, понятно, не все время на свет появляются, чаще идут дни порожние. Нечаянные задержки в этом деле — сплошь и рядом. В такие дни я вдоволь, досыта играю со своими сверстниками. Только ведь игра тоже приедается. И я начинаю томиться. Опять хочется слышать, как новорожденный — сам себе глашатай — криком возвещает о своем прибытии, наблюдать со стороны, что вытворяет рехнувшийся от радости отец, хочу видеть, как, недавно еще измученное и некрасивое, разглаживается и светлеет лицо женщины.

Однажды сквозь щелку в занавеске я увидел, как молодая мать в первый раз кормила ребенка. Только это красное, еще слепое существо коснулось губами соска, бледное исстрадавшееся лицо матери озарилось светом, и они оба, вместе с пуховой периной, поднялись в небо, перина стала облаком, и в том облаке в блаженстве плывут двое — мать и дитя. Почему так, когда тебе очень хорошо, ты или плывешь, или летаешь? Тут я испугался: вдруг они от моего взгляда на землю свалятся, — и, крепко зажмурившись, отошел от занавески.

На случай, если в ауле долго никто не рождается, есть у меня хорошее средство. Но прибегаю я к нему только в крайнем случае, когда уже всякому терпению иссякнуть впору.

Растет в нашем огороде куст орешника. Дерево это волшебное. Если в самую полночь, когда на краткий миг расцветет оно, успеешь сорвать цветок, если хватит духу по своей ладони острой бритвой полоснуть, если засунешь под кожу цветок — станешь невидимым, в дух бесплотный превратишься. Иди, куда хочешь, делай, что хочешь — никому тебя не удержать. Позднее, когда было немного в руках силы, а в сердце — смелости, сколько летних темных ночей просидел я с острой отцовской бритвой под этим орешником!

Как орешник цветет, я, конечно, так и не увидел. Но и тогда, и сейчас, когда пепел годов обсыпал мои черные прежде волосы, я верил, верю и буду верить: раз в году, в глухую полночь, темный орешник покры-

вается яркими цветами. А без этой веры моя жизнь потеряет что-то...

Пока же храбрости одному ночью в огороде сидеть у меня нет. Есть только маленький язык — выпрашивать желаемое. В самый благочестивый час, когда мой отец уходит на полуденный намаз, выхожу я в огород и становлюсь перед орешником на колени. Это чудесное дерево, должно быть, понимает и мой язык, и божий. И потому, воздев руки, через него говорю прямо тому, который наверху. Как с ним говорить, я уже давно от Старшей Матери знаю. Главное — знай нахваливай, тут не переборщишь, он это любит.

— О создатель, — говорю я, — сила твоя и милосердие твое безмерны и безграничны. Все надежды наши в тебе, все чаяния. Пусть же святою волей твоей еще, еще и еще рождаются дети. Пусть с верою в тебя приходят на свет безгрешные души. Прими же мою мольбу! Слышишь, всевышний?

Тихо шелестят листья орешника, стало быть, молитва моя по назначению дошла и принята.

Господь бог хоть на лесть и падок, но слово свое держит, это надо признать. Два дня, ну от силы три — и в каком-нибудь конце аула появляется на свет мальчик или девочка. Но, как я уже сказал, средство это у меня крайнее. Ведь нужно всякий стыд потерять, чтобы бога по пустякам тормозить.

Вот так и шло, ладно-справно, душа — в благости, язык — в сладости. Чем не жизнь! Удача не только в кармане камзола Старшей Матери, в моем вроде тоже прижилась. Кое-что перепадает братишке с сестренкой, не с пустыми руками уходит при случае и мой приятель Асхат.

И надо же было — такую жизнь испортить! А все — эти мальчишки. Завидно им стало, что я, как навар в шурпе, плаваю, вот и начали дразнить: «повивальный дед» да «повивальный дед». Ну и что? Я и ухом не повел. Что поделаешь, коли правда? Меня и старшие братья в шутку так называют. Подумаешь!

Но потом пошло такое, что больно ударило по самолюбию. Сначала эти злые ребята «повивального деда» превратили в «деда-повитка». Стерпел. Мало им — «деда-повитка» укоротили просто в «повитка». Тоже стерпел. Но в один прекрасный день превратился я...

в Пупка. Стыд и срам! В глазах потемнело... Я и носа на улицу высунуть не могу. Только и слышу справа и слева:

— Эй, Пупок!

— Ну, вкусны повивальные блины?.. Пуп-пок!

— Эй, Пупок, покажи пупок!

— Пупок! Пупок! Пупок!

Даже Хамитьян — Огуречная Голова, самый мирный среди нас, и тот начал зубки показывать.

Признаться, изрядно опостытели мне тогда мои друзья-товарищи, да и они ко мне порядком охладели. Один только Асхат не оставил меня.

Пошла жизнь — не то что прежде. Если и родится в ауле ребенок, я уже не так радуюсь. Реже и со Старшей Матерью хожу. Да и она не уговаривает, если я отказываюсь.

— Вот как ты вырастешь... — говорит она и гладит меня по щеке. Всех остальных она по спине похлопывает, только меня так ласкает. Когда ее мягкая рука касается лица, я становлюсь совсем-совсем маленьким. Когда я вырасту, когда радости и муки первой любви будут сводить с ума, все будет так же: коснутся тонкие пальцы моего лица и снимут все горести, и снова я стану маленьким-маленьким...

Шло время, проходило, забывалось доброе и злое, правда и напраслина, только Пупка никто не забыл. Прозвище это на всю жизнь пристало ко мне. Многие в ауле и не знают моего настоящего имени. Да я и сам привык. Окликнет кто-то меня настоящим именем, я еще по сторонам смотрю, не другого ли кого зовут. А Пупок во всей округе, а может, и во всем мире один. Пожалуй, не так уж это и плохо. Теперь мое прозвище даже нравится мне. Но пока привыкал, сколько бед и невзгод сыпалось на мою голову, сколько горючих слез я пролил. Бессчетно. Бился я с ним до крови, себя не щадя, руками-ногами, зубами-когтями отбивался. Но чем яростней отбивался, тем крепче оно приставало ко мне.

И первый лютый бой вот такой был...

ВОТ ТАК ПРАЗДНИКИ

Сегодня праздник. Курбан-байрам. Уже давным-давно я жил, заколдованный им. Так медленно, по денечкам, приближался он и вот наконец наступает. Давно уже его зарево, подобно рассветным лучам, отражающимся в вызянувших на горизонте облачках, грело мою душу. Солнце еще не показалось, но мир уже светлый-светлый. Вот так идет курбан-байрам. Сам далеко, а сияние уже здесь.

В прошлую ночь я никак не мог заснуть. Тянулись в голове разные долгие мысли. Вот придет праздник, и сразу все на земле изменится. Будет как в сказке, которую рассказывала Старшая Мать: огонь с водой вместе сольются, волки с овцами перемешаются, одним стадом будут ходить, злые — добрыми, враги — друзьями станут. Я и радуюсь этому, и тревожусь. За овец боюсь. Как бы невзначай не перерезали их коварные волки. И за огонь страшусь. Как бы ненароком не залила его высокомерная вода. И за друзей душа мается. Как бы враги хитрость не замыслили, не погубили их...

И все же радости моей нет конца. А начало ей — черная бархатная тюбетейка и пара новых резиновых калош. Их мне к празднику в подарок мой Самый Старший брат Муртаза привез, когда в город муку продавать ездил.

Уже много дней тюбетейка моей обритой головы, калоши усеянных цынками ног ждут не дождутся. Пусть подождут. Я их тоже долго ждал. А еще — Старшая Мать обмерила меня и сшила красные в белую полоску штаны — с двумя карманами.

Скажу попутно: лет через сорок в самых славных городах Европы немало встречал я фасонистых парней в полосатых красных штанах. Эге, сказал я себе, обчовато не нова; мы такие уже давно сносили, моду проводили. Хотя по виду-крою вроде моих курбан-байрамовских, но пощупал я, товар у Европы против нашего жидковат.

Наверное, вы удивляетесь, что одному человеку сразу столько богатства, столько нарядов? Мало удивиться,

впору изумиться. Вон на перекладине синее висит — что это? Сатиновая косоворотка! Шарифа, жена Абдуллы-Бурана, сшила.

Вот как меня на праздник вырядили — с макушки до пят. Интересно: в новой красивой одежде и настроение будто справным да нарядным становится. Вот таким царевичем я и выйду на улицу. Настоящий праздник, он только на улице и бывает. Если праздник в доме умещается, так это и не праздник, а так себе — праздничек.

И еще одна радость ожидает меня, самая большая. Хотел ее покуда в секрете подержать, да не получится, видно. Уж ладно, скажу, коли начал. Днем я с мальчишками на Ак-Манай лошадей купать съезжу, а потом вот что будет: запряжем мы со Старшей Матерью серого мерина в тарантас и по вечерней прохладе отправимся в Сайран. В гости к Гайникамал-апай, замужней дочери Старшей Матери поедem. А за кучера — я. В Сайране со Старшей Матерью и меня из застолья в застолье будут зазывать, в красный угол сажать. В красном углу мы уже сиживали, так что чин-порядок знаем. Вот здесь-то черная тюбетейка, резиновые калоши, красные штаны да синяя косоворотка и нужны. Небось они сразу дадут понять, кто ты есть. Недаром Старшая Мать сказала на днях: «Дерево листьями красуется, а человек одеждой». Вы, наверное, поняли, кто позаботился, чтобы я, словно царский сынок, вырядился. Старшая Мать постаралась.

...Люди уже на Нижний конец улицы в мечеть нагает-молитву потянулись. Остановятся, восхвалят аллаха и дальше идут. Мой отец тоже вышел со двора, присоединился к ним. В день курбан-байрама утренний чай после гаета пьют. У нас сегодня просяные блины испекли. Ведь Старшей Матери только коснуться чего-нибудь — у нее из пальцев масло капает. Какая чудесная вещь — праздник!

Один карман новых штанов я набил подсолнухом, другой — сушеной черемухой, вышел на улицу, встал у ворот. Весь аул запахами исходит — слюнки текут. Во всех домах сковородки калят. Даже в тех, где весь год молока и катыка не видели, сегодня над очагом шипит да скворчит. Одни — табикмак, другие — олады, третьи — кыстыбый, четвертые — масляные караваи пекут. Немного погодя, не успеет еще аромат этой легкой

нищи развеяться, как потечет запах вареного мяса. Вот когда ты поймешь, какое это блаженство — полной грудью, привставая на цыпочки, вдыхать воздух аула.

Над самой моей головой ласточки воздух стригут. Воробьи на зеленой траве прыгают. Даже птицы вместе с людьми празднуют.

— Эй, Пупок! Рукавказ! — это из Шагибекова проулка доносится голос Шагидуллы. Меня зовет. А самого не видно. Шагидулла — наш предводитель. Он только имя твое промолвит — бросай все и беги к нему. Он повторять не любит. Я тут же понесся на голос вожака.

— Рукавказ! — на сей раз командирский приказ повторил гнусавый Валетдин.

Рукавказ — мое второе прозвище, боевая кличка.

Недавно мы, все мальчишки, собрались и перед игрой в войну, как обычно, разделились на два лагеря. Но на этот раз, прежде чем начать сражение, каждый взял себе боевую кличку — название какой-нибудь страны. Шагидулла, самый сильный из нас, стал «Россией». Валетдин стал «Германией», Ибрай, сын Искандера, — «Америкой», остальные удовлетвоались именами «Англия», «Япония», «Франция», «Австрия», «Турция», «Румыния», «Кавказ». Я из нашей братии самый маленький. Когда дошла до меня очередь, страны взяли и кончились. «Больше стран нет!» — объявил Шагидулла. Вожак сказал, так и остальные голову ломать, еще страны искать не стали. Я сначала растерялся, потом тихонько заплакал.

«Как же так? — причитал я про себя. — Прямо передо мной страны кончились. Отчего я такой горемычный? Другие люди как люди, со странами, в свое удовольствие с пылом-жаром воевать будут, а ты один-одинешенек, несчастный, безымянный, стой и смотри в сторонке».

Шагидулла хоть и дальняя, но нам родня. Поэтому, наверное, и пожалел меня. Он почесал свою рыжую голову и выцарапал из нее очень дельную мысль:

— Запоматовал, ребята! На земном шаре еще одна страна есть, очень храбрая, обидчивая.. Ужас какая грозная, в общем, страна. Это — Рукавказ! Пупок! Ты — Рукавказ.

Обидчив тот Рукавказ или нет, не знаю. А во мне обидчивости через край. Кажется, Шагидулла на мой счет маленько проехался. Но я даже на то, что он меня

обидным прозвищем назвал, не огрызнулся. «Чтобы **од-**но поднять, другое положить приходится», — говорит **мой** отец. Подумасшь — Пупок! Рукавказ и перед тысячью «пупков» не спасует...

Наверное, в это праздничное утро вожак решил бросить боевой клич. Иначе он меня Рукавказом не **ок-**ликнул бы.

Когда я прибежал, мальчишек было — полон про-
улок. Только Асхата не было. Кто семечки лущает, кто
с треском сушеную черемуху жуёт.

— Та-та-та-та! — сказал Ибрай, обойдя вокруг ме-
ня. — Прямо купец макарьевский! Только часов нет с
серебряной цепочкой. Нет, есть, вот и цепочка висит! —
и он дернул порядком свисавший конец завязки **моих**
штанов. Ладно еще, не развязалась.

Этот Ибрай — моего друга Асхата старший брат, он
меня почему-то и на дух не принимает.

Шагидулла поначалу ни на мое прибытие, ни на **мою**
одежду особого внимания не обратил. Только легким
махом руки отогнал Ибрая от меня.

— Чего это у тебя обе штанины вздулись? — **пока-**
зав подбородком, спросил он немного погодя.

— В одном кармане семечки, Шагидулла-агай, в
другом — сушеная черемуха. Семечки крупные **сегодня.**
Знаком Тимофей из Лекаревки привез.

— Ты, простота бесштанная, все равно людям **раз-**
дашь. Переложки-ка лучше, от греха подальше, семечки
и черемуху в мои карманы!

И тут же с радостью полными горстями из **своих**
кармавов в карманы его новеньких зеленых брюк **сна-**
чала семечки, потом черемуху перетаскал. Хоть и **ще-**
потки себе не осталось, не жалею. Не съя их, что ли.
Под конец, чтобы удостоверить свою безграничную **щед-**
рость и усердие, я вывернул и показал сначала **правый**
карман, потом левый.

— Хороший ты парень, не скряга, — похвалил меня
вожак.

И своей большой рукой вернул мне одну горсть се-
мечек и одну — черемухи. Бывают же **справедливые,**
широкой душой люди! И один из них — наш **предводитель.**
Интересный он, Шагидулла-агай, наш **родственник.**
Какой только игры не выдумает, каких загадок **не**
загадает! Вот и сейчас — игра не игра, загадка не **за-**
гадка.

— Ребята! — сказал он. Мы все ему в рот устави-
лись. — Чей дом выше всех, ребята?

Разумеется, мы все разом на дом продавца Шамсул-
лы посмотрели.

— Шамсуллы! — Ибрай по привычке вперед всех
выскочил.

И тут же большой костистый кулак вожака припелся
ему по скуле. Мы оторочили. Тем же голосом он тот же
вопрос повторил:

— Чей дом всех выше, ребята?

На сей раз гнусавый Валетдин, ровесник вожака,
решил свою находчивость показать:

— Хоть зарежь меня, хоть повесь, но всю правду
скажу: самый-самый высокий дом — это будет... дом
муллы Ахмера на Базарной улице! Коли не вернись... —
не успел Валетдин договорить, что будет, «коли не
вернись», как тот же самый кулак и его ухо при-
грозил.

Мы вконец растерялись. Что же за дом такой? Нам
известно, лишь вожаку известен. И всех высоких домов
выше. Еще двое счастье свое попытали, дома старика
Ишмурзы и кузнеца Аглыма назвали. Их ответы по той
же цене прошли.

И вдруг меня осенило, догадка словно откуда-то
сверху сошла. Даже радостная дрожь по всему телу про-
бежала. Сердце застучало. Вот сейчас скажу и всех
мальчишек под корень срежу. Никто не знает, а я знаю.
И я сам не заметил, как завопил на всю улицу:

— Минарет мечети!

Вожак даже отшатнулся. Он растерялся. Сначала по-
блуждал, потом покраснел, будто с натуги. На конопатом
носу пот выступил. Однако он быстро опомнился, и к
мне «хлебному сундуку» (мы рот так называем) мет-
нулся все тот же кулак. Но, не коснувшись, медленно
опустился.

— Мечеть — дом господень, ты его с прочими строе-
ниями не равняй! Даже этого не знаешь, дурак!

Не окажись названное мной «домом господним», ми-
новал ли меня столь милосердно этот ребристый, из
пяти сжатых пальцев кулак, не знаю. Но расчеты Шаги-
дуллы я, кажется, порядком спутал.

Интерес к игре пропал. Мальчишки вяло, кое-как
погаздились, во вожаку ответ нужен был самый точ-
ный, самый находчивый.

— Последний раз спрашиваю — чей дом самый высокий?

Никто и рта не раскрыл. Тишина. Только гнусавый Валетдин носом тянет.

Вот тут-то Шайхаттар, прозванный за хитрость Лисой, и подал голос. Он слово вымолвит, так покуда второго дождешься, истомишься весь.

— А это ведь с какой стороны посмотришь, — сказал Лиса. — С одной стороны, Шагидулла-агай, у вашего дома крыша высока, но с другой — труба чуть не под облака. Вот и выходит, что ваш — самый высокий.

Двое-трое тут же поддакнули:

— Ваш дом! Ваш дом! Самый высокий — ваш дом! — кто-то и шапку метнул вверх.

Лицо вожака расслабилось. В рыжих волосах какие-то медные лучи заиграли. Но довольство свое постарался скрыть. Только сказал высокомерно:

— Вот так-то вот, кто смотреть умеет, тот увидит. Высокое от низкого отличать надо, — он с тоненьким цыканием сплюнул сквозь зубы. На Шайхаттара вожак и не глянул даже.

Вот и смотрим. Низенький, под соломенной крышей дом Кашфуллы-агая, отца Шагидуллы, через дорогу стоит, набок покосился, в землю ушел. Нижнее звено одного из двух смотрящих на улицу окон подушкой заткнуто. Да и труба не сказать чтобы очень уж далеко ушла. Но дым действительно идет прямо, поднимается высоко. Очень высоко поднимается дым.

А мы столько времени голову ломали. Отгадка совсем рядом была! Ответ, достойный и справедливый, нашелся, и ребята, избавившись от этой заботы, почувствовали себя вольготнее.

Но остался во мне комочек твердый, непромятый, — сомнение маленькое. И все-таки, по самой совести — чей дом выше?

Потом, когда подрасту, я найду ответ. Примерно такой: чей кулак крепче, того и дом выше...

С минарета мечети донесся азан муэдзина. И праздничный дух снова вернулся ко мне. Святой день пришел сегодня на землю. Все дома высоки, все люди равны. Где-то близко-близко, может, за Зеленой Горой, овцы и волки вместе, одним стадом ходят. Пасет стадо ма-

ленький пастушок. Мальчик этот в резиновых калошах, в бархатной тюбетейке, в красных штанах и в синей рубахе. То овца подойдет к нему и оближет руку, то волк.

Я, как замечтаюсь, все на свете забываю — такая уж привычка. Вот и сейчас... Вдруг кто-то ткнул меня в печеньку. Я вздрогнул. Рядом стоит Ибрай и ухмыляется.

— Слышал, что Хамитьян про тебя говорит? — и сладко посочувствовал: — Ай-ай-ай!

— Нет, не слышал, — сразу встревожился я.

— Да все твердит: Пупок да Пупок.

Я вспыхнул. Хамитьян своей длинной, как огурец, головой покачал:

— Не говорил я, биллахи, не говорил.

Ибрай уже Хамитьяну нашептывает:

— Видишь, губы у него шевелятся? Это он тихонько, чтобы ты не слышал, шепчет про себя: «Огуречная Голова! Огуречная Голова!»

Я, чуть не со слезами в голосе, говорю:

— Хлебом, солнцем клянусь — не говорил! Хамитьян ведь сирота, а сироту в курбан-байрам обижать грех.

— Хе, ему-то на курбан-байрам наплевать... Вон в кадыке у него булькает. Это он Пупка про себя повторяет.

Кадык у Хамитьяна и вправду булькает и перекачивается. Нет, это неспроста. Вполне станется, что меня потихоньку обзывает. Ишь, тихоня... В этой вислоухой огуречной голове всякие, наверное, подлые мысли роятся. Ком злости подкатил к горлу. Перехватило дыхание. На кончике языка Хамитьяново прозвище висит и жжется. Оно как росинка на листочке травы, вот-вот упадет. Не удержал, упало:

— Ты кадык-то свой утихомирь, Огуречная Голова!

— А ты моего кадыка не касайся. Ты лучше свой пуп знай.

Вот уж такого-то я никак не ожидал.

— Смотри, чтоб я твою огуречную голову не обстругал!

— Ткну в пуп — брюхо лопнет.

— Не страшай, Огуречная Голова!

— Ох, напугал! Пуп-пок!

— Огурец! Огурец!

— Пупок! Пупок! Пупок!

Тут мальчишки, медленно стянувшись в круг, обступили нас.

— Давай! Давай! Ваша сила, мой запал! — принялся науськивать Ибрай.

Нас уже можно было и не стравливать. Кулаки сжаты, зубы стиснуты.

Я первым налетел на Хамитьяна. Он отпрыгнул и со словами «Не жди спуска, твоя бражка — моя закуска!» шнул меня в живот. Я зажался и согнулся. Но тут же, собрав дыхание, врезал вражине по носу. Брызнула кровь. При виде крови я растерялся. Хамитьян же совсем разъярился.

— Кровь за кровь! — сказал он, хватая ворот моей рубахи. Я рванулся, и в кулаке Хамитьяна остался огромный синий лоскут. Теперь уже у меня белый свет в глазах померк. Мы то сцепимся, то расцепимся, друг дружку кулаками молотим. Я ни боли не чувствую, ни злости. Только жар и задор битвы. Мальчишки, словно колья вколотенные, стоят и не шелохнутся.

Один Ибрай бегают, жару подсыпает.

— Держись, не поддавайся! — подсобляет он кому-то из нас. — Ваша сила — мой язык!

Голос его издалека, будто из-за леса, доносится. В этот миг кулак Хамитьяна и въехал мне в глаз. Вот тогда, в восемь лет, я и испробовал впервые, как это «искры из глаз сыплутся». (Потом-то жизнь не скупко огоньку подсыпала.) Истинная правда, сначала искры брызнули, а потом перед глазами черные круги покатались. Но я выстоял, тут же очнулся и вцепился в високое Хамитьяново ухо. Он вырваться не стал, напротив, качнулся ко мне и, собрав всю злость, огуречной своей головой двинул меня в скулу.

Сколько бой дальше шел, не помню. Но, кажется, дубасили мы друг друга еще порядком. Я выдохся раньше. Хамитьян и годами был постарше, и телом покрепче. Почуввав, что я обессилел, он сгреб руками мои штаны в поясе, крутанул меня и ударил оземь хребтом. Что-то острое, твердое впилося в лопатку. Наверное, камень. Из меня дыхание выскочило. Вконец ошалевший Хамитьян вспрыгнул коленями мне на грудь. У меня что-то теплое выкатилось из уголка рта, побежало по лицу. Я тону, погружаюсь, ухожу куда-то. Хочу крикнуть: «Спасите меня, разнимите нас!» Но крикнуть не могу, сил нет. Мальчишки, обступившие нас, давно уже — как тыи стоят, не качнешь. Кричи не кричи, не услышат. Только глаза блестят. Да и не глаза это — сучки пустые.



Через сорок четыре года случай, подобный этому, повторился еще раз. Некто, кто и на дух меня не принимает, стал горстями бросать в меня грязь. Меня самого, мою любовь, мое дело унижал, на сердце наступил,— из души кровь брызнула. Тогда тоже крепким тыном окружили нас люди. Но и хулитель мой не был добрым по природе мальчишкой, которого я сам ухитрился из себя

вывести, и смотрела на это не беспечная ребятня, дружки по играм — взрослые люди, с которыми одному делу служили, горести и радости делили, жизнь вместе правили... Думал: не заступятся ли? Нет, промолчали. А ведь они вроде бы уважали меня, кто-то даже любил, кажется. Испугались? Или подумали: «Нам-то частенько попадает, пусть же и он разок отведает». Может, они и правы по-своему, а?

...До этого мальчишки меня не притесняли, зазря не трепали. Старшие защищали, под крыло свое брали. Что же сейчас случилось? Почему никто не стащит оседлавшего меня Хамитьяна?

Вдруг эти колья с глазами с места тронулись, понеслись, вокруг меня побежали. И не только они, вся земля, все небо кружится. И как твердая ось кружащегося мира стоит моя Старшая Мать.

Бег замедлился, небо и земля на свое место вернулись, встали. Теперь я уже сам, покачиваясь, то ли лечу, то ли плыву куда-то. Что-то теплое, мягкое чувствую под щекой. И тут же узнаю — это рука Старшей Матери, будто ладонь сама ее имя шепнула.

И потом, всю мою жизнь, тепло и сила этих рук будут оберегать и защищать меня. Самым верным, самым надежным убежищем будут эти руки неразумной моей голове. И, вероятно, в свой последний вздох мало что я вспомню, с немногим из того, что дорого мне, успею попрощаться, но только знаю: руки уже давно ушедшей Старшей Матери вспомню, с теплом их прощаюсь. Иначе и быть не может.

Тишина, и то ли лечу, то ли плыву я в этой странной тишине. Хорошо и покойно моей голове на ладони Старшей Матери. Солнечные лучи будто дергают меня за ресницы, раскрывают глаза. Сначала я вижу высокое синее небо, потом горестное лицо Старшей Матери. Она несет меня на руках. Наверное, домой...

Меня уложили на половине, которая выходит на улицу — на гостевой половине. В другое время нам сюда и носа не сунуть. Зайти — чуть не за праздник почитается.

А сейчас я в переднем углу на мягкой перине, словно вельможа какой, раскинулся... Только не очень-то раскинешься. При каждом вздохе под лопаткой боль прямо огнем прожигает. Прокашляться даже не могу, сразу изо рта спекшаяся кровь кусочками вылетает. Возле меня большое полотенце с красной каймой положили — кровь эту вытирать.

Никто, меня жалеючи, Хамитьяна проклинаячи, не ныл, не причитал. Один раз зашел отец. Он долго и пристально смотрел на меня, потом вздохнул:

— Ладно, крепче будешь...

Тем и утешил.

Старшие братья зашли, взглянули молча и вышли. Маленьких, кажется, ко мне не пускают. Пока что их не видно. Младшая Мать нагнулась ко мне, губами коснулась лба. И несколько крупных слез се упали мне на лицо. Эта теплая влага словно оживила меня, взбодрила дух. Чувство благодарности поднялось во мне, захотелось самыми добрыми словами утешить ее.

— Не плачь, Младшая Мать, не плачь, я тебя тоже люблю...

— Да-да, любишь, тоже любишь,— сказала Младшая Мать,— я же не потому плачу... Я совсем не плачу... Что болит, деточка?

— Теперь уже нигде не болит,— говорю я. Правду скажешь — не очень-то Младшую Мать утетишь.— Курбан-байрам еще не кончился?

— Нет, еще не кончился. Видишь, сколько праздничного угощения. Поел бы, сынок.

Передо мной стоял поднос, полный всякой вкусной еды. При виде ее меня затошнило.

— Ты собери что повкусней и отнеси Асхату, Младшая Мать,— прошу я.— Ему лошадь ухо откусила. Они на одной затирухе сидят,— сдерживая тошноту, я закрываю глаза.

— Хорошо, сынок,— говорит Младшая Мать и, забрав поднос, выходит.

Из другой половины зашла Старшая Мать, принесла большой чайник и стала поить меня из носика какой-то горькой водой. Должно быть, полынный отвар. Вот тебе и праздничное угощение! Во рту вяжет. Но с каждым глотком дальше пить хочется.

— Для печени, для почек это целебно, пей, сынок, пей.

Вскоре будто что-то спало с груди.

...Даже хорошо мне стало. Я уже на отлогом широком склоне Зеленой Горы погожим ясным днем пасу стадо. Белоснежные кудрявые ягнята с серыми волчатами скачут. Друг друга попарошку за уши кусают, треплют. Их отцы и матери — бараны и овцы взрослые, волки и волчицы матерые — в сторонке стоят, на дружбу своих детей смотрят, не налюбуются. Даже про еду от радости забыли. Вот один волчок бестолкового барашка за хвост дернул. Тот заблеял отчаянно, будто впору с жизнью прощаться, а сам отбежал и с разбега приятеля под ребра стукнул. Тут и все бараны и овцы распались, на волков набросились — глазом я не успел моргнуть, враз всех передушили. Овцы куда-то исчезли, только волчьи трупы лежали на склоне...

А тут — уже с огнем и водой история началась. Они — вместе рядышком бежали. Вода течет, извивается, а огонь, красную гриву свою разметав, берегом несется. Река такая радостная, счастливая, волшебная тень огня падает на ее гладь. Тысячи разноцветных лучей играют на воде. Сама своей красе удивляясь, спешит куда-то бедняжка-река. На праздник? На свадьбу? Не сдержала своей радости какая-то капля, подпрыгнула и упала печально в огонь. Взметнул пламя гордый огонь, оскорбился. Зашипел и в ярости на воду набросился. Та слова даже молвить, пощады попросить не успела, в пар превратилась, туманом по миру развеялась. Огонь же, по своей жестокой глупости подруги лишившись, — от злости ли, от раскаяния ли, не знаю отчего — клубком свернулся и покатился к краю горизонта. Вон и сейчас еще, горящую злость свою рассыпая, катится... А на земле и капли воды не осталось. Воды!

— На, дитятко! — Старшая Мать протягивает мне носик все того же чайника. — Так хорошо ты, сладко спал, — говорит она. — Сейчас уже утро.

Солнце из окошка прямо в изголовье мне падает. Я медленно переворачиваюсь на бок, лицом к свету. И тут же в окошке осторожно всплывает наголо бритая огуречная голова Хамитьяна. Сначала я вижу голую макушку, затем уши, затем испуганные черные глаза. Увидев меня, он то ли заплакал, то ли улыбнуться хотел — верхняя губа задрожала. Уткнулся лбом в стекло и застыл. И я ему ни слова не сказал. Нет, не от

злости, просто мочи нет. Старшая Мать тоже заметила его и тоже промолчала. Так, лицом к лицу, мы с Хамитьяном долго смотрели друг на друга. Я не выдержал тоски в его глазах и отвернулся.

«...Вот тебе и праздник курбан-байрам», — думаю я. Интересно — почему это в праздники люди особенно мордуют друг друга? В прошлом году на сабантуе гармониста из Черной Речки городской зимогор ножом ударил. Тот гармонист теперь на всю жизнь хромым остался. Весной в Ледоходную пятницу на Девичьей Горе наши аульские джигиты улица на улицу схватились, в кровь побились. А зимой на Совиной улице на свадьбе человека убили. Даже на посиделках и то парни улечат момент, чтоб драку учинить. Люди, видно, только праздника и ждут-дожидаются, чтоб потасовку затеять. Сцепившись, лучшие одежды свои, которые целый год справляли, в клочья изорвут, в грязи изваляют, в крови вымочат. Бесстыдных слов накричат, лица друг другу разобьют. Праздник какой или свадьба — мы за моего Самого Старшего брата Муртазу всем домом дрожим. Он тоже, вроде меня, — насквозь обидчив. Задира и петух. Только и надежды, что оженим, так остепенится... Хотя я не уверен. Очень уж своевольный. Вот и вчера, ни свет ни заря, запряг нашего серого и на пахоту уехал, словно и не курбан-байрам вовсе... Ни отца, ни Старшей Матери не послушался. Они, джигиты, видите ли, между собой договорились, что курбан-байрам к ним «никакого отношения не имеет». Впрочем, отец и не очень настаивал. «Мои годы длинней, да твои, видать, умней», — сказал отец, будто согласился даже. Станный он, мой Самый Старший брат Муртаза. Вместо того чтобы радоваться, курбан-байрам праздновать, уехал пахать. Какой это должен быть упрямый человек — сами подумайте.

Я снова поворачиваюсь к окну. Теперь уже там торчит худой, с глубокой выемкой затылок. Сидя на завалянке, Хамитьян смотрит на улицу. Не пошевелинется даже... И на второй день, и на третий все на том же месте я вижу или лицо, или затылок, или щеку Хамитьяна.

Он сидел и сидел там — и утром, и днем, и вечером. Но только я в первый раз вышел на улицу, он, заведя меня, вскочил и побежал без оглядки. «Хамитьян!» — крикнул я. Но он не услышал.

И дальше жизнь пошла своим чередом. Мы, мальчишки, ссорились и мирились. Но все ссадины и обиды заживали, как на собаке: без шва, без заплатки. Только Хамитьян больше ни разу даже не замахнулся на меня. Однако «Пупка» прилепили ко мне крепко-накрепко, не отлепишь, не отдерешь, вживили прямо.

Ровно через четырнадцать лет ранним летним утром упаду я на краю боя, у подножия одинокого дуба. Осколок, пробивший тогда мне грудь, прогрызет мое легкое и выроет там себе нору. Еще через пять лет из этой норы вылезет и засочится кровь.

...И вот я лежу под Москвой в противотуберкулезном госпитале. С крыш капает апрельская капель. Весна — самое опасное для нас время. Почему-то именно сейчас, когда земля просыпается и начинает жизнь заново, именно в эту прекрасную пору у нас, таких, как я, и обрываются бессильные торги с жизнью.

Если эта весна пройдет, говорим мы себе, тогда, возможно, походим и по траве. О, это «возможно»! Малая кроха твоя — наша самая большая надежда, единственная вера.

— Какой-то милиционер на мотоцикле приехал, вас спрашивает. Пустить? — сказали мне.

— Милиционер? Ну вот, за все грехи разом и расплата пришла, — пошутил я. — Пусть заходит.

Представителя закона лежа встречать не подобает. Поднялся, сел. Жду.

— Разрешите?

Склоненная его голова чуть не коснулась притолоки. Он вошел в палату и, словно не зная, куда девать свое удивительно большое тело, остановился в растерянности. Снял фуражку. Через весь лоб протянулся глубокий рваный шрам. Сначала я увидел этот шрам. И потом уже заметил, что очень знакомые глаза с тоской смотрят на меня.

— Хамитьян! — воскликнул я.

Но он не услышал. Может, и я ничего не сказал, только показалось, что сказал. Вдруг этот богатырь сжался, стал совсем маленьким и опустился на колени возле моего изголовья. И как припадал он когда-то к нашему окошку, уткнулся лбом в железную спинку кровати.

— Пупок! — сказал он. — Вот и выпало тебя увидеть! — и заплакал.

— Ну, ну, Огуречная Голова, брось, хватит. Такому богатырю реветь совсем не пристало.

— Не могу, Пупок. Горлом слезы идут...

— Довольно, довольно, Хамитьян. Вставай же, садись.

— Не надо, не унимай меня, уж лучше выплачусь,— сказал он, немного успокаиваясь. Вскоре затих совсем. Достал платок, вытер лицо. И только потом поднял голову. Но сколько я его ни упрашивал, ни умолял, с места не встал.

Мы долго смотрели друг на друга.

— Здравствуй,— сказал я.

Поздоровались. На правой руке у него не хватало двух пальцев.

— Вот и выпало тебя увидеть,— повторил он.— Я уж думал, не найду, всю надежду потерял. Нашел-таки...

Хамитьян рассказал историю своих поисков от начала до конца.

— О том, что ты легкими заболел, я письмо из аула получил. Написали, что ты в Москве лежишь. Я неподалеку, в шестидесяти километрах отсюда служу. И вот каждый свободный от службы день сажусь на мотоцикл и в Москву еду. Целый месяц проездил. Сначала я все туберкулезные больницы объездил. Нет тебя. Дошла очередь до санаториев. Нет тебя. Районные, сельские даже больницы, что поблизости, все объехал. Нету, нету, нету... Я уже бояться, крепко бояться за тебя начал. До того дошло: увижу дом с надписью «больница» и вздрагиваю. Даже ненависть какая-то к этому слову появилась... Дурак я! В аул телеграмму дать, адрес твой спросить, ума не хватило. Вот только сейчас, когда сюда приехал, сообразил. А тебя нашел, так прямо по поговорке: «Коли бог дать хочет, сам на дорогу вынесет». Я сегодня совсем уж на свой *фарт* рукой махнул, выезжаю из Москвы, тут женщина остановила, подвези, дескать. Ладно, думаю, пусть хоть кому-то от меня прок выйдет. Разговорились помаленьку. Рассказала, что она здесь санитаркой работает. Спросил про тебя. Не знает. Хоть и порядочный круг, сюда поводья направил. Вот и встретились. Значит, судьба...— Хамитьян, кажется, совсем успокоился, смотрит в пол, голос его ровен. Только этого спокойствия хватило ненадолго. Он с тоской посмотрел на меня и сказал:

— Пупок! Ведь в твоей болезни я повинен. Если бы

я тогда не топтал тебя, ты бы до такой беды не дожил... Я виноват, я! И прощенья просить не могу. Оттого, что простишь меня, тебе легче не будет. Знаю, знаю... Да мне прощенья и не нужно. Не положено! Ты только одно помни: я вместе с гобой мучаюсь, вместе надеюсь, вместе верю. Если бы можно было — одно легкое для тебя вырезал, половину души отдал бы. Я, покуда тебя искал, вот что решил: может, доктор одно мое легкое тебе переставит? А, Пупок? Говорят, что теперь это умеют. Давай скажем — докторам...

— Совсем ты рехнулся, Огуречная Голова, — попробовал я его утешить. — Во-первых, доктора покуда только старое легкое научились резать, нового вставить не умеют. Во-вторых, мое ведь легкое фашистский осколок пробил. Вся беда из-за него. Слышал песню: «Не виноват военкомат, виноват гитлеризм»? Вот так же и твоей вины здесь нет.

— Знаю. И про немецкий осколок знаю, и «кто виноват» — знаю. Нет, твое легкое тогда, в курбан-байрам, надорвалось. Разве поддалось бы оно какому-то жалкому, с ноготок, осколку? Не та у тебя порода. Недаром же про ваш род говорят, что сердцевина в вас дубовая. Эх, детство, глупое детство! — вздохнул он.

Всегда так было — Хамитьяна уговорами не возьмешь, только бранью и убедишь. Я вспомнил это.

— Ты что это, Огуречная Голова, надо мной причитаешь? — как мог, прикрикнул я. — Помирать я покамест не собираюсь. А ты, как заявился, все слюни тянешь. А еще милиционер...

— А ты и не умрешь, — вдруг сказал Хамитьян. — А слез моих и угрызений совести не принижай. Тебе это не пристало.

Мне стало жаль Хамитьяна, будто сидел передо мной тот давний, в муках и мытарствах росший сирота.

— Ты не умрешь, — тихо повторил он. — По тебе уже раз погребальную отпели. Теперь пусть подождут. Не то больно часто будет.

— Когда? Как?

— Что — не знаешь?

— Не-ет! — изумился я.

— В сорок третьем. Разве тебе никто не рассказывал?

— Нет, не рассказывал...

— Рассказать, что ли?

— Расскажи. Должно быть, про свое погребение слушать не скучно...

И рассказал Хамитьян историю, в которой я вроде бы уцелел — другого смерть ухватила. Уцелел я. Уцелел, да не уберегся. Вечную рану в душе эта история продрала. Потом Хамитьян ушел. Мой взгляд упал на сверток, лежащий на тумбочке в изголовье. Я развернул газету с одного угла. Там лежали сморщенные желто-зеленые два яблока.

Он ушел. То была последняя наша встреча, последнее расставание. Потому что вскоре я услышал страшную весть: на каком-то полустанке он бросился защитить юную девушку от пьяных бандитов — и его в сердце ударили ножом. В тот день, говорят, он и не при службе был. Весть до меня дошла не сразу, я даже на похороны к нему не попал.

Он мне тогда хотел одно легкое, половину жизни отдать. Недолго прошло — и чьей-то жизни ради свою жизнь отдал, всю и разом.

После этой вести два чувства начали подтачивать мой дух. Одна боль — страшная, такая неожиданная и быстрая — смерть друга-ровесника, другая — собственная моя целостность-сохранность, мысль, что жив остался, — лишили покоя. После того, что рассказал Хамитьян, стало мне казаться, будто, сам того не ведая, угнал я чью-то жизнь, словно коня из чужого косяка, будто живу я теперь жизнью, кем-то одолженной мне. Мысль эта — лежу ли, хожу ли — бьется в мозгу: «только в долг», «только в долг», «только в долг»...

А ведь своим рассказом он меня ободрить хотел, успокоить, надежду мою укрепить, он мне этим будто долгую жизнь сулил. Да все не так вышло. Одна вроде единственная у меня голова, а куда приткнуть — не знаю. Вот она, эта история. Как мне Хамитьян, покойник, поведал ее, так слово в слово и перескажу.

«С ЮНЫХ ЛЕТ МЕНЯ ОСТАВИЛ ОДИНОКОЙ ...»

...Как вот здесь, во лбу, немецкая пуля мне кость раздробила, я долго еще оглушенный, контуженный, ходил. С неделю и в ауле пробыл. В тот день, когда я домой вернулся, учителя — наверное, чтобы хоть как-то народ приободрить — поставили в клубе концерт. Пели, плясали, стихи читали.

А под конец вышла на сцену твоя жена Рауза. И рядом вдруг прошел какой-то беспокойный шепот. Прошел и затих. В тот день твоя ясная и пригожая, как белая бабочка, Рауза даже самой себе была милее. Бывает же так: отступает вдруг даль, небеса будто взмывают над головой, и так прозрачен становится воздух, что видишь ветер, бегущий в нем. Вышла Рауза на сцену, и в тот миг для меня все пределы раздвинулись, край мира отступил куда-то, и будто разом замолкли все пушки, улеглась боль, тревоги развеялись, раны унялись. Во всем мироздании из всего сущего только Рауза — она одна осталась. Грустное ликование светилось в ее лице, а может — торжественная печаль. Может, и Рауза не совсем настоящая, нездешняя, лишь на миг короткий слетела она с неба. Одну только песню и пропеть...

Пела она «Ашкадар». И с самого начала пугающая тишина нависла над людьми. Все больше сгущалась она и вот-вот, казалось, рухнет и придавит всех. Только голосок и подпирает ее.

На охоту он ушел, пропал бесследно,
С юных лет меня оставил одинокой...

А конец песни она так спела — самую сердечную сукровицу выжала. Но почему-то не хлопали. Плеснуло лишь в двух-трех местах, да и то робко как-то, испуганно...

Вдруг позади, возле стены, всхлипнула и заплакала женщина. Следом — ее соседка. И девочка, рядом со мной, закрыла ладонями лицо. То там, то здесь слышался уже задавленный плач, так быстро пробежал он по рядам. Рауза растерялась, лицо ее потухло и омрачилось. Видно, этой песней она людской, их всех, боли коснулась. Ведь сколько «с юных лет остались одинокими». Третий год война идет... Со многим уже свыклись люди, ко многому притерпелись, но песня, какая печальней и горестней, стала еще большей горечью душу пронзать. Люди все всхлипывают, не уймутся. И не остановит никто друг друга, не утешит. Один я сижу с сухими глазами. Неужто сердце у меня каменной коростой покрылось?

— И всегда вы так в клубе — сами поете да сами и плачете? — спросил я, нагнувшись к девочке.

— Нет, — сказала она. — Только в этот раз совсем уж

невмочь. Неделю уже, как на Пупка черная бумага пришла. Весь аул знает. А Раузе сказать — ни у кого сердца не хватает. Не перенесет, боимся, так ведь она его любила.

Я медленно в землю погрузился... вышел на свет обратно. Рауза все там же, на краю сцены стоит. Такая тоненькая, ветер коснись — качнется она и упадет. И горькой же беды поклажа ждет ее плечи. Дай же силы этой маленькой женщине.

Хотел было я вскочить и крикнуть: «Да что же это! Что же мы всем миром эту безвинную душу мучаем? Ведь своей жалостью мы совсем ее сгубим. А завтра, завтра как ей на глаза покажемся? Как в лицо ей посмотрим?» Не крикнул. Может, они правы, не я. Наверное, они думали: пусть еще раз споет, покуда не знает, что судьба ее сломана. Хоть на ночь горе в дороге застрянет, а счастье на ночь под крышей останется — и то человеку немалый дар. Муж для жены и после своей жизни еще жив будет. Хоть на ту же ночку.

Утром, когда Рауза ушла в школу, я пришел к вам домой. Мать и отец уже все знали, но горе свое в себе держали, хотели Раузу побережь. Судьбу не обманешь. А дольше скрывать — она только больней ударит. И решили мы той неловкой уловке, этой хитрости бесхитростной положить конец. Ту тяжелую повинность я взял на себя. Крошечный сын твой мирно спал в зыбке. Глянул я и обмер. Почудилось, что вот-вот я сам этого ребенка сделаю сиротой.

Благодарение, не пришлось мне эту повинность исполнить. Запруду горя, видно, где-то в другом месте прорвало. Две женщины под руки привели Раузу. Раздели, усадили на сундук.

— Пупка убили,— промолвила она много спустя,— известие пришло. Вот,—она положила на стол потерянный уже листок.

— То не сама смерть, дочка,— только бумага от нее,— сказала твоя Младшая Мать.— Мы ей не поверили. Дитя мое еще в груди живет. Вот здесь его гнездышко — теплое, не остыло. Значит, и могила еще не забрала его. Будь терпелива, дочка.

Никто из нас не подошел к Раузе, утешить не пытался. Почитай, до вечера так и просидела, слова не проронив.

— У судьбы объезда нет,— вздохнул наконец твой

отец.— Придется потихоньку привыкать. Дай-ка огня, мать. Светлая душа была у джигита. Так пусть же и проводы будут не во тьме.

В тот вечер мы тебя, каждый свою, на свой лад молитву прочитав, предали земле. О чем Младшая Мать думала, не знаю.

Я сам не заметил, как в руках у меня оказалась эта бумага. Несколько раз перечел ее. Имя, фамилия, имя отца — все с твоим сходится. И аул наш. Только год рождения не совпадает. Должно быть, писарь ошибся, лишние годы тебе посмертно подарил. Постой-ка. А почему здесь написано — «рядовой»?

— А в каком он звании был? — сказал я «был» и вздрогнул даже.

Ответил отец:

— Туда уже все в одном звании приходят. Там не по званию — по достоинству принимают.

— Здесь «рядовой» написано. А он ведь командир был, кажется?

— Я не читала, не смогла, — сказала Рауза. Вроде чуть ожило что-то в ней, воспрянула было и снова сникла.

— Командир наш, командир, — зашептала мать, — уж, наверное, командира «рядовым» не напишут.

Слабый уголек надежды затеплился в нас.

Только по именам, будто доли-участи не касались, стали мы этой бумаге другого хозяина искать. Сначала всех, кто с вашей фамилией ходит, перебрали, потом тезок твоих — из улицы в улицу, из дома в дом. Вот такая была проверка. Никто не подошел. Некому, кроме тебя, на нее откликнуться. Да и имя твоего отца — оно на весь аул одно-единственное... Потом на выселки Акманай спустились. Начали с дальнего конца улицы, только первых домов коснулись, Младшая Мать вскрикнула:

— Зять! Акманайский зять! Ой, бедняжка Кафия! О, несчастная! Говорила все о муже своем: «Очень уж, апа, зятя твоего люблю». Просила: «Дай его имя своему сыну». Так молила, горемычная душа!

— Да, со сватом, отцом его, мы тезками были... Давно уже он этот мир оставил, хороший был человек, — подтвердил отец.

У тебя с зятем вашим и фамилия, и имя, и отчество полностью сходятся. Черная то была отрада, иной беды черней. Всю долгую осеннюю ночь просидели мы молча.

Страшновато было, заснем, казалось,— и горькая наша надежда в сон уйдет, со сном и развеется.

Утром я взял бумагу и пошел в сельсовет. Секретарем там работала приезжая девушка, ей в голову не пришло, что в ауле старший твой двойник есть. Подняли мы сельсоветские книги, и по всему получалось, что письмо-то на вашего зятя пришло. Вот так мы ему смерть отсудили. На него, выходит, счет выпал.

Следующим днем самое тяжелое было. Опухшая от слез, плача, пришла к вам ваша тетка Кафия. В руках все та же бумага. Протянула она ее матери и говорит:

— Сестра, разве так делают? Эта же бумага вам пришла. Вам ее дали. А вы на меня сбыли. Сестра, на, возьми обратно эту проклятую бумагу!

Младшая Мать взяла ее под руку, усадила на хике¹; тогда Кафия горячими, полными мольбы глазами посмотрела на Раузу.

— Сноха! Сношенька! У тебя всего-то дитя одно-единственное, а у меня их полный подол! Ты одного осиротить не хочешь, а мне что же — пятерых? Пятеро ведь вместо одного бедствовать будут! Господи, сама сиротой росла, хлебом не наедалась, платьем не угревалась... О господи, господи, господи!

Она всхлипнула несколько раз и снова повернулась к Младшей Матери:

— Сестра, зачем ты своему сыну имя моего мужа дала? Других имен не было, что ли? Не назови ты тогда, может, сейчас беда к нам и не зашла бы.

Ни словом мать не возразила на упреки готовой уже помешаться сестры.

— Когда бы знать, сестра... Когда бы знать — нипочем бы не назвала,— сказала она, погладив Кафию по голове.

— Господи, куда теперь пойду, что делать буду? На кого мои дети будут смотреть, в ком надежду свою искать будут?! — опять зашлась Кафия.

Отец твой, сидевший до того молча, виновато опустив голову, сказал:

— Живы-здоровы будем, свояченица, тебя не бросим. Посильной помощью детей твоих не обойдем. Других слов, чтоб горю твоему помочь, не знаю пока — не гне-

¹ Х и к е — низкие нары.

вайся. А что сказал — свято. Ты меня, свояченица, знаешь.

Сидевшая съезжившись на вчерашнем месте, Рауза вскочила, обняла Кафию и заплакала. И Кафия прильнула к ней. Так и плакали они, прижавшись друг к другу. И в тесных их объятиях была одна смерть. Только чья?..

...Вот что рассказал Хамитьян, пришедший тогда в госпиталь, чтобы одно легкое, половину жизни мне отдать. Ушел — и другой жизни ради свою жизнь отдал, всю и разом.

С этого дня стало мне казаться, что Кафия-апай, моей Младшей Матери двоюродная сестра, следом за мной ходит. Ее простодушные большие черные глаза то с обидой, то с тоской смотрят на меня. Словно потому черную бумагу ей принесли, что я пулю, мне предназначенную, на нашего зятя сбыл. Знаю, ни перед кем моей вины нет. У меня и своих мук на долю хватило. Вон с крыши не апрельская капель — мои считанные дни капают. Может, последняя капля на мой последний вздох придется. Но пока-то я жив. А живым присуще и страдать, и надеяться, и сомневаться. И надежда еще меня не оставила. Уж этих-то капель, наверное, поживучей буду!..

В те тяжкие дни я до одной простой истины дошел: как в других смертях частичка и моей смерти была, так и в моей жизни — доля жизни погибших осталась. Зря меня Хамитьян утешал. По-настоящему чтобы, крепко, сам за себя, я еще ни разу не умирал. Разве что другие своей смертью и от моей смерти кусочек отрывали, а мне свою жизнь в долг оставляли...

...Когда-то, еще подростком, бродил я на закате солнца по Сагыл-горе и наткнулся на груды валунов. Кто-то, видно, их для банной каменки собрал. Вынул я из груды один валун. Он был теплый-претеплый. Я удивился, потрогал другие. И те были теплыми. Несколько валунов лежали в стороне. Я хотел положить их вместе с остальными. Эти были совсем холодными. Оказывается, и камни, когда вместе, долго хранят солнечное тепло, друг дружке передают.

А люди? Сколько из них отдавали мне свое тепло, свой свет, свою силу? От самых первых моих друзей-сверстников и до сегодняшнего дня... Первым ровесником, подарившим мне свое тепло, был Асхат. Он всегда



был на два года старше меня: когда мне было восемь — ему десять, мне восемнадцать исполнилось — ему двадцать. Но потом я уже вдвое старше Асхата стал. И еще старше. Он же так и остался в начале жизни. Как будто и стоит там. А я все иду, все иду. Но чем дальше уйду, тем чаще назад оглядываюсь; к напевам, звукам, в дали

заблудившимся, но в памяти сохранившимся, прислушиваюсь. Они-то порой и звучат как голос совести. Удивительно.

АСХАТ С ГУБЕРНАТОРСКОЙ

Асхат — с улицы, которую называют Губернаторской. Только не подумайте, что сам губернатор живет здесь. Когда-то, давным-давно, может, сто лет назад, по самой середке этой улицы пролетел, говорят, на своих тройках губернатор. Выкупались люди в пыли, поднятой каретой такого большого вельможи, и тут же в радости и гордости дали своей улице новое имя — Губернаторская. Надо, однако, сказать, что и прежнее название этого коротенького, в пять домов проулка — Козий Околоток — не скоро забылось. Когда губернаторов, баев, вельмож там всяких скатили с красного угла, хотели было Козий Околоток обратно прилепить. Но «губернаторы», хотя козы, жуя свою жвачку, ворочались на каждой их завалинке, единодушно отвергли такое поношение. Чета ли высокое имя Губернаторской другим аульским улицам — Мерзлых Труб! Трех Петухов! Совиная! Ведь от каждой так и разит невежеством, убожеством, бестолочью.

Два свойства, как два достоинства, у этой улицы Губернаторской — нищета и высокомерие. В четырех дворах из пяти, кроме козы да курицы, другой скотины нет, только в Асхатовом дворе — кобыла кривая, корова и бычок. Бедность еще от дедов-прадедов по наследству идет, здесь ценят ее и почитают. А уж если поважничать... У всех, до самой мелкоты — гребень торчком, будто каждый и впрямь губернатору родня. Мало того, хвастуны невероятные. Послушать их, так всякие чудеса на голову «губернаторов» так и валятся. Если пристукнет «губернатор» волка — непременно с телку, налива вытащит — с бревно, утку собьет — с журавля, не меньше. И хоть бы немного разжились при такой-то удачливости. А одноногий Шаряй, ему-то чего заноситься! И тот: «Хромой дальше всех уйдет — это про меня сказано. Повезло мне, ребята, с этой деревянной ногой, которую с германской привез; не устает, не ноет, не мерзнет, не потеет. Другие пару лаптей износят, а мне и одного лаптя хватает».

Когда я был очень маленьким, Губернаторская была на краю света, а каждый житель ее — глубокой тайной.

Только потом, понемногу подрастая, я стал понимать, откуда у этой гордой голытьбы такие повадки. Единственной их опорой, их оружием и щитом было высокомерие. Надо же выставить хоть что-то против достатка, силы, престижа других. Бедные, гордые, нелепые «губернаторы»! С тоской и грустью вспоминаю вас — и живых, здравствующих поныне, и давно уже покойных.

Я иду по Губернаторской за околицу, искать теленка. Возле своих ворот стоит Асхат, его белые, как лен, волосы поблескивают на солнце. И глаза у него похожи на цветы льна — синие-синие. Я его знаю, но вместе мы еще ни разу не играли. Этот сейчас или камнем в меня запустит, или язык покажет, или Пупка вспомнит — и про себя уже готовлюсь дать отпор.

— Эй, малай¹, сюда шагай! — крикнул он. Ишь, как складно приказывает.

— Сам шагай. Я теленка ищу, — огрызнулся я.

— Не бойся, я на людей не бросаюсь, цел останешься.

Я встал, сжал крепко правый кулак и спрятал за спину — видать, сгодится. Он не спеша подошел, посмотрел на меня — будто синие зайчики пробежали — и чуть не уперся раскрытой ладонью мне в нос.

— Чем пахнет?

Я растерянно захлопнул рот. Если бы он не пустую ладонь показал, а кулак — тогда все ясно. Мальчишки, когда хотят драку затеять, дают кулак понюхать...

— Ну, говори же, чем пахнет? — повторил он.

«Псиной», — хотел отшить я, но его бесхитростная улыбка удержала меня.

— Нет, ничем не пахнет.

— Да ты хорошенько нюхай, — не отставал он. — Тяни носом-то.

Он так напирал, что я и вправду стал нюхать грязную растрескавшуюся ладонь. Но какого-то одного ясного запаха отобрать не смог.

— Эх ты, — бросил он презрительно, — даже этого не знаешь. Лепешкой пахнет, с маслом лепешка была. Только что лепешку ел.

И это меня удивило — нашел чем хвастать! Ел он лепешку или не ел — мне-то какая нужда!

— Ел так ел, подумаешь... Я теленка ищу.

¹ М а л а й — мальчик.

— Хочешь вместе? Я тебе его живо найду.

— Найдешь так найдешь...

К Малому Оврагу (так это место у нас называют) мы уже подходили, держась за руки. Асхат за это короткое время уже приручил меня.

— Эй, подожди-ка, чего это у тебя карман оттопырился?

— Горбушка.

— Врешь. Камень, наверное.

— Вот, если не веришь,— я достал из кармана порядочный кус хлеба.— Теленка приманивать.

— Ну, теленка мы и так пригоним. Давай лучше сядем и съедим эту горбушку.

— Сам хвастал, что лепешку недавно ел...

— Одними лепешками сыт не будешь. Их с хлебом надо есть.

— Так и ел бы.

— Не было хлеба,— отрезал Асхат.

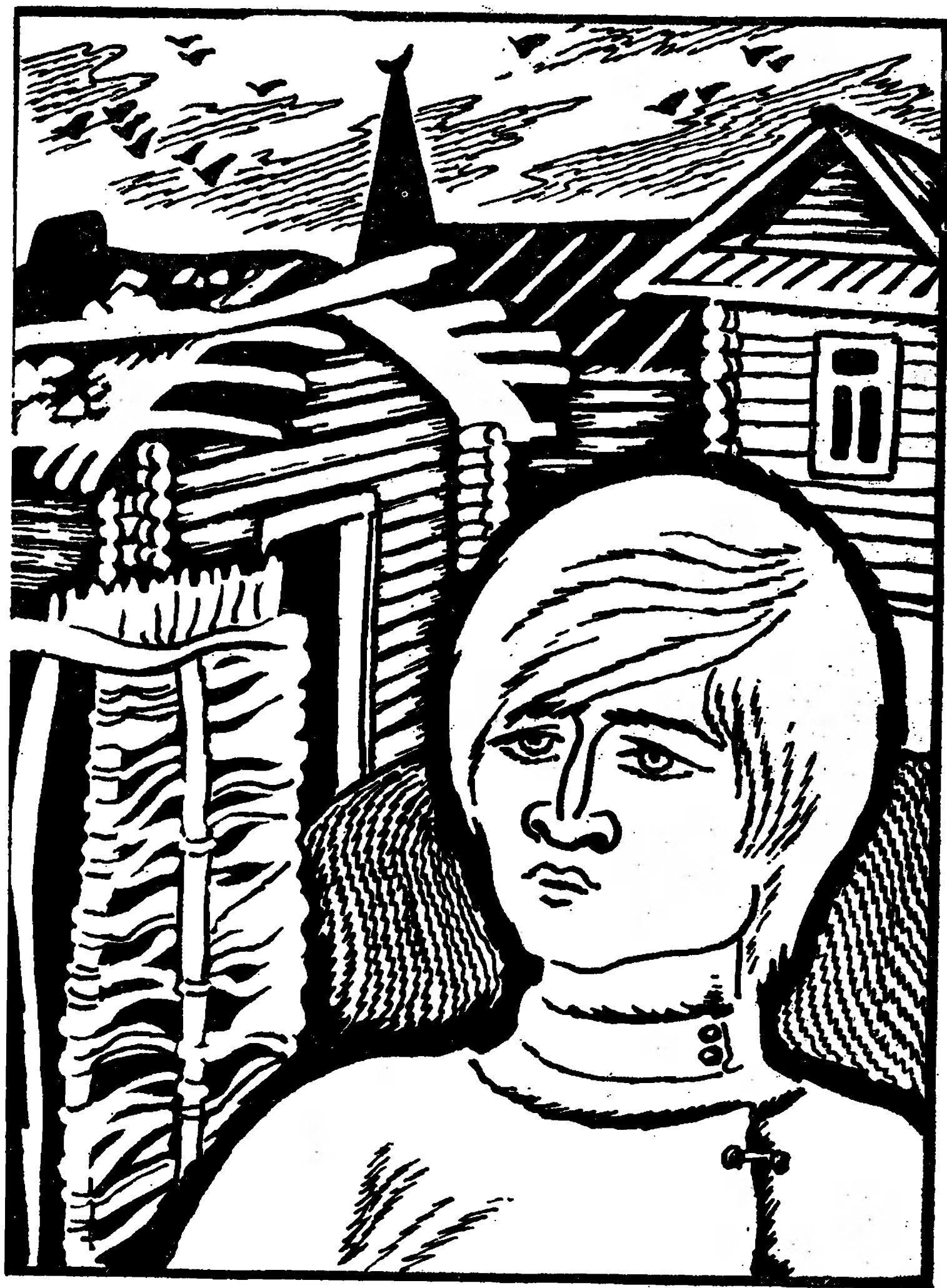
Чудно в этом мире! У одних все время лепешки — хлеба нет, у других же один хлеб — лепешек и не видят. Скажем, у нас вот лепешки только по пятницам бывают. Асхат посмотрел на хлеб, облизнул губы и причмокнул.

— На, ешь,— я отдал ему горбушку. Он осторожно разломил хлеб и половину протянул мне. Я отказался.

— Бывают же люди, уже и хлебом их не соблазнишь,— сказал он, усаживаясь на траве, вытянул тощенькие ноги, разгладил на коленях подол рубашки и принялся неспешно есть. Крошки, изредка падавшие на подол, он тут же собирал в горсть и отправлял в рот.

— Хлеб сидя нужно есть,— пояснил он мне,— стоя ни за что не наешься. Крошку на землю уронишь — грех. А за каждый грех в аду жечь будут — это когда умрешь. — Он медленно дожевал и проглотил последний кусок. Но вставать не торопился. После горбушки у него, видно, совсем хорошо на душе стало, и он преподнес мне поучительную историю.

— Отец рассказывал, ехал как-то один царь верхом по степи, давным-давно это было. Ехал он, ехал и проголодался. Достал тогда царь кусок хлеба из-за пазухи и прямо в седле, не слезая с лошади, начал есть. Некогда, значит, было царю, спешил очень. Вот он уже откусил и последний кусок, как тут одна маленькая крошка скатилась на землю. Спрыгнул царь с коня и начал ту



крошку искать. Ищет, ищет, найти не может. Три дня, три ночи вокруг своего коня на четвереньках ползал. Так и не нашел. А на четвертый день вернулся царь домой — беда черная, как черная туча, накрыла его золотой дворец. Ровно три дня тому назад утонул любимый царский сын. Испугался царь, что и на этом гнев божий еще не весь излился, и там, где упала хлебная крошка, поста-

вил мечеть со множеством минаретов. Смилоstinивился после этого бог или нет — про то нам неизвестно, до нас не дошло.

Вот какие истории знает этот чудной малай!

С оглушительным стрекотом над самой головой пронеслась сорочья стайка. А вот это и я знаю, сорока-белобочка своих детей летать учит. На той неделе скворцы и ласточки учили, а сегодня — сороки. Я проворно схватил камень и, прицелившись, бросил в стаю.

— Сорока, сорока, нá тебе, воровка!

— А если попадешь? — вскочил Асхат.

— Стерпят. Сорока ведь, не соловей. Она яйца ворует.

— И сороке свое дитя — единственное, и в ней душа бьется. У всего душа есть — у деревьев, у камня, у каждой травинки, видишь, как она вверх тянется, даже самая маленькая. Порежешь палец — красная кровь пойдет, а сломай ветку — тоже кровь выступит, только светлая кровь. Стукнешь железом о железо — зазвенит, правда? Это железо так плачет.

И чего только не знает этот Асхат? Может, он не человек вовсе? Страх шевельнулся во мне — льняные волосы, синие глаза, светлые ресницы... В нашей округе он один такой, будто белый утенок, вылупившийся в гнезде у черной курицы. А может, его еще в колыбели нечистая сила подменила? Черт, говорят, маленьких детей крадет, а своих чертенят подкладывает. Да нет! Как же — будет тебе черт таким умным, таким хорошим!

Ни в Малом Овраге, ни в Большом Овраге мы теленка не нашли, все обошли, к березняку забрели, к Мукушеву роднику спустились, воды напились, чьих только телят не встретили, а нашего Белолобика и след простыл. Умаявшись, мы поплелись домой. Смотрим, Белолобик в тени нашего плетня разлегся. Мы быстренько распахнули ворота и с гиканьем загнали теленка во двор.

Старшая Мать, хлопотавшая в летней пристройке, завидев нас с теленком, рассыпалась в похвалах.

— Вот спасибо, деточка, совсем уж взрослый стал, есть мне теперь на кого опереться.

— Это не я, Старшая Мать, это теленок уже взрослый стал.

— Выходит, оба вы уже взрослые.

— Старшая Мать, этого мальчика Асхатом зовут, он теленка помогал искать.

— И ему спасибо. Выходит, все вы трое уже большие. Спустись, сынок, в погреб, достань холодного катыка, попейте с гостем.

— С хлебом?

— И хлеб тут.

— Ладно, мне пора,—промямлил Асхат.—Дома, наверное, яйца сварили.

Заслышав это, Старшая Мать хитренько улыбнулась и с жаром принялась уговаривать его.

— Каждой пище свое место. И для яйца место останется. По случаю гостя, в каждую чашку катыка по ложке сметаны добавь,—это она уже мне сказала.

Дальше упрашивать Асхат не заставил.

Мы уселись в прохладе под навесом и пустили в пляс наши ложки. Потом гость облизал свою чашку и выложил мне новость:

— Про лепешки-то я давеча того, сбrehнул. Это так, обманное слово, чтобы голод отвести. Про яйца тоже. Мы вторую уже неделю на одной затирухе сидим, и та — раз в день. Отец из мечети не вылазит, самый старший брат уехал в город и пропал, вот мы с Ибраем и тащим все хозяйство. От сестер-то какой толк!

Теперь уже в его голосе не было и тени прежней высокомерной беспечности, сидел передо мной маленький старичок и о своих бедах-горестях рассказывал.

— У нас в теле уже совсем жира не осталось. Вчера мы с Ибраем голые животы на солнце выставили, коптились-коптились — хоть бы капля жира выступила. Потом я дразнилку сочинил про брата. Если никому не разболтаешь, и тебе скажу.

— Хлебом клянусь,—быстро сказал я.

— Я и так, без клятвы поверю. Забавная песня?

Сам Ибрашка два вершка,
Сала ж вышло два горшка —
Грел на солнышке он брюхо,
С маслом будет затируха!

— Забавная. А Ибрай что сказал?

— По башке мне врезал — колодкой, на которой лапти плетут. Видишь, шишка вздулась? Ничего, пройдет, не век же ей здесь торчать. А песенка останется. Ее колодкой не прихлопнешь.

Асхат оказался парнем простодушным, что на умё, то и на языке. Один за другим все свои секреты выложил.

— Меня Рыжим Комаром прозвали, это по масти и за язык. Злой у меня язык. Говорят же: «Дергач свою смерть сам выкликает». Вечно из-за этого языка в беду попадаю. А прозвища я не стыжусь, убавится меня, что ли? Эка невидаль — Рыжий Комар!..

— Прозвище-то и у меня есть,— чтобы не отстать от него, вставил я. — Только стыдное очень.

— И-и-хи-хи! — залился Асхат. — Нет, прозвище у тебя хоть куда — Пупок! Самая нужная вещь на свете — пупок. Передок телеги с кузовом что соединяет? Ось, пупок. А ребенок в утробе с матерью чем связан — пупком! А как самого почтенного, знатного человека называют — «земной пуповиной», не как-нибудь! К тому же родится где ребенок, ты уже со Старшей Матерью там, от дома к дому, от застолья к застолью ходишь. А кому спасибо — все ему же, пупку!

— Смотри, еще раз помянешь, подеремся,— предупредил я.

— Вот бестолковый, мне бы твое прозвище, я бы ходил да похвалялся.

— Не больно-то на похвальбу тянет,— отрезал я. Больше он об этом не заговаривал.

И все же, когда «Пупка» вспомнил Асхат, мне это уже не таким обидным показалось. Одернул я его больше для порядка: гость все же, пусть не забывается. А если кто другой скажет — во мне прямо бес пробуждается. Ведь из-за этого вскоре мы с Хамитьяном, как два осенних петушка, подрались, в кровь изодрались. Но понемногу «Пупок» ко мне намертво пристал: ни зубами оторвать, ни ногтями отодрать. Победил он меня, и я перед победителем склоняю голову...

В полдня Асхат приворожил меня. Не успел он уйти, как я заскучал по нему. С этих пор мы с ним стали неразлучными друзьями.

Асхат — из породы бедолаг. Все беды по его голове ходят. Перед самым курбан-байрамом одно за другим свалились на него два несчастья.

Когда я по задворкам прибежал к Асхату, только что пригнали стадо. Они с Ибраем, старшим братом, загоняли скотину. Бычок послушно идет, а корова артачится. И добрым словом уговаривали, и хворостиной —

упирается. Видать, собственный хлев уже корове опостылел. Замороченный Ибрай даже верхом на нее уселся и так попытался загнать ее. Не вышло. Та вдруг прыгнула в сторону, незадачливый наездник влетел в кучу лежалого навоза. В самый раз этому Ибраю, насмешнику и подговорщику. А братишка тут же и сочинил:

Сел Ибрашка на коня
И сказал: «Вези меня!»
Конь рогами покачал,
«Не поеду!» — замычал.

У Ибрая даже глаза округлились, он направился к Асхату, но тот был начеку и ловко завернул на другое:

— Корова сильнее или бык сильнее?

— Бык!! — в один голос сказали мы с Ибраем. И малый ребенок знает, что мужчина всегда сильнее.

— Так затащим ее волоком.

— Как?!

— Надо их хвостами связать, — кивнул Асхат на быка с коровой.

Ибрая такая хитрая догадка век не посетит — кожура на голове толстовата. Но достоинства старшего брата он постарался не уронить.

— Дурак суетливый! В голове брата созрела эта мысль, а он взял и вперед заскочил. Тебя за язык тянули?

— Нет вроде...

— Ладно, покуда я жив-здоров, держись, браток, за меня, не осрамишься. Не голова — клад, — постучал он себя по лбу. И понесло, понесло «губернатора»: эти слова больше, кажется, в мои уши целились.

— Подавай быка.

Асхат подогнал покладистого пегого бычка к корове, и Ибрай собственными руками крепко связал их хвосты. Асхат взял бычка за рога и потихоньку начал подтягивать к хлеву. Корова уперлась, будто всеми четырьмя копытами в землю выросла. Но и бычок не подкачал, звания джигита не уронил, напрягся и потянул со всей отвагой. Хвосты бедных животных, вытягиваясь, становились все тоньше и тоньше. Тут Ибрагим, к усердию добавив страсти, вытянул быка хворостиной. Наш пегий дурачок подпрыгнул и отчаянно рванул вперед. И в это мгновение раздался треск. Смотрим, а на месте бычьего хвоста мохнатый обрывок торчит, хлынула кровь, бычок

взревел дурным голосом и понесся по двору. Возле дома он врезался в осевший плетень, плетень свалился, бедняга, обезумев, перескочил через него и унесся за холмы.

Мы все трое припустили за быком. Были уже глубокие сумерки, когда мы привели его обратно. От такой скачки, от боли бычок совсем обессилел, даже и головы не мог поднять, изо рта без остановки шла слюна.

Возле ворот нас встретил отец Асхата и Ибрая — Искандер-агай. Он был в чалме, видно, собирался в мечеть на вечернюю молитву, в руках держал бычий хвост. Происшествие с быком видела старшая сестра Асхата и Ибрая, она-то, вероятно, все ему рассказала. Поэтому Искандер-агай подробности выяснять не стал.

— Какая собака это придумала? — спросил он и потряс хвостом.

— Асхат придумал, — сказал Ибрай. — Мне бы и в голову такое не пришло, отец.

— Опять ты! И отец, и мать — люди достойные, порядочные! От пса родившийся пес!

Завсегдатай мечети, грязно выругавшись, сгреб Асхата за ухо и, нахлестывая толстым окровавленным концом хвоста, потащил к хлеву. И вместо вечерней молитвы отец своего младшего сына, в котором ведь даже капли жира не осталось, выпорол до полусмерти. Ибрай вмиг куда-то исчез. Асхат и звука не обронил, только посвист хвоста доносился из тьмы коровника.

Наконец показалась белая чалма Искандера-агая.

— А тебе что здесь надо? Ступай домой! — рыкнул он на меня, но задерживаться не стал, пинком запустил в воздух кумган, стоявший на крыльце, и прошел в дом.

Я прокрался к Асхату. Он лежал, распластавшись ничком на куче соломы, только изредка всхлипывая. Я не знал, что и сказать ему, молча присел на корточки в изголовье. Асхат осторожно протянул руку и потрогал мое колено. Тут совсем поблизости раздался голос Старшей Матери, зовущей меня.

— Я здесь, Старшая Мать!

— Где?

— У Искандера-агая в коровнике.

Она встала в проеме двери.

— Ты что здесь впотьмах в чужом хлеву сидишь?

— Асхата отец до смерти выпорол. За бычий хвост. Он даже встать не может.

Что за бык, какой хвост, она не допытывалась. На

ощупь, отыскала стонущего Асхата и осторожно поставила его на ноги.

— Пойдем в дом, сынок:

— О-ой, спина! — вскрикнул Асхат.

Старшая Мать повела его через двор.

В доме Искандера только тусклая лампадка тлела. Все обитатели дома, кроме хозяина, забились, видно, за занавеску, ни звука не слышно. Старик сидел на хике и перебирал четки.

— Отложи-ка четки, Искандер, — сказала Старшая Мать, повысив голос. Тот не послушался. — Тебе говорю, — повторила она.

Искандер-агай четок не отложил, но его быстро сновавшие пальцы замерли на зернах.

— Здравствуй, сноха... Проходи, — пробормотал он сквозь зубы. — В красный угол пожалуй...

— В тебе вера есть? — она задрала рубашку и показала исполозованную, кровью сочащуюся спину Асхата. — Сказала бы, что зверь, да ведь и зверь так свое дитя не истязает. Ты и зверя бессердечней. Бога не боишься — людей постыдись. Чтоб все твои молитвы были впустую!

— Божьего не касайся, сноха! Не посетил бы тебя гнев господний...

— А ты человека не обижай. Людское проклятие коснется, и в могиле покоя не найдешь.

Я еще не видел, чтобы Старшая Мать так гневалась. Совсем как мать-гусыня, когда, своих гусят защищая, на коршуна бросается. И гусенок-то не ее. Хотя нет. Она ведь Асхату повивальной бабкой была.

— Смотри, — предупредила она старика, — чтобы и пальцем не тронул ребенка. Сейчас в его душе обиду посеешь — потом ненависть пожнешь. Нет большего несчастья, чем между отцом и сыном вражда.

Искандер-агай не стал больше пререкаться. Если бы кто другой ему все это выложил, старик разбушевался бы. Но Старшей Матери возражать он не смеет. И никто в ауле не может ей прекословить.

— Эй, за занавеской, есть там кто-нибудь? — крикнул Искандер. — Не слышите, гость пришел? Самовар поставьте!

Там что-то зашуршало, что-то звякнуло, но ответа не пришло. Старшая Мать усадила Асхата на хике, и мы ушли.

— Старшая Мать, а порванный бычий хвост отрасли? — спросил я по пути домой.

— Отрастет, и хвост отрасли. Вот только надежда разбитая не заживет, да обида от ближнего не пройдет...

Смысла последних слов я, разумеется, не понял.

Другая беда с Асхатом приключилась в самый канун праздника.

Все мальчишки нашей улицы договорились: в праздник после полудня едем на озеро Ак-Манай лошадей купать. Мой Самый Старший брат Муртаза и мне разрешил взять нашего серого мерина.

Купание лошадей на Ак-Манайе — это само по себе целый праздник. Прежде чем ехать на озеро, каждый мальчик чистит свою лошадь скребком, выбирает из гривы весь репейник и даже заплетает ее в косички. А кто пофорсить хочет, так еще в эти косички ленты всякие яркие вплетает.

Наши такого щегольства не любят. Поскреб я свою лошадь, сколько росту хватило — с земли, где не дотянулся — верхом дочистил, причесал-пригладил да и отправился к Асхату.

У Асхата на спине уже струпья отпадать начали, и на лице синяки от черного на желтизну потянуло. Если спросит кто, отвечает коротко: «Бык забодал», и мне так отвечать велел. И зачем только на бедного бесхвостого быка напраслину возводим?

Посреди двора, разукрашенная, разнаряженная, словно невеста, готовая выйти в объятия жениха, стояла вороная одноглазая кобыла. Не кобыла, картинка прямо. К двум ушам два вышитых платочка с бахромой привязаны, грива сине-красными лентами заплетена, даже передние бабки белыми тряпочками обмотаны, а хвост... А хвост так и блестит-переливается разными крупными и мелкими монетами — и медными, и серебряными. Вот глаз только один. Да и тот моргает беспрестанно и гноем сочится, будь неладен! Откуда, спросите, такое убранство кобылке досталось? Угадать нетрудно: братья глубоко, должно быть, нырнули в сундук с приданым двух старших сестер. А может, и не так вовсе. Может, сестры сами одолжили. После того как Асхат чуть богу душу не отдал, они все немного помягчили к нему.

Расфранченную в пух и прах, с отвисшим животом и короткой шеей кобылу Ибрай и Асхат держали с двух

сторон за лыковый недоуздок и приплясывали на месте, напевая в лад:

Хайт, вороной иноходец,
Конь мой, горячий конь,
Шея лебяжья, черный огонь,
Хайт, вороной иноходец!
Ты обгоняешь ветер в пути,
Шаг твой крылатый равен пяти.
Хайт, вороной иноходец!
Кто на крупе усидит,
Всем джигитам тот джигит:
Смел, уверен и спокоен,
Ханской дочери достоин.
Хайт, вороной иноходец!
Хвост твой павлиний по ветру летит,
Шаг твой крылатый равен пяти,
Скачешь в степи от зари до зари,
Огненным взглядом меня одари!
Хайт!

Вороная же на эту высокую хвалу ни головой не мотнет, ни хвостом не махнет, стоит себе смирно. И только услышав умоляющее: «Огненным взглядом меня одари», — кажется, вздрогнула. Видно, уж насчет своего взгляда-то кобыла не обольщалась, и столь непомерная лесть не понравилась ей. Она вдруг повернула голову к Асхату и под корешок откусила его левое ухо.

А ведь уже завтра был бы праздник.

В этом году от праздника радости не было. Я лежал избитый, кровь выплевывал, а друг на всю жизнь одноклассником остался.

...Когда у старого Кадергула с улицы Трех Петухов родился сын Ишмурза, нас со Старшей Матерью опять позвали. Это был последний мой «повивальный праздник».

Но с застолья в честь Ишмурзы гостинец своему другу я все же вынес. Набил оба кармана медовым чак-чаком. Один карман сестренке с братишкой вывалил, но другого и не коснулся.

Вечером я на сером мерине верхом отправился за околицу на выпас и завернул к Асхату. Он тоже выехал верхом на вороной. На той стороне оврага мы, стреножив, отпустили лошадей и уселись на траве. Я сунулся в карман за гостинцем, но свалившийся чак-чак прилип к холщовым штанам. Только совсем вывернув карман, мы смогли отодрать его. Половину гостинца Асхат протянул мне.

— Наелся — в горле еще стоит. Вот! — показал я, разинув рот.

Он, по своему обыкновению, не спеша, уважительно начал есть.

— Мне сегодня опять влетело, — сообщил мой приятель, погладив скулу.

— За что?

— За песню. Отец проснулся утром, весь по макушку в пуху, у него подушка ночью прорвалась. А мне и надо было выскочить:

Поднялся отец с подушки —
Пух и перья на макушке.
Ух, теперь от всех подряд
Пух и перья полетят!

«Чтоб шайтан тебе на язык плюнул», — крикнул отец и подшитым башмаком запустил. Прямо в срамное место попал, тут я и переломился пополам. Сам дурак, язык даже свой сдержать не могу.

Белоголовый одноухий Асхат, если взглянуть вдруг, похож на самовар с отломанной ручкой. Даже лучи закатного солнца играют в его волосах, как переливались бы они в прозрачном чаду самовара.

Внизу под горой расстилается чуть заметная глазу ясная синева.

— Вон та синева, — говорит Асхат, — она с неба сыплется. За целый день свод небесный накаляется, вот под вечер и сыплется с лазури синяя пыль.

Чистая правда. Откуда же еще взяться такой синеве? Если бы из земли поднялась, был бы просто туман. Вечер высок, тих. В алеющем небе ни облачка, на земле ни ветерка. И долгая горестная песня кого-то, едущего через луг, разрежала тишину. Должно быть, верхом едет. Пеший человек не смог бы петь так широко и так безотрадно. Я и сам, только на лошадь залезу, или веселюсь, как сумасшедший, или совсем сникаю.

Ясно расслышали мы только последние слова песни: «...Не войдет человек в чужую могилу...»

— Это Рамазан, сын Шайхи, — Асхат тут же узнал певца по голосу. — Сильно горюет он по отцу...

С неделю назад случилось событие, потрясшее весь аул. Два брата — Кашафетдин и Шайхетдин — строили возле деревни Лекаревки мост через Дему. Уже совсем достроили мост, как оступился Кашафетдин и упал в

реку. Он не умел плавать. Пытаясь спасти старшего брата, Шайхетдин прыгнул вслед за ним. Ушел под воду и больше не появился. Кашафетдин кое-как прибил к берегу, а Шайхетдин так и исчез. Только через три дня где-то в низовье Демы выплыло его тело... Оказалось, что, ныряя, он ударился головой о корягу.

Давно затих голос Рамазана, а его песня все еще звучала в ушах: «Не войдет человек в чужую могилу...»

— Асхат, а Асхат! — сказал я моему загрустившему другу. — А ведь, если подумать, Шайхетдин не в свою могилу вошел. Умереть-то Кашафетдин-агай должен был.

— Не знаю, — покачал головой Асхат.

Надо будет у Старшей Матери спросить. О рождении человека она все знает и про смерть, наверное, тоже.

Но спрашивать у нее я все же не стал. Не любит она, когда про смерть допытываются.

Асхат долго молчал, и, когда начал говорить, что-то загадочное было в его голосе, и мне опять стало неспокойно.

— Есть у меня две тайны. Сумеешь сберечь — обе тебе открою. Клянешься?

— Хлебом клянусь.

— Ты же знаешь черноволосую, черноглазую Фариду с вашей улицы. Она сирота, дом у них высокий...

— Знаю.

— Мачеха Фариду день-деньской только бьет да ругает. Несчастливая она, вроде меня. Мы с ней парой пришли. Об этом мне одна из двух сросшихся, обожженных молнией берез, что возле Святого ручья стоят, сказала. Эту девочку я больше всех на свете жалею. Даже себя так не жалею. Я и песню про нее сложил:

В темном доме девица
Плачет, леденеет.
Мое сердце девицу
Бедную жалеет.

Пою эту песню и плачу.

— А ей какая польза от твоих слез?

— Покуда пользы нет. Но когда я вырасту, я влюблюсь в нее. И однажды весенним утром, перед самым-самым восходом, я возьму ее за руку, и мы пойдем навстречу солнцу. Птицы без умолку будут петь нам, а впереди, показывая дорогу, будут порхать бабочки. Видя нашу радость, цветы склонят головы, уползут змеи в

нору, волки забьются в логово. Мы будем идти и идти и поднимемся на самую высокую земную вершину, Девичьей Горки даже выше, само небо внизу останется. Ту вершину покрывает высокая густая трава. Если чуть нагнуться, она совсем нас закроет. И в этой траве я украдкой поцелую ее в левую щеку. На левой щеке у нее красивая родинка есть...

— Фу! Нашел занятие!

Целующийся Асхат мне совсем не понравился. А поведение Фариды, позволяющей целовать себя в густой траве, показалось и вовсе неприлично.

— Влюбленные должны целоваться. Иначе нельзя. Я ведь не сейчас, когда вырасту... Не была бы Фаридка сиротой, не обижала бы ее мачеха, я бы и не влюбился в нее. Счастливому человеку нужды-то во мне — одна копейка. Из тех берез-двойняшек одна мне так сказала: «Шаткому опора нужна, одинокому в друге нужда». Такие, как мы с Фаридой, шаткие, друг другу опорой должны быть. Только об этом никому уж не говори.

— Сказал же: клянусь! Клятве не веришь, что ли?

— Верить-то верю...

Не совсем по душе пришлась мне эта Асхатова тайна. Верю, и на самую высокую гору заведет он Фариду, и солнечными лучами ее окутает, и птицу певчую поймает, и песню, что у ручья перенял, споет. Небо внизу будет, они — наверху. Силы у него безграничные.

Только я и ту Фариду знаю. Каждый раз, проходя мимо их дома, поправляю тюбетейку, чтобы ладно сидела, и стараюсь поменьше шмыгать носом. Зря открыл мне Асхат свою тайну. Выходит, этой девчонке с черными-черными волосами, с ярко-черными глазами, с родинкой на левой щеке я неровня. Потому что живу я, живу, а страданий еще никаких не изведаль.

Какие бы испытания мне ни выпали, тайны друга я никогда не открою. Луна видела, солнце высушило... Друг не заметил, что я о своем задумался. Он был полон своей тоски.

— Были бы мы птицами,— сказал Асхат,— улетели бы далеко, далеко. Я бы уговорил ее.

— А какой бы ты птицей стал — кречетом, лебедем или скворцом?

Он долго думал. И потом ответил:

— Нет, все равно я бы птицей не стал. Если я в пти-

цу обращаюсь,—вихрь, когда за мной придет, поищет-поищет меня и обратно улетит.

— Какой вихрь?

— Этот вихрь и есть моя вторая тайна. Повтори клятву!

— Хлебом клянусь!

Я смотрю прямо в худое лицо Асхата. Глубокая дума сидит в его синих глазах.

— Я ведь здесь не за себя, за другого мальчика живу. Я не здесь, я в другой, прекрасной стране родился — там шелковые травы высоко вздымаются, ягоды и плоды медом наливаются. Налетел однажды страшный ураган, подхватил меня, понес через бездонные ущелья, черные леса, неоглядные долины и бросил здесь. А отсюда другого мальчика унес. Чтобы каждый из нас изведal: он — счастье-радости, я — беды-горести. Если бы не занесло меня из чужих стран — не клевали бы меня все, словно птенца из чужого гнезда. Пройдет срок, и нас снова поменяют. Я знаю, они парой ходят: на одно страдание — одна радость. Вон из-за того березняка вынесется вихрь, схватит меня, и мы улетим. Каждый раз, только ветер поднимается, я лезу на крышу сарая и жду. Но не настало еще время. Я еще здесь не всю свою долю изведal, не всю воду выпил, не весь огонь проглотил.

У меня сердце оборвалось.

— Выходит, тебя нечистая сила подменила!.. Выходит, ты шайтана сын!

— Нет, у него дети светлыми не бывают, все черные. Говорю же, меня сюда из другого мира, из страны счастливых забросило. Все равно меня отыщут...

Много после этого ураганов прошло, много вихрей пронеслось, но все они обходили моего друга стороной. Асхат об этом больше никогда не говорил, ни разу. И я не поминал.

Так, наперегонки с судьбой, мы и подрастали. Выросли, вытянулись. Когда Асхат был маленький, старый Искандер в школу его не пускал: «Только и осталось — к черту за наукой ходить!» — говорил он. Потом уже и сам Асхат не очень рвался. Так и остался полуграмотным, еле буквы разбирал. Но прославился в нашем ауле и во всех соседних как острослов, выдумщик, сочинитель песен. Из-за острого языка и поколачивали порой. Но он не унывал, языка своего не укрощал, только приговаривал: «По вору и кнут».

Но однажды налетела черная буря, накрыла всю страну, закружила наших джигитов и унесла в далекие края. Не из светлых стран пришла эта буря — из черной страны горя нагрянула. Асхат уже понимал тогда, что родная земля его с шелковой травой — вся здесь, у его ног. Било и мотало нас этим вихрем, мы становились мужчинами, и в долю выпало — кому смерть, кому слава. Но выше всех бурь поднялся священный свет родной земли, он осветил мужество живых и могилы мертвых.

Многих огненный вихрь унес в страну, откуда возврата нет. Пропал без вести и Асхат. Но я не могу поверить. Он был не из тех, кто пропадает без вести. Видно, синева его глаз слилась где-то с синевой неба. Не думаю, что умер он в судорогах, корчась на земле. Может, ехал он верхом и рухнул с седла, а может, в пылающем самолете сгорел высоко в небе. Он был красивым человеком. Я не верю, что красивый человек может умереть некрасиво. Он был поэтом. Смерть поэта не может быть безобразной.

Прошли годы, я уже думал, что Асхат совсем ушел в омут времени. Но вдруг — глазу, как ветер, невидимая, уху, как луч, неслышная — весть о нем пронеслась над нашей землей. Будто бы видели: одноухий синеглазый юноша перепрыгивает с планеты на планету и лучиной зажигает потухшие звезды. А тем, что тускло горят, добавляет яркости. Этому вполне можно верить. Он был поэтом. Значит, поэт взялся за свое главное дело.

ОПОЗОРЕННЫЙ ГОРОД

За домом гнусавый Валетдин рубит дрова. Ударит разок топором и молит, уставясь в небо:

— О небо! Забери же кого-нибудь! Или меня забери, или эту бабушку! Только и знает: наруби дров да наруби дров!

Он опять нехотя тюкает по березовому полену, лежащему на чурбаке. Полено не поддается, только подпрыгивает.

— И полено твердое... и топор тупой!.. — жалуется он. — Ну почему только мне все так вредничают!

Валетдин сдернул с головы свою заскорузлую тюбетейку и швырнул оземь. У завалинки, где она упала, фыркнула и взметнулась пыль. Он опять устремил взгляд

в синее небо. Из его в дальней дали блуждающих глаз брызнули слезы.

— О небо! Ты меня одного, сиротину своего, заberi. А бабушка пусть тут остается. Пусть одна в свою сласть поживет — со всем скотом-имением управляется. Слышишь, небо?

Валетдин и его бабушка, совсем дряхлая старушка Гидельниса, живут вдвоем. Отец Валетдина с германской войны не вернулся, мать в другой аул, в Кусюм, замуж вышла. «Скотом-имением» же зовется — однорогая желто-пегая коза. И коза-то не коза — косуля настоящая. То и дело аульское стадо куда-нибудь уведет. Валетдин не нахвалится: «Наша пегая коза всему стаду голова, темноту вашу: вислопуzych невежественных коров да бестолочь баранью — куда хочет заведет. Хотя молока и не в избытке дает, она высоким своим положением известна, по делам почитаема...»

«По делам почитаема», — говорит. Так ли уж почитаема? Не зря же давеча, когда Младшая Мать на женском собрании припозднилась, отец с насмешкой бросил: «Что-то ты, женушка, от дела виляешь, на собрания зачастила — глядишь, так и в козы бабки Гидельнисы выбьешься...» Младшая Мать только хихикнула, но и то без особой живости...

Я стою, прислонившись к углу избенки бабушки Гидельнисы. Валетдин все еще не замечает меня. Он бросил топор и плюхнулся на чурбак. По щекам его все так же текли слезы. Он долго молчал, потом снова поднял лицо к небу:

— О небо! Эту свою молитву я обратно беру. Оставь нас обоих здесь. Не то бабушке одной, без меня, совсем плохо будет. А вместе проживем как-нибудь: две сироты — родня друг другу.

Тут я не вытерпел и от жалости к Валетдину и бабушке заплакал. Валетдин вздрогнул и повернулся ко мне. Поначалу то ли напугался, то ли рассердился — так и отпрянул в сторону. Увидев же, что посторонних — «все-го лишь я», успокоился.

— Тронул кто? — спросил он мягко.

— Никто.

— А чего воск давишь?

— К твоим слезам... Ты хорошо сделал, что свою молитву обратно взял. Что тебе там, в холодном небе, делать?

Наверное, это и было в моей жизни в первый раз, когда я, чужою горестью горюя, слезам другого вослед заплакал. А когда за другим вослед песню запел, этого не помню. Пожалуй, уже позже, много позже...

— Ты не плакал, я не плакал. Ясно? — сказал Валетдин. — Не мужское дело — слезы точить.

— Ясно, — покивал я, хотя и не совсем понял. Этого до конца я и потом не пойму. Даже когда нестигаемые вроде мужчины рыдали — я не удивлялся, их не винил. Если бы и камень вдруг выжал слезу, сказал бы: видно, так схватило...

— Если этот сук за три удара не перерублю — не зваться мне Валетдином, — сказал он и трижды плюнул себе на ладони. Взял топор, яростно замахнулся... и первое отрубленное полешко легко спрыгнуло с чурбака. Дальше Валетдин знай рубил — только полешки в сторону откатывались. Вот загадка! Топор ли за это время наострился, дерево ли мягким стало?

Вышла во двор бабушка Гидельниса. Смотрит на внука, нарадоваться не может.

— Вот он какой, мой работающий, мой послушный! Когда за дело берется — даже сердцем встрепенется. Опора моя, столб золотой... Даже тюбетеечку скинул. Если еще и домой занесет, что нарубил...

— Я сам! — сказал я и начал поспешно набирать в охапку дрова.

— Чтоб род твой в благости жил, и ты послушный, оказывается, — отсыпала бабушка и мне похвалы. — Добро, другому сделанное, божьей милостью возвращается, — сказала и ушла в дом.

Один вздох — и я уже две охапки занес.

Их избушка, маленькая, в один размах — что вдоль, что поперек — наш главный стан. И зимой и летом ребята с Верхнего конца улицы здесь собираются. Тут вольготно. Ни запретов, ни ругани. Потому и малую просьбу бабушки Гидельнисы спешим выполнить с большим усердием. По правде говоря, ее хилый «столб золотой» насчет работы вовсе не из тех, кому такая громкая похвала положена. Захочет — исполнит просьбу, не захочет — хоть убей, и щетинкой, как говорится, не шевельнет. Упрямством он набит туго.

Собираемся мы, как синицы на свежую бойню слетаются: только первый появился, глядь, уже и все стянулись. Следом за мной Хамитьян явился, за ним Шайхаттар, потом Ибрагим с Асхатом, Мухаррям — сын Хусаина, Ануар — сын Белого Юмагула. Последним показался сам вожак.

До обеда мы кто где: по дому посильную работу делаем, мелкими играми забавляемся. А к вечеру собираемся все вместе и делимся на два войска. Играем в самую большую, самую настоящую игру, которая называется «Германской войной». Я не могу дожидаться часа, когда снова стану могучим Рукавказом. Одно только плохо, меня все время из стана в стан перекидывают: то я под рукой России, то — Германии. Однако и там и здесь бьюсь яростно, беспощадно, редко когда бывает, чтобы кровь из носа не пошла или там без синяка обошлось или подбитого глаза. О пуговицах и речи нет, все с воротника счистил. Старшая Мать пришивать не успевает.

Уже «Германской войне» вспыхнуть вот-вот осталось, как пришел запыхавшийся Насип, по прозвищу Удачливая Рука. Забавный он, этот Насип. Какое бы дело мы ни начали, он уже молит: «Ребята, пусть мой почин будет, у меня рука удачливая». Сядем рыбу ловить, он спешит свою удочку первым забросить: «У меня рука удачливая, у всех рыба, как ошалелая, клевать будет». Шлеп — и его поплавок падает в воду. Упадет, покачается, будто поудобней устраивается, и засыпает. И другие поплавки сидят, не шевельнутся. «Сейчас... сейчас... — шепчет Насип. — Это рыба наше терпение испытывает. Много терпеть — много иметь». Вот и терпишь, сидишь... Или в лес за свербигой пойдем, все этот же Насип вперед заскочит: «Давайте, ребята, первую свербигу я сорву, у меня рука счастливая, всем удача будет». Однако когда как: то есть удача, то ее в помине нет. А в прошлом году, когда начали жать рожь, он опять: «Отец, давай первый пучок я сожну, у меня же рука легкая, вся работа складно пойдет». Сказал... и первым же взмахом серпа мизинец левой руки до кости прохватил. Чего только не терпят счастливые Насиповы руки! Ладит стрелу — молотком тукнет, в скальных расщелинах птичьи яйца ищет — камнем придавит, даже двери закрывает — редко не прищемит. Но в удачливость своих рук он верит всей душой. Меня досада берет, как Насип

всегда везде суется. «Себя показать хочет», — злюсь я. Что Насип не для себя — другим удачу добыть старался, я понял потом, много лет спустя.

Однажды он докажет, что руки у него и впрямь удачливые, навек докажет...

Так вот, «Германская война» уже готова была вспыхнуть, когда Удачливая Рука, захлебываясь, сообщил весть:

— Ребята! Разговаривали сейчас мой отец и Круглый Талип. Круглый и говорит, у русских, оказывается, в городе калашный праздник, и на этом празднике всем калачи задаром раздают, говорит. Белые-белые калачи, вот такие, — и он показал, какой толщины калачи. Самое малое — с мельничный жернов.

Новость и вправду была удивительной. У нас глаза под потолок полезли. Мы все враз языка лишились.

— Врет, поди, — первым опомнился Шайхаттар, который из всего себе выгоду вытянет. У этого Шайхаттара железные коньки есть. Скатился на этих коньках по горбтому переулку Белого Юмагула два раза — плати копейку. Шесть раз — три копейки. На большее — казна тоща. Как зима приходит, я дотла нищаю.

— Если бы врал, разве мой отец ему поверил? Мой отец ни капли не верит, когда врут.

— Конечно, соврать — это у Круглого Талипа в повадках есть, — только сейчас вступил в разговор Шагидулла, — но что в городе калашный праздник идет — тоже возможно.

— Конечно, возможно, — поддакнул вожаку его пристяжной Валетдин.

— А почему, может, спросите? — спросил наш предводитель.

Мы все уставились на его тонкогубый рот. Вот сейчас из этого самого рта, как скворец из гнезда, выпорхнет ответ. Ответа не последовало, зато предстал новый вопрос:

— Откуда калач вышел?

— Откуда же еще, из печки, — хотел подивить нас своей находчивостью Ибрай.

— Это ты из печки вышел, только рановато вынули

тебя, не допекся... — язык у нашего вождя порой крапивы злей.

— Его из белой муки пекут, — уточнил Ануар, сын Белого Юмагула. Его слова Шагидулла и вовсе мимо ушей пропустил.

— Слово «калач», парни, из слова «кала»¹ вышло. И означает это — городской хлеб, городская еда.

Ого, чего только не знает Шагидулла-агай, мой родственник!

— Ну и пусть, нам-то что за польза? — опять встрял Шайхаттар. — Давайте лучше в «Найди тюбетейку» сыграем.

— Так когда же этот праздник?

— Не знаю... Только Круглый Талип отцу говорил, что калачи прямо сам, своим ртом ел.

— Когда ел-то — вчера, сегодня, год назад? — горячо допытывался Шагидулла. Насип растерялся.

— Уж, наверное, сегодня ел, коли сегодня говорил... Или вчера... — пробормотал Насип. — Он как раз из города шел, когда к нам заглянул.

— Круглый Талип про зайца, которого на будущий год подстрелит, нынче растрезвонит, но о прошлогоднем новость до этого года держать не станет, — вступил наконец в разговор Мухаррям. Годами он ровесник Шагидуллы и Валетдина, и в рост тоже вытянулся. Приказы-наказы предводителя исполнять не очень ретив. В споры, в игры входит редко.

— А если зайца и вовсе нет? — все сомневался Шайхаттар.

— Чего нет — того не скажет. У него в словах всегда свой смысл есть.

— Сказать вам самую правду? — заявил вдруг Валетдин.

— Скажи!

— Я обычаи русских все изучил. Они, коли начнут праздновать — так на целую неделю, раньше не успокоятся. От воскресенья до воскресенья гуляют...

Валетдин знает, что говорит. Когда его мать замуж вышла, он не то три, не то четыре месяца в русской деревне, в приюте жил. Там он и по-пороссячьи хрюкать научился. Так похоже хрюкает, что его бабушка в ужас приходит. Но по-русски говорить не выучился.

¹ К а л а — город.

— Какой сегодня день? — спросил вожак.

— Пятница. Нынче полуденный намаз в мечети читали, — сказал Асхат.

— Раз так — не прошел еще калашный праздник, — заключил Шагидулла. И торжественный свет скользнул по его лицу. — Кто да кто хочет калачи до отвала поест, становись справа от меня!

Мы все, кроме Шайхаттара и Мухарряма, гуськом, как утята, спускающиеся к речке, встали справа от вожака.

— А вы что, уже под завязку калачей наелись?

— Наверное, не пойду, не велик барыш — один раз калач поест, — пожал плечами Шайхаттар.

— Сегодня вечером с отцом на Уршак поедem, на мельницу, рожь молот, — сказал другой. — Нам не до калачей, с черным бы хлебом не разминуться...

Ради того, чтобы один раз калачи поест, мы за двадцать пять верст отправиться готовы. Что это — обжорство, жадность, самая обычная глупость? Или что-то совсем другое? Вот сейчас, с седой вершины прожитой жизни, я оглядываюсь назад и прихожу к мысли, что дело совсем и не в калачах было, а в нас самих. Потому что росли мы, умея выискать в пучке лишений росточек радости, в горсти горечи — крупинку сладости. И потому, когда мы выросли, когда в голову вошло понимание, а к сердцу — пришла страсть, мы готовы были одного материнского благословения ради пройти сквозь тысячу испытаний, ради того, чтобы хоть раз заглянуть в глаза любимой, мы за тысячу верст, с края войны, зажав ладонью открытую рану на груди, спешили к родному становой. Хоть на день, хоть на час...

— Шагидулла! Уж не солью ли порог Гидельнисы посыпали? Как ни посмотри — там, как телята, толкутся! Вон, отец вернулся — вдрызг! Лошадь распряги! Господи, мне ль с ними не тяжело: один — пьянчуга, другой — придурок, третий — побродяжка! Шагидулла, говорю! — это мать нашего головы, Минлекай-енге, с той стороны улицы так складно выкликает. Голос ее на весь аул слышен. Потому и секреты у них дома не залеживаются.

— «Германской войны» нынче не будет, — объявил

предводитель. — Завтра, как стадо погонят, всем на Городской дороге, возле песчаного карьера собраться. И смотрите, чтобы всякие лишние людишки не проведали. — И он с каким-то намеком посмотрел на Шайхаттара и Мухарряма.

Нам тоже не до игры стало. Следом за ним и мы потихоньку разбрелись по домам.

В этот раз ночь ждать заставила долго, но вот и она пришла. Я лежу и боюсь заснуть. Не вздохну даже, чтобы Старшая Мать не учуяла, что я не сплю. Она тихонечно читает молитву. От ее шепота мне становится жутковато: будто пришли ночные духи и она беседует с ними. Только лунный свет, падающий на подоконник, немного разгоняет мои страхи. Давно уже, ворочаясь с боку на бочок, спят братишка и сестренка.

— Что притаился, синнай? Почему не спишь?

Когда я был маленьким, я не понимал этого ее слова. Оказалось, что оно из русского взято — «ценный».

Я молчу. Я знаю, стоит мне только откликнуться, как все и расскажу ей. С другими сжульничать, слукавить или соврать я умею — это бывало. Но только не со Старшей Матерью.

— Что назавтра учинить собираешься?

У меня сердце екнуло.

— А ты откуда про это знаешь?

— Да знаю уж.

Вот сейчас я возвращаюсь к тому вечеру и посейчас изумлен прозорливостью Старшей Матери, посейчас пленен. Она ведь не спросила: «Какой беды натворил, что и сон к тебе не идет?» Потому что малый ребенок прошлого перебирать не будет, проводами не мается, ожиданием живет.

— И вправду знаешь, Старшая Мать. Мы завтра, все мальчишки, и Шагидулла-агай с нами, в город на русский калашный праздник пойдем. Задарма калачи есть.

— Их праздник весной бывает, дитятко, когда овраги заливают.

— Нет, сейчас... завтра будет. Круглый Талип сказал.

— Ну, если Круглый Талип сказал... Тогда и

впрямь,— я не вижу ее лица, но чувствую, что она улыбается. — Ступайте. От гона борзая подошв не износит. А теперь спи.

— А если просплю? Мы же с рассветом уйдем.

— Не проспишь, сама разбужу.

Старшая Мать разбудила меня в желтые сумерки. Завернула в красную тряпицу краюшку хлеба и протянула мне. Я стал отпираться:

— Не надо, Старшая Мать, мы же туда калачи до отвала есть идем.

— Возьми-ка, возьми, тяжело нести будет — на половине пути под кустик полыни сунешь, зайцев угостишь. Но до середины пути терпи, не бросай. Тряпицу обратно принесешь.

Взял я этот хлеб, только чтобы не перечить ей.

— Тряпку я зря таскать не буду, Старшая Мать, я калач в нее заверну.

К моему приходу мальчишек был уже полон карьер. Последним, на бегу подтягивая вечно спадающие штаны, прибежал Ануар, сын Белого Юмагула. Они там всем домом неряхи. Про Ануара уже сказал. Его старший брат Музафар до сих пор нос вытирать не научился, а за Ямлегуль, старшей сестрой, всегда завязки лаптей тянутся. На днях Асхат, подражая голосу матери Ануара, такую песенку пропел:

Ануар, Музафар!
Надо ставить самовар,
Надо печку растопить,
Надо по воду сходить,
Надо тесто замесить,
Да казан песком отмыть,
Да узнать, к кому спешит
Через улицу джигит,
Надо-надо-надо-на —
Тыщг дел, а я одна,
Все сижу себе без толку,
Все жую липучку-смолку...

— Что это? — Шагидулла-агай ткнул пальцем в мой узелок.

— Хлеб,— пробурчал я.

Валетдин хихикнул:

— Ржаной хлеб? Нет уж. Нам, ребята, животы поберечь надо. Я и с вечера ничего не стал есть.

И я то же самое говорил, только Старшая Мать не поняла меня. Больше о хлебе не вспоминали.

— Где Ибрай? — спросил вожак.

— У Ибрагима грыжа стронулась, — ответил Асхат.

На поверку нас всех оказалось семь душ. Прежде всего он сам — вожак, потом остальные: Валетдин, Насип, Хамитьян, Ануар, Асхат и последним — я.

— Смотри, Пупок, коли увязался, так чтоб не пищать потом... — предупредил вожак.

Я только грудь выпятил. Промолчал. Хоть и запала обида на вожака, виду не подал. Дарового угощения меня лишить готов, а сами небось на каждом шагу за любой нуждой к нам бегут.

За меня ответил Хамитьян:

— Он не подкачает. А хлеб я понесу. Давай, Рукавказ!

— А ты, Ануарбек, и в городе штаны в руках держать будешь?

— Спадут, коли не держать.

— Нет, с Ануаровыми штанами в путь выходить нельзя, — опечалился вожак, — сраму не оберешься.

Валетдин и Насип нашли две короткие палочки и подкрутили ими завязку Ануаровых штанов. От радости гот на месте подпрыгнул, как козленок. Закрутки были надежными.

Солнце еще не встало. Сзади, над аулом, разносятся петушиный крик, мычание коровы. Внизу, по-над ручьем, тянется густой туман. Оставляя на пыльной Городской дороге семь пар босых крупных и мелких следов, мы устремились вперед. Асхат обернулся к аулу и пропел:

Как мы край свой покидали,
Затуманилась река.
Коль вернемся — то вернемся,
Путь-дорога нелегка.

Пошли. Задор ли, радость ли — что-то приятное щекочет внутри. Ноги сами по себе припустить готовы.

До самого Дубкового взгорья мы дотрусили молча. Солнце поднялось уже довольно высоко. В ясный день отсюда видно, как вдали, на белой горе, стоит белый город.

Тут кончаются земли нашего аула. Когда в жатву мы ночуем здесь, то видим в темном небе маленькую кучку городских огней. Посмотришь на них, и они начинают мигать, будто идут к тебе. Где город, знаем, дорогу туда знаем, но никто из нас семерых там еще не

бывал. Вон ведь, на серебряных утесах стоит, с золотых крыш лучи льет! Сейчас он глазу казался особенно приветливым, щедрым и гостеприимным. Не будь щедрым, разве звал бы он нас к себе так радушно? Словно не мы к нему идем, а он, всеми своими сокровищами нагрузившись, навстречу к нам плывет.

— В городе у нас родня есть,— сообщил Ануар,— на самой высокой пожарной каланче сидит, оттуда ему на сто верст кругом видно. Как царь, наденет золотую шапку и сидит.

— Там каменная мечеть с двумя минаретами есть, так печи в ней топят нашего кусюмского свата близкий сват,— похвастался Валетдин.— Если зайду к нему, обнимет да приподнимет. Вот увидите.

Про их родню-породу я не знаю. Может, есть, может, и нет. А вот у Асхата самый старший брат Исмагил и вправду в Уфе работает. Чего же Асхат-то промолчал? Даже на днях, когда мы с ним поперек бревна положили доску, встали по концам и стали раскачиваться, он такую прибаутку сочинил:

Я качался на бревне,
Ты качался на бревне.
Старший брат мой служит в лавке,
Да не шлет гостинцев мне.

Будь я на месте Асхата, те у меня живо рты бы закрыли. Я подошел к другу и шепнул:

— Ты чего про брата молчишь?

— А ну его! — махнул он рукой. — За ним, беспутным, не угонишься. Теперь куда-то в сторону Ташкента подался.

Мы перевалили Дубковое взгорье, прошли немного, и город снова скрылся из глаз. Задор наш маленько остыл. Мой красный узелок от Хамитьяна перекочевал к Насипу, от Насипа — к Валетдину и наконец забился к вожаку под мышку.

— Полпути не прошли еще, Шагидулла-агай? — спросил я.

— Что, силенки вышли? Говорил я тебе...

— Не вышли.

— Чего же спрашиваешь?

— Старшая Мать сказала: тяжело будет — хлеб на половине пути под кустиком полыни оставишь.

— Не мели попусту, Старшая Мать такого не скажет.

— Сказала вот! Сказала!

— Глупый, она же сказала «если тяжело». Смотри, как птица летает,— он подбросил хлеб в небо и поймал его в ладони.

— Перестань, Шагидулла, хлебом не играй, уронишь крошку — грех на тебя падет,— сказал Асхат.

«Греха» мы все до смерти боимся. Даже сам вожак боится. Он прижал хлеб к груди, будто прося у него прощения.

Мы уже со счета сбились, сколько тарантасов, запряженных быстрыми конями, окатив пылью, обогнало нас. Попадаются и встречные подводы. Только из пеших на большой дороге — одни мы.

— Далеко еще до города? — спросил Валетдин у старика, ехавшего верхом на лохматой рыжей лошаденке.

— Меньше пятнадцати, больше десяти. Шагайте скорее. Там уже ждут вас.

Коли ждут, надо торопиться. После этих слов мы даже бегом сколько-то пробежали. Бегом-то бегом, да не очень-то резво теперь получается. Ануаровы штаны опять ослабли. Пришлось Насипу заднюю закрутку еще подкрутить. Не знаю, как другие, а в моем животе мечты калашные на убыль пошли. Теперь и черным хлебом доволен был бы. Но не мне же первому об этом заговаривать, и так вожак меня за обузу считает.

Миновав небольшую, в три-четыре избы, русскую деревушку, остановились в редком березнячке посреди поля. В тени немного отдышались.

— Садитесь,— приказал вожак. Он опустился на колени и положил перед собой красный узелок.— Какие слова Курбан-мулла любит повторять — кто знает?

— Ты знаешь,— быстро сказал Валетдин. Видно, почуял что-то гнусавый.

— Курбан-мулла говорит: «На каждый кусок — свой закуток».

— Да, знает мулла, как сказать,— отдал Асхат должное мудрости муллы.

— Если мы этот хлеб съедим, калачу закуток останется?

— Останется, останется! — ответили мы.

— На, Валетдин,— вожак достал из кармана ножик и протянул ему.— Раздели сей хлеб на семь частей по справедливости.

Валетдин тут же захлопотал, и оглянуться не успели,

как на красной тряпице рядом лежали семь примерно равных ломтей хлеба. Но только примерно равных, были все же доли побольше и доли поменьше. Вожак почему-то своей доли — самого большого куска — пока не берет. И нам вперед старшего руку тянуть неловко.

— В дороге пищу надо честно делить,— сказал он.— «Это кому» разыграем.

— Ребята! — Насип вскочил даже.— Давайте я выкликать буду. У меня язык счастливый — каждый в точности свою долю получит.

Никто не возразил. Насип отвернулся. Валетдин берет кусок и спрашивает:

— Это кому?

— Хамитьяну!

— Это кому?

— Шагидулле!

— Это кому?

— Пупку!..

Семерым — семь ломтей вышло. Однако не совсем по справедливости: мне достался самый большой кусок, а предводителю самый маленький. Тот и виду не подал, но чувствую я: пища не в пищу мне пойдет — не по-честному вышло. Шагидулла на пять лет старше меня. А кто больше, того и доля должна быть больше. Надо поменяться... Пока я так размышлял, он от своего ломтя уже порядочный кус отхватил. Следом и у других мельница замолоча. Как же эту несправедливость исправить?

Я со своим ломтем нарочно подольше провозился. Когда же осталось три-четыре раза откусить, протянул его Шагидулле:

— На, агай, доешь.

— Сам доешь.

— Я уже наелся, валлахи...

— Не божись. Даешь — давай так. А не то — пустая клятва на тебя же падет.

От сытого живота и в ноги резвость пробежала. Я всегда удивляюсь этому: весь ломоть-то с кулачок, а сколько в нем волшебной силы. Съел его — и сразу весь мир преображается. Вот и сейчас... Вдруг совсем рядом пропела какая-то птица, сизый ветерок прошумел по только что выколосившейся пшенице, веселей, приветней зашелестели березки. Даже солнце уже не так палит. И вся красота — из той краюшки хлеба.

Только мы тронулись дальше, Насип говорит:!

— Давай, ребята, иноходью, как Аминова кобыла! — и сам же понесся первым. Но вожак и Валетдин тут же обогнали его. Позади всех я потрусил.

Есть на Нижнем конце нашей улицы Амин, который в самую страду, в сенокос и в жатву, в лес по ягоды ездит. Нагрузит с утра весь свой выводок от мала до велика в лубяную телегу и тянется потихоньку на Верхний конец. Колеса, даже запах дегтя давным-давно позабывшие, на весь аул долгими криками исходят. На днях Асхат спрашивает меня: «Что Аминова телега говорит?» — «Что она скажет, знай скрипит». — «Нет, — говорит Асхат, — она Амина умоляет: «Не близ-зко — не поед-дем... Не близ-зко — не поед-дем...» Хорошенько прислушаться — правду Асхат говорит. Телега в точности так выкликает. А уж когда вечером возвращаются, потрусит пегая кобыла под гору, и все четыре колеса наперегонки хвастать начинают. А чем хвастают, Асхат тоже знает. «Все стрескали!.. Все стрескали!.. Все стрескали!..» — говорят они. Теперь, когда Асхат растолковал, весь аул речистую телегу понимает.

— Когда из города пойдем, мы тоже, как Аминова телега, запоем:

В белом городе белые калачики
Все стрескали, все стрескали.
Наши красные сундуки
Стали тесными, стали тесными.

Раз только пропел Асхат, и Валетдин с Насипом тут же подхватили песенку:

В белом городе белые калачики
Все стрескали, все стрескали...

Иноходь свою мы уже оставили, теперь чуть боком, высоко вскидывая колени, скачками бежим, будто катим на самокате. И дружно повторяем эти для души ладные и для бега складные слова:

В белом городе белые калачики
Все стрескали, все стрескали...

Должно быть, про «красные сундуки», животы то есть, не очень складно получилось, мы про них сразу забыли. А эти — сколько ни пой, все петь хочется.

Так, «треская калачи», мы вышли к высокой каменной дороге. Поднялись. По сторонам ее стоят большие-боль-

шие тополя. Выстлана дорога гладкими, как в нашей бане, камнями. Только не плоские они, а выпуклые.

— В прежние времена по этой дороге царь только сам ходил. Теперь, когда Советская власть, каждый, кто хочет, может ходить,— объяснил вожак,— сла буда теперь, независимость!

Мы прошли один поворот, и — перед нами на горе стоял белый город! Вот он — протяни руку и возьми! Наш теперь город, далеко не уйдет.

— Ассалам-алейкум, город! Вот мы и пришли к тебе! — сказал Валетдин.

— Город нас встречает, души в нас не чает, калачами привечает,— пошел нанизывать Асхат.

— Души не чает, калачами привечает,— повторили мы вслед за ним.

Куда ни глянь, заводские трубы торчат, минареты мечетей, купола церквей блестят. Мечеть от церкви мы отличить умеем. Из нашего аула боголюбовская церковь каждый день видна. Одно удивительно — почему эти церкви земля все никак не проглотит? Всем же известно: церкви — гнезда греха — в прах рассыплются, все неверные после смерти в аду гореть будут. Церкви-то пусть, пропади они пропадом, а вот неверных жалко. Эта жалость вот с чего началась...

...Прошлой весной приехал к нам из Лекаревки с сыном Егоркой, моим ровесником, наш знаком Тимофей. Отцы за стол пить-есть уселись, мы с Егоркой взяли по лепешке и вышли во двор. У Егорки волосы желтые-прежелтые, глаза синие-синие, лицо, как репа, светлое, чистое. Как разговаривать, не знаем. Куда я — туда и он. Что я ни сделаю, он повторяет. Сходили в сад, на хлев слазили, потом на бревна, перед клетью сваленные, взобрались. Я ногами поболтаю, он поболтает, я вздохну, и он вздохнет.

Отцы наши разгулялись уже. Мой отец перед Тимофеем все по-русски хочет спеть. А тот по-нашему пытается. Первой Тимофея удаль выхлестнулась:

Ай да сватьяшка кума,
По малину в лес айда!
Хороша малина в чаще,
А сватьяшка слаще.

Я знаю, это он, чтобы к хлопчущей вокруг стола Старшей Матери подольститься, вломил. Теперь жди — сейчас моего отца голос заступит. Вон выдал:

Базар большой,
Народ много,
Русский барышня идет,
Дай ему дорога.

Мы с Егоркой посмотрели друг на друга. От его синих, навевающих грусть глаз вдруг охватил меня страх. И этот мальчик, с такими ясными, такими ласковыми глазами, будет гореть в аду вечно-вечно! Он будет гореть, и как ему будет больно!

— Егорка! — воскликнул я и невольно обнял его. Он сначала испугался, а потом и сам крепко прижал меня к груди. От страшной беды, показалось мне, заслонил я его в этот миг. Теперь за это кара, наверное, перейдет на меня. Но уже поздно — маленький кяфыр¹ в моих объятиях. Теперь нам вместе в огне гореть. Отцы уже вдвоем одну песню затянули. Про нас и знать не знают. А может быть, вот сейчас, в это мгновение, двум мальчикам, мальчику желтоволосому и мальчику черноволосому — детям вашим, вынесен приговор: гореть им в аду во веки вечные Эх, отцы, отцы! Жалко мне их, и себя, и Егорку жалко.

...С чего это я Егорку вспомнил? А... церковь увидел.

Идем... Сердце стучит. Идем, идем, а город все на одном месте. Даже немного пятится будто. На камень и не ступить, пятки жжет. Гуськом по краю дороги плетемся. Пить до смерти хочется. Недавние прибаутки напрочь забыли. Впереди Насип шагает, за ним Хамитьян, за Хамитьяном — Валетдин... Шагидулла особняком по другой стороне дороги идет. Перед самым моим носом косолапит плоскостопый Ануар. На каждой пятке у него по трещине, с камыш толщиной. Эти пятки зимой валенок, весной-осенью сапог — и в помине не видят. Разве только лапти иной раз им и перепадут. Интересно, про родню в золотой шапке он правду сказал или сбrehнул? Станется, что и сбrehнул. Прилгнуть — это за каждым из нас водится.

— Эх, попил бы я сейчас — вволю! — сказал Насип.

— Валлахи, я и на глоток согласен! — начал божиться Валетдин. — Язык бы только замочить.

— Еще ты, прорва, похнычь, раздразни детвору! — прикрикнул Шагидулла.

Больше об этом не говорили.

¹ К я ф ы р — неверный.

Мы долго шли по улице, застроенной небольшими деревянными домами, и вышли наконец к мосту через Агидель. Зачерпнули воды, кто тюбетейкой, кто войлочной шляпой, и напились вволю. Вода была теплой, невкусной. Но, напившись, мы приободрились. Калашный праздник, должно быть, за мостом, на горе находится. Праздники, они всегда куда-нибудь повыше заберутся. Здесь же покуда праздником и не пахнет. Мы прошли через мост. Но и там ничего особо праздничного не заметили. Дома, правда, повыше, ворота все на русский манер, улицы наших поуже. Подводы, верховые и просто пешие туда-сюда снуют. Друг другу и «здравствуй» не скажут.

— Эге, ребята, вон «Калачи» написано. Калачная лавка это,— сообщил Валетдин, который лучше всех нас умеет читать. Я буквы только узнаю, а в слова складывать еще не могу.

Мы перешли через улицу и встали перед дверями желтого дома.

— Парни, лучше я первый за дверную ручку возьмусь, у меня рука... — только сказал Насип, как дверь распахнулась и хлопнула его по голове. На лбу тут же взбухла шишка.

— Ассалям-алейкум!.. — пробормотал он человеку, вышедшему из дверей.

— Кум-кум,— передразнил тот и пошел дальше.

Пока дверь не закрылась, мы протекли вовнутрь. Вошли — и даже поздороваться забыли, так и застыли. На полках вздымаются ряды пухлых калачей, белыми хомутами висят на стенах связки кренделей, ящики ломаются от пряников, и каждый пряник в красном кушаке, выхвывается будто. А халва-альба разная блестит-усмехается, сама в рот просится. Вот оно где, калашное разгулье!

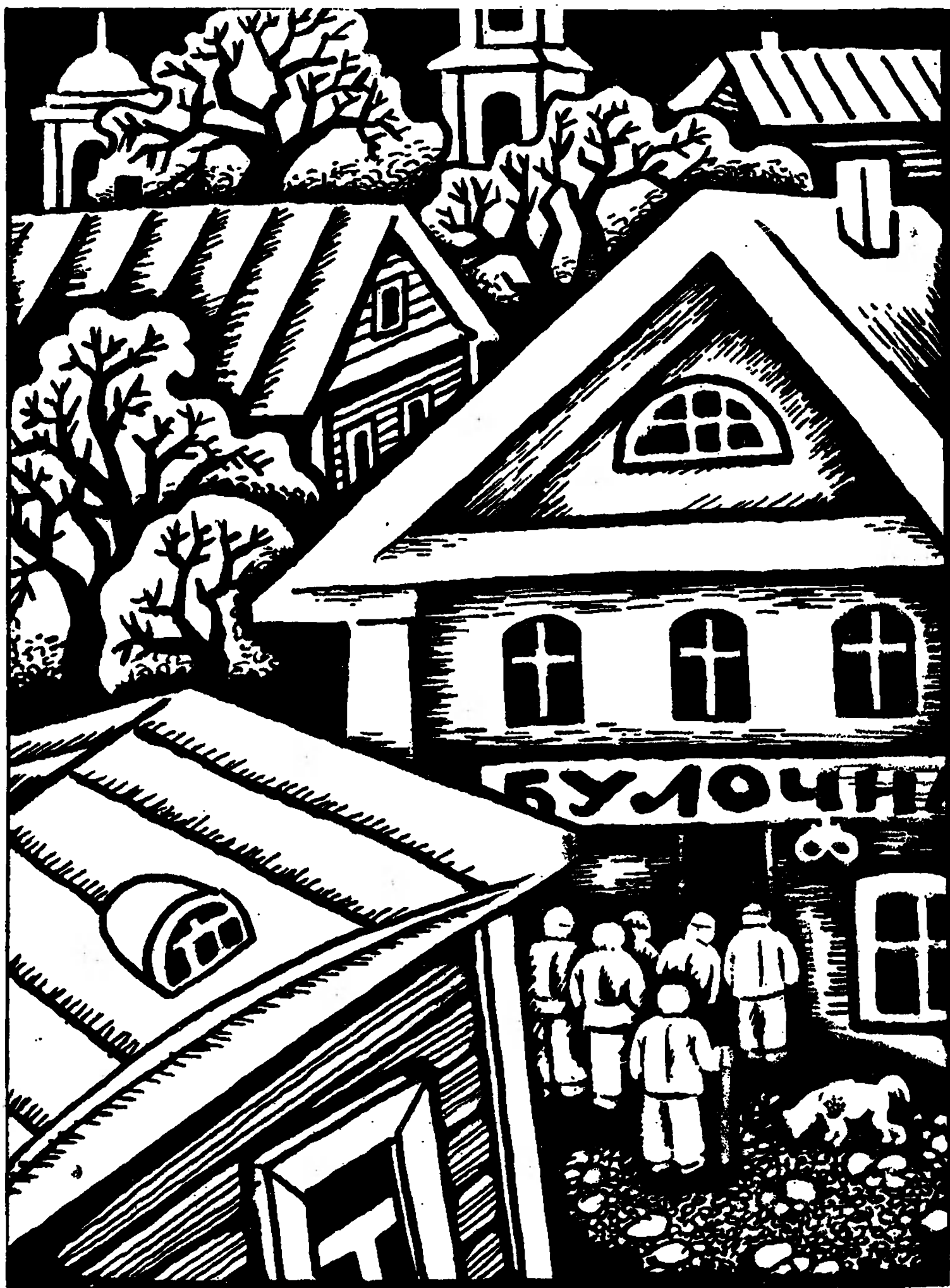
Лавочник на нас глаза вытаращил. Мы молчим, и он пока молчит. Поначалу, должно быть, сробел даже немного, с весов гирию снял. Мы приличие сохраняем, дальше дверей не идем. Он тоже не спешит, стоит себе с кислым лицом. Сдается, чем-то мы ему не понравились. Хотя ничего в нас такого, людям неугодного, и нет вроде...

Наконец его толстые масляные губы шевельнулись:

— За чем пожаловали, лохмотники?

— Мы, товарищ, не лохмотники, мы из деревни пришли,— с достоинством ответил Шагидулла.

— Вижу, что не из царского дворца прибыли, товарищи оборванцы,— в горле у него что-то прокудахтало,



плоское жирное лицо стало свекольно-красным.— Так с чем, говорите, к нам припожаловали?

Гиря глумливо подпрыгнула в его ладони.

— Мы, это... где калашный праздник, хотели спросить... — Валетдин не успел договорить, вожак рванул его за рукав.

— Калашный праздник?.. А — калашный праздник! — опять расплылся Свекольный Блин. — Калашный праздник вот здесь, в кармане, бывает, — он сунул руку в карман и побренчал денежками.

Мы, будто сговорились, все враз полезли в карманы. Там, если и был когда праздник, весь выдуло... И калачи на полках, и крендели на гвоздях, и пряники в ларях, халва-альба в коробочках — сразу будто пылью покрылись, ни глазу радости, ни языку сладости. Как вошли мы — не поздоровались, так и вышли — не попрощались. Пошли дальше.

— Мы тоже умники большие! — сказал Насип. — Калашный же праздник русские празднуют, а мы с мусульманином связались. Да еще с нип... нипманом каким-то!

— Свой мусульманин, а как насмехается! С порога «лохмотниками» обложил! — вскипел Валетдин.

— Мусульманин, коли скарעד, десять кяфыров перескупердяйничает. Поэтому и баит про скупердяя сложили, — объяснил Асхат.

Земле не забыть ненасытного скрягу,
Поскольку земля проглотила беднягу.

Вот увидите, и этого когда-нибудь сглотнет.

Мы поднимались все дальше, в город. Подходили и подолгу глядели в окна калачных лавок, крутились возле домов, откуда разносился запах свежесвыпеченного хлеба. Но никому мы не приглянулись, никто нас к себе не зывал. Где же русские, которые калачи раздают? Есть же они где-то! Не может быть, чтоб не было! Это же в голове не уместается: из такого далека притащиться, ходить — слюни подбирать, и отправиться восвояси, несолоно хлебавши?!

Будто мои мысли угадав, Хамитьян сказал:

— Наверное, мы искать не умеем... Надо у людей поспрашивать.

— Что тебе праздник — заблудившийся теленок, что ли? Его искать нечего. Он сам издалека сиять, лучами играть должен, к себе звать, кричать: «Я здесь!» Все, ребята, прошла свадьба, и объедки доели! Опоздали, кончился праздник. Вассалам! — поставил печать предводитель.

Сказал он так, и у меня сразу все суставы заныли, голод и жажда враз подступили, и солнце сквозь рубашку,

мало кожу — до костей прошивает. У других тоже дела не слаще.

Мы рядом уселись на крыльце какого-то дома с закрытыми ставнями.

— Давай моего родственника найдем, — сказал Ануар, — пожарную каланчу только разыщем... На один-то самовар чая не поскупится.

Пожарную каланчу разыскали быстро. Но человека в золотой короне, сидящего наверху, не увидели. Мы долго, вытянув шеи, высматривали Ануарова родственника. Так и не показался.

— Может, упал да покалечился? — недоуменно сказал Ануар. — Э-эй! Янбирде-агай, где ты-ы?

— Коль в Янбирде умишко есть — даст он сразу нам поесть, — пошутил было Асхат. Но нам было не до шуток. Никто не засмеялся.

— Янбирде-агай! Это я — Ануар! Я из деревни пришел!..

— Чего орешь дурным голосом, надорвешься!.. Марш! Марш отсюда! Нет тут никакого Янбирде... — такими словами прогнал нас вышедший из больших красных ворот усатый дядька-пожарник. Подумаешь, нацепил ремень с медной бляхой и заносится.

На том поиски родни было уже закончились, но тут Валетдин решился:

— Раз не повезло, ребята, в другой повезет, пойдемте к моему свату, который в каменной мечети с двумя минаретами печи топит, нашего кусюмского свата он близкий сват.

— Кто же в такую жару печи топит? Твой сват давно уже в деревню уехал, наверное, — сказал Насип.

— В городской мечети и зимой и летом топят, — в глаза стал врать Валетдин.

— Врешь, обжора!

— Валлахи! Если в мечети не топить — в ней церковные черти заводятся, — тут же положил он нас на лопатки. — Вон, куда ни глянь — церкви стоят.

Порядком поколесив по городу, мы наконец вышли к каменной мечети с двумя минаретами. Ворота в мечеть были закрыты. В глубине дворика, огороженного плетнем без ворот, стоял низенький домик. Решили наведаться туда. Постучаться в большой дом, выходящий на улицу, не хватило духу.

Меня с Валетдином отправили вперед. Когда мы во-

шли, первое, что увидели, была пыль. Двумя потоками вливалась она сквозь два узеньких, глядящих на юг окна (странно, как это она сквозь стекла проходит?) По голому полу ходил на четвереньках маленький ребенок, второй на животе ползал. На хике сидела пожилая тетенька и что-то латала, в темном углу возле двери спал мужчина.

— Здравствуйте,— вразброд сказали мы с Валетдином.

Тетенька, не поднимая головы, ответила:

— Живы-здоровы пока,— потом медленно повернула голову к нам.— Опять эти побирušки уездные,— вдруг вспыхнула она.— Ни утра им, ни вечера, ни зимы, ни лета, идут и идут, идут и идут. Вконец извели. Нашли себе постоянный двор.

— Мы не побирušки, апай, мы... — сказал я и запнулся.

— Если не побирušки, все равно... нищие,— махнула она рукой.— К нам богатый на постой не явится.

— Нашего кусюмского свата близкий сват в этой мечети круглый год печи топит... — пробормотал Валетдин.

Тетка немного помягчала.

— Вы из Кусюма, что ли? Во благе-здравии ли кусюмовцы?

— Нет, мы из Кляшева. Мы нашему кусюмскому свату, который здешнему свату, который печи топит, близкий сват, тоже близким сватом приходимся. Бабушки Гидельнисы я внук.

— Вот не знаю,— охладела тетка.— такую сватью и не припомню вовсе. Эй, Ишбирде, сваты пришли!

Ишбирде оказался тот, что в углу спал.

— А? Сваты? Добро пожаловать, сваты! — вскочил он. Протирая глаза, в которых еще стоял сон, повторил: — Добро пожаловать, сваты, в красный угол проходите! Ой, как вовремя приехали, ай, афарин!

Он совсем проснулся и взглядом обежал комнату.

— Где сваты? Фу, опять приснилось! Вижу будто, что резвых коней запрягли впристяжку и, землю сотрясая, единым махом аулы пролетая, звон бубенчиковый рассыпая, едут к нам сваты! Соседи рты от зависти раскрыли, к плетням привалились... Эй, сваты, куда же вы умчались, сваты?

— Вона сваты,— кивнула на нас женщина.

— Это вы сваты? — удивился Ишбирде.

— Мы... Я... Я сам твоего близкого кусюмского свата

близкий сват буду,— ответил Валетдин, стараясь не выказывать своей гнусавости.— Моя бабушка — твоя сватья Гидельниса — всему вашему дому большой привет посылает.

— О, моя сватья Гидельниса! — воскликнул Ишбирде.— Почтенная, славная женщина! Где ступит — искру высечет, а уж петъ-плясать пойдет — зрелище невиданное, звон монет на монисте сердце рвет! — принялся он осыпать кого-то похвалами.— Спасибо сватье! Привет приняли.

«Про какую это Гидельнису он говорит?» — подумал я, но тут он обратился ко мне:

— И ты сват?

— И я сват,— я дрогнул немного, но выстоял.— На улице еще пятеро остались, войти не решаются.

Этот высокий, гладкощекий, тонкоусый, наголо обритый агай подошел к двери, настезь распахнул ее:

— Хай, хай, хай, сваты! Пожалуйте в дом. Не стесняйтесь!

Мальчишки нерешительно вошли в дом. Хозяйка пересадила детишек с полу на хике.

— Славно! Что нас вспомнили, вниманием удостоили — это очень хорошо, очень похвально, сваты,— сказал Ишбирде.— Мать, поставь-ка самовар, чаю приготовь.

Вымолвил он так, и что-то теплое, приятное струей прошло у меня внутри.

— Поставила бы, сынок, самовар,— ни чаю, ни сахара нет. И хлеба сноха только вечером принесет. По всему видать, осрамимся мы сегодня перед гостями.

— Муки наскребешь — лепешек испеки, крупы наберешь — похлебку свари.

На это хозяйка и вовсе ничего не ответила.

— А что же найдется, мать?

— Горох есть, размочить поставила.

— Горох? — обрадовался Ишбирде.— Размоченный горох — вот поистине сватово угощение! Отменная еда! Сию пищу примете ли, сваты?

— Примем! Примем! — ответили мы.

Гордость выказывать, в еде привередничать — было бы совсем не ко времени.

Посреди пола апай расстелила желтую замызганную скатерть, посреди скатерти поставила большую миску с разбухшим горохом. Горох был крупный, белый. И вправду, такой горох не каждый день перепадает.

— Давайте садитесь, кушайте. Ложек все равно на всех не хватит, действуйте руками,— стал угощать хозяин.

Мы встали на колени вокруг миски и, не торопясь, горстями, принялись таскать горох в рот. Спешить не спешим, но работа идет справно. Мы в жизни такого вкусного гороха не едали. Вот, оказывается, какое оно, «свато-во угощение» — язык проглотишь!

К тому времени, как высветилось дно миски, и ведро холодной воды подоспело. На краешке большой ковш привешен.

— «От щедрой души и вода — шербет», говорили древние,— пояснил сват Ишбирде.— Они зря не скажут. И воды на доньшке только осталось.

— Что ж, возблагодарим бога,— хозяин, хотя сам к застолью не садился, провел ладонями по лицу. Мы тоже, как положено, исполнили обряд.

— На город посмотреть пришли, сваты? — спросил Ишбирде, по обычаю зачиная послетрапезную беседу.

— Да, дядя... сват... — вяло ответил Шагидулла.

— Понравилось ли?

— Как сказать... дома красивые, заборы высокие,— ответил за всех вожак,— только очень уж люди суетливые, спешат больно.

— Вы, сваты, правильно поступили, что в город пришли. Отрадно, что растете вы, путешествуя, мир постигая. Так и надо. В городе не всякий тоже день и ночь калачи ест. Случается — и простого хлеба нет. За это обиду, сваты, не держите... на город.

Валетдин в этом доме особенно в разговор не лез, но держался посвободнее нас. И с места он встал первым. Как-никак он главный сват.

— За почтение, за угощение, за лица приветливые — спасибо, сват, спасибо, сватья,— сказал он,— не обессудьте, если что не так. Пожалуй, и нам в аул отправляться пора.

Мы все разом вспорхнули с места.

— Ладно, коли так. Домой вернешься, сватье привет от нас передай, пусть и сама в гости выберется,— сказала мать Ишбирде.— Ох, уж эта бедность! Даже гостинца никакого у меня нет...

— Доброе слово, мать, само по себе гостинец,— утешил ее сын.

Мы столпились возле двери.

— Дорогу-то домой не забыли? — спросил Ишбирде-сват.

— Не забыли, — сказал Асхат.

Он у нас как собака. В любой чаще с ним не заплутаешь, тем же путем, что забрели, обратно выведет, не собьется. Он свои следы на дух чует. А я и в полыни заблужусь. Такой неприметливый.

Мы еще несколько раз поблагодарили хозяев и вышли из этого чудного гостеприимного дома. Кому и каким сватом все же доводится этот Ишбирде? Да и сват ли вообще?

— Хоть и не шибко, парень, богато живут, однако сват у тебя щедрый, — сказал на улице Шагидулла Валетдину, — душу выложить готов.

— Был бы чай, и чаем бы напоил, валлахи! Говорил же я вам: только придем, он меня обнимет да приподнимет!.. — пошел задаваться Валетдин, от важности у него даже гнусавости прибавилось. Но важничал он по праву: чей сват угощал — его сват угощал.

Из этого неприятного города ушли мы порядком разочарованные. Обратный путь был еще длинней, еще изнурительней. Шли с единственной городской поживой — шишкой на лбу Насипа. Да под мышкой у Хамитьяна краснела моя тряпица.

Уж сумерками очи заволакивало, когда мы добрались до Дубкового взгорья. Глубоко вздохнули и посмотрели назад. Там, на далеком, затянутом мглой горизонте, мерцали огни города. Мигали часто-часто, будто наперегонки — заглядишься!

— А знаете, ребята, что они говорят?

Спросил это, разумеется, Асхат, сам же и ответил:

— Мигают и хихикают: «Обхитрили! Обхитрили!»

— Ну, город! Осрамил нас! — сказал Насип и показал кулак.

Следом мы тоже сложили кукиши и несколько раз сунули в заносчивые огни. Пусть теперь похихикают! Но злость на этом не улеглась, отплата явно была не сполна. Нужно было еще чего-то добавить.

— Давайте, ребята, вконец осралим его, — сказал несший весь стыд злополучного путешествия вожак.

— А как?

— А вот так... — он спустил штаны до колен и повернулся задом к городу. Мы живо сделали то же самое.

— Город, на!.. Позор тебе! Позор тебе! Позор тебе!

Мы следом за ним прокричали:

— Позор тебе! Позор тебе!! Позор тебе!!!

Вдобавочек кто-то в сторону города давешним городом выпалил.

Вот это поквитка — с лихвой!

Теперь уже огни города не мигают спесиво, а лопаются, как пузыри, и гаснут. Потому что весь он, этот город, от головы до пят, покрылся позором.

Мы же, воздав отмщение, оставшийся путь прошли легко и весело...

КРУГЛЫЙ ТАЛИП

— Надо бы те козьи шкуры к Талипу снести, сам чего-то не показывается... — сказал отец за утренним чаем. Потом запряг коня и выехал со двора.

Братья с Младшей Матерью еще вчера на дальнее поле уехали, просо жать. Кто же тогда козьи шкуры отнесет? Небось теперь-то сами не пойдут, когда их с козы сняли. У нашего отца есть такая привычка: если какое дело нужно сделать — прямо не поручит, а только то и скажет, что это вот эдак бы сделать, а то — вот так. А на чью макушку палка пришлась — тут уж сам соображай. Вот на днях было, поужинали мы, и отец — в братьев моих старших, наверное, метил — такую притчу рассказал.

Дескать, давным-давно это было, решил один старик сыну невесту хорошую приискать. Сгреб он тогда своего уже в рост вымахавшего парня, говорят, и выволоч на тропинку, где девушки по воду ходят. Завидел старик, что идут девушки, и принялся сына камчой охаживать. Одна из девушек и спрашивает:

— За что сына бьешь, бабай?

— Подскажешь — понимает, прикажешь — исполняет. За то и бью, — сказал старик.

Рассмеялись девушки:

— Вот глупый старик!.. Такого хорошего парня лупит, — сказали и дальше пошли.

Потом еще одна девушка показалась, идет, задумавшись о чем-то. Старик опять за свою камчу взялся.

— За что сына бьешь, бабай? — спросила и эта.

— Подскажешь — понимает, прикажешь — исполняет.

— Крепче, старик, бей, хлещи, чтоб до нутра прожгло. Пора уже твоему сыну без подсказки понимать, без при-

казу исполнять,— сказала так девушка и дальше пошла. И в тот же день старик к этой девушке сватов направил.

Последнее слово отец даже чуть нараспев сказал и замолчал. Мой Самый Старший брат Муртаза тут же уши наострил:

— А что девушка сватам сказала? Дала согласие?

Отец, оказывается, с умыслом примолк. Он тут же продолжил рассказ.

...Вернулись сваты и такую весть принесли: «Несуразная какая-то девица оказалась — в делах ладу, в словах складу нет. Да и вся родня подозрительна. Словом, о намерениях своих мы промолчали, так и домой пошли». Но старик все же велел старшему свату все, что видели-слышали, обстоятельно, слово в слово рассказать.

«Когда мы в дом вошли, девушка одна была... — начал старший сват.— На вопрос «Где твой отец?» девушка ответила: «Из друга врага делать пошел».— «А мать где?» — спросили мы. «Из одного двоих делать пошла»,— говорит она. Пока мы так переговаривались, она в большую миску суп налила и перед нами поставила. Заглянули, там сумар¹ густо плавает... Ну, попили-поели мы, ложки положили, стены оглядели. Видим, сруб-то у них из толстенных бревен срублен. «Тяжело, наверное, было такие большие бревна из лесу таскать?» — спросили мы.— «Сколько бревен враз тянули?» — «Пока лошади худы да немощны были — по три, а то и по четыре. Когда чуть подправились, пришлось по два только накладывать. А уж когда совсем раздобрели кони — одно еле волокли, а то на полпути сваливали»,— так нам разъяснила бестолковая девица. С тем мы и ушли. Остальное уж сам решай,— закончил старший сват.— Вот и все ее слова, нескладные да несуразные».

«Эх вы, послы, недотепы,— сказал отец того джигита.— Слово — тоже, как кость, разгрызть надо и жир высосать. Вы же кость только облизали. Поучила девушка уму-разуму вас! Отец-то у нее — к другу пошел, просить, чтобы долг вернул, мать — к роженице пошла, дитя принимать. А что про бревна говорила, так это не бревна, а сумар, который вы ели. Поначалу голодные, вы набросились на сумар и, наверное, по три-четыре враз в ложку нагребали. Немного наевшись, вы уже поменьше тянули, а потом и одного осилить не могли, навар только хлебали. Так было?»

¹ С у м а р — клецки.

«Так и было», — вздохнули сваты и пошли восвояси. Старик сам на завтра пошел в дом девушки и все уладил, обо всем договорился.

Вот бы и нашему Муртазе такую невесту, он ведь тоже: «скажешь — смекает». Да и Салих от брата не отстанет: «прикажешь — исполняет».

Старшие братья отцову притчу выслушали молча. Не то что они, даже я понял, на что отец намекает. И у нас голова не мякиной набита.

...Так кто же козьи шкуры к Талипу понесет? Мы со Старшей Матерью, разумеется.

Круглый Талип живет на Совиной улице. Он маленький, коренастый и ужасно проворный. Весь год ходит в жалкой круглой шапчонке, она у него черным блеском блестит, до того заскорузла. Осенью он к ней уши пришивает, а весной отпарывает. Никто еще не видел, чтобы Талип свою шапку снял. Говорят, что он ее и в бане не снимает. Что же он там, под шапкой, прячет? Жenu Талип из чувашской деревни взял, где в работниках жил. Поначалу жена все спрашивала: «Почему, Талипка, никогда шапки не снимешь?», он отвечал: «У нас, у тип-тяр¹, обычай такой». Народ все же подозревал: или парша там у Круглого Талипа под шапкой или рожки.

Сколько я его помню, он все по домам ходит, шкурки всякой живности, мелкой твари, кошачьи там, псиные, собирает. Шкуры коровы, скажем, лошади, медведя-волка, оленя-лося ему не достаются. Эти прямиком в капирати^ф идут. Но мы, мальчишки, поймаем по весне суслика, хомяка, водяную крысу, или зимой ласка, горностай в капкан попадутся — шкуру сдерем и бежим к Талипу. Возвращаемся с медяками, иной раз, глядишь, и серебряная монета блеснет. Ни лошади у Талипа, ни коровы, ни другой скотины нет. Полон дом детей да этот промысел — вот и все его хозяйство.

Скатала Старшая Мать две козьи шкуры, сунула под мышку, и мы отправились к Круглому Талипу. Бывает, мы с Младшей Матерью пойдем куда-нибудь, да так случается, что, до места не дойдя, домой возвращаемся. Она со всеми сватами-сватьями встречными, родней-знакомыми говорит и не выговорится. А Старшая же Мать только и молвит на ходу: «Здоров ли, свойственник? Все ли в благополучии, сватья?» И удивительно, когда с ней

¹ Тип-тяры — диалектная группа у башкир.

идешь, даже самые брехливые, самые вредные в ауле собаки не выносятся с лаем из-под ворот.

Круглый Талип сидел возле глинобитного сарайчика и доплетал лапоть, привязанный к колену. Завидев нас, он отвязал его, бросил в сторону и вскочил:

— Эгей, енге, проходи, проходи, сюда пожалуй. Сказал бы: в дом войди — да там ребятни полно, ни встать, ни сесть. Давай тут присядем, призовем божье благословенье.

Он вынес из сарайчика кусок старого паласа, расстелил на чурбаке. Сели, коротко помолились, призвали божье благословенье.

— Ну, Талип, чувства-мысли в благости, семья-стада в сохранности ли?

— Скота-птицы нет — душе отдохновение, детвора жива-здорова — богу благодарение. А вот с чувствами да мыслями по-разному бывает. Я ведь, енге, живу, как младенец во сне: без повода засмеюсь, без причины заплачу.

— Что с человеческой души взять, когда вон душа создателя — небо — и то все в переменах, — вскинув подбородок к небу, сказала Старшая Мать.

Талип вскочил, забежал взад-вперед, заговорил быстро:

— Я сейчас, енге, сидел и вот о чем думал: у безлошадного-то половина состояния на лапти уходит! Ведь сколько пеший бедняга обуви снашивает! Хорошо конному, всего и дела — на телегу влезть, а там сидишь-едешь, лапти целы. А сколько я пешком истоптал! Если все сложить, пять раз в Мекку сходить хватило бы.

— И в Мекку сходишь, если суждено...

— Их-хи-и, сноха, туда же за большие грехи идут. А какие мои преступления, что ближе Мекки им и прощения не вымолить? Я ведь, енге, если подумать, прямоком в рай должен попасть. Почему, спросишь? Потому что я одну неверную душу — свою жену то есть — в ислам перетянул. Мало того, она целый подол мусульманских детей нарожала.

Старшая Мать улыбнулась как-то странно.

— Это хорошо, Талип, — сказала она, — что ты ее мусульманкой сделал. Но ты же душу с верой, в которой она родилась, разлучил. Не грех ли это? Всяк сущий только своему богу должен поклоняться.

— Нет, енге, на это меня что-то не хватает, не пойму,— честно ответил Круглый Талип.

Это он правильно сказал. Я тоже что-то не понял.

— Забрал бы ты эти шкуры, Талип,— решила покончить с делами Старшая Мать.

— Спасибо, енге, ремесло мое уважила, да еще сама пришла, со своими годами, положением не посчиталась. Только ведь и старый долг еще за мной, не уплачен. Я про те три пуда проса говорю, которые весной брал. И за эти шкуры сразу рассчитаться — тоже капитала нет. Не знаю, что и делать: и денег нет, и совесть есть... — завздохал хозяин.

— И деньги будут. За тобой не пропадет. Живы будем — сочтемся,— сказала Старшая Мать.

— Подожди-ка, енге, у меня колесо от самоката есть, отличное колесо. В таком большом, как ваше, хозяйстве обязательно на что-нибудь сгодится.— И он вынес из сарайчика колесо.— Вон как блестит. Я его на большаке подобрал.

Старшая Мать похлопала его по плечу:

— Не печалься, сынок, должником не останешься. И в твой домишко достаток заглянет.

— Хе, енге, я еще так разбогатею да разжирею... Вот только срок настанет. И все же тяжеловато пока. Эка! Чуть не забыл, у меня отменная штука есть. Медный кумган! Такой кумган — ишанам только омовение совершать. Знатная вещь, не по нашим... не по нам, в общем, возьми-ка его себе,— и он ринулся было в сарай. Старшая Мать жестом остановила его.

А самокатное колесо было — загляденье. Я, как увидел его, так и застыл. Пусти его с Верхнего конца улицы — до самого Тименея, пожалуй, докатится. Вот бы оторопели мальчишки с Тименеевской улицы!.. Только резинки нет, видно, кто-то себе выковырял. Старшая Мать взглянула на меня и сказала:

— Будь по-твоему, Талип, колесу хозяин нашелся. Считай, что за шкуры мы с тобой в расчете.— Она взяла это чудесное колесо из рук Талипа и вручила мне.— На, пусть ноги устали не знают.

Вот так нежданно-негаданно сокровище само мне в руки вплыло. Да разве такому колесу козы шкуры цена? Расчет-то Талипу тяжеленько дался.

Завершая торги, Старшая Мать поднялась с места. Опять засуетился Круглый Талип.



— Вроде и осеннее обилие сейчас, енге, да как раз с чаем-сахаром нехватка случилась. Стыд ведь это — гостя без угощения отпустить! Эх, нищета всего унижительней!

— Не терзайся, Талип, хоть без чая, да не без чайний — прожить можно; — утешила его Старшая Мать. — Все будет: и чай, и прочие угощения.

— Подожди-ка, енге, негоже гостю так уходить. По крайности, хоть пляской попотчую.

Сказал и тут же, руки в боки, пустился в пляс с припевами:

Гость во двор — хозяин в пляс,
Так и пляшет целый час:
Можно заново начать,
Если нечем угощать.

Нет соломы для коня,
Нет для бражки ячменя,
Рот разинет — вот те на! —
Вся душа насквозь видна!

Плясал он увлеченно, с пылом, крутился, вертелся, несколько раз пробежался, даже вприсядку попрыгал. Когда Талип завершил пляску, Старшая Мать сказала:

— Афарин! За почет-уважение, веселье-угощенье спасибо!

— Гулять так гулять, енге, давай еще и песенкой уважу. Вот послушай...

Строй гвардейский одолеть
Всех на свете может,
Как увидит немчура —
Так в штаны наложит!

Это наша песня, гвардейская. Я ведь даром что маленький, у царя в гвардии служил. Все — под матицу, один я — со ступку. Хи, это же потеха, как я в гвардию попал! На большой поляне, енге, выстроили войско — с тысячу, а то и больше. Вышел самый большой генерал и начал гвардейцев себе отбирать. Отступит назад шагов на пятнадцать — двадцать, разбежится и — как пнет с разбегу солдата ногой под колено! Богатыри из богатырей ничком падали. Из ста один, может, и выстоит. А кто выстоял, тех генерал вперед выводит и первыми ставит. Все — гифриты¹ словно. Вот так разбежался он и пнул под колено меня. Я и не охнул. Генерал глаза вытарашил. Спереди зашел, сзади зашел, всего меня с головы до ног взглядом ощупал. Потом отступил он еще дальше, на сорок шагов, разбежался и пнул меня под второе колено. Я и не дрогнул. «Молодец, солдат! — сказал тогда генерал. — Встанешь в строю самым последним, будешь самым первым, самым верным моим гвардейцем. Когда ты

¹ Г и ф р и т — сказочное чудовище.

сзади, никто нас под колено пнуть не сможет». Так и сказал, бедняга. Немного после того прошло, мы сами ему под колено и пнули. Сначала на четвереньки упал, потом и вовсе покатылся. Это случилось, когда царя свалили и гнездо его по ветру пустили.

Закончив рассказ, Талип во все глаза уставился на Старшую Мать.

— Может, лишнего что сказал или что не так сделал, не обессудь, енге...

— Не беда, без лишку здесь и не обойдешься, для правды порой, чтоб поверили, и приврешь немножко.

— Не обойдешься, енге, не обойдешься,— охотно согласился «гвардеец».

Круглый Талип проводил нас до ворот. У меня на каждом шагу макушка неба касается. Какие богатства-сокровища с собой уносим: две припевки, одну пляску, одну песню и — отменное самокатное колесо! И все это — за лохматые козьи шкуры никчемные. Спицы колеса на солнце сверкают. Нет-нет да сверкнут перед глазами и белые зубы Талипа, который спел нам такую красивую песню. Вот уж кто и впрямь бесхитростный!

Я посмотрел назад. Круглый Талип все еще стоит у ворот, поблескивают редкая рыжеватая борода, тонкие усы, убогая шапка глубоко нахлобучена. Пройдут дни, бураны улицы задуют, сугробы возведут, и весь аул увидит, какая под этой шапчонкой ходила голова...

ПОТЕХИ РАДИ

— Мало что Муртаза, теперь, кажется, и Салих за табак принялся,— сказала Старшая Мать под вечер.— Со всем теперь в доме спички не держатся.

Куда эти спички уходят, только я один знаю. И Шайхаттар. Потому что мы в ихней бане в карты режемся. Что ни день, я две, а то и три коробка просаживаю. Невезучий я. Карта не идет. Я уже вконец обнищал. Но не отчаиваюсь. Ранс или поздно, а фарт придет. Тогда я все состояние, что Шайхаттару спустил, назад верну. Семь копеек медных денег, четыре винтовочные гильзы, две булавки, ножик с костяной ручкой, который зять Мухтар подарил, и счетом без счета коробок спичек. А пока все это в прожорливом кармане Шайхаттара сидит. И не только законное свое достояние верну, но и егс в долгах утоплю. Ничего, и на наши ворота жар-птица сядет. Вот

увидите. Мне даже сон такой приснился: когда Шайхаттар уже все просадила и ничего не осталось, он начал свои волосы по волосинке выдирать и на кон ставить. Только и патлы все проиграл. И каждый волос сразу золотой нитью становится — бери и аркан плети. А лысая голова будто бы, как воробьиное яйцо, вся в веснушках. Схватился Шайхаттар за лысину и заплакал: «Только волосы верни! Только волосы! Сроду больше жульничать не буду! Коли не веришь — вот, камень съем!» — и с хрустом начал булыжник из банной каменки грызть. Много съел, чуть не всю каменку, только самые крупные остались. Да ведь и я не дурак, не поддался, не разжалобился. «Ладно, — говорю, — наяву разберемся».

Мне этот сон прошлой ночью приснился. А сегодня он у меня еще три пуговицы, два рыболовных крючка и последнюю коробку спичек выиграл. До нитки разоренный, приплелся я домой, а тут Старшая Мать грех белого пса на черного пса валит.

— Салих-агай не курит, Старшая Мать, — заступился я. Как же я свой заведомый грех на другого навешу?

— Что ни день, уйма спичек пропадает...

— Теперь, Старшая Мать, спички плохие стали делать. Три спички чиркнешь — одна зажжется. Потому и расходливы очень, — сказал я, что от людей слышал.

— Ты и смерти отговорку придумаешь, — улыбнулась Старшая Мать. — Сходи-ка в лавку, пока не стемнело, принеси уж какие есть.

Хотя и лень порядком, но слова Старшей Матери не ослушаешься. Я ведь теперь самая верная ее опора. Отец и Младшая Мать всю мелкоту нашу в сани ссыпали и к моей сайрановской сестре Гайникамал отправились. Старшие братья лес заготавливать уехали, не вернулись еще. Дома я да она.

— Бурая корова последнее дохаживает. Вот отелится сегодня ночью, а нам и фонарь нечем зажечь. Дни-то вон какие лютые стоят. Как бы теленка не поморозить.

Это она дает понять, что поручение, которое я исполню, очень важное. Из всей нашей скотины я больше всех эту буренку люблю. Добрая она, приветливая, послушная, от стада не отобьется, со двора не убредет. Глянет на тебя полными глазами, так и душа проваливается. Будто есть у нее к тебе какие-то слова необыкновенные, только сказать не может. Иногда она мне «кажется чем-то на Старшую Мать похожей. «Языка только нет», — думаю.

Старшая Мать положила мне в горстку денежку в три копейки.

— Держи в ладошке, а ладошку в варежке. Смотри, чтоб как с тем Сагидуллой не случилось.

Лавка от нас недалеко. (Мы ее еще «капиратиф» называем.) Там, где Городская с улицей Трех Петухов пересекаются Туда через Сальмеев овраг нужно идти. Прежде страшно было, а теперь и не моргну даже. Продавцами там Маулетбай-Индюк и Сафуан-Петух. Прозвища в самый раз: чванливы, спесивы оба и людей высмеивать большие охотники.

Зажал я в горсти три копейки и припустил рысцой. Бегу, а сам про ту потеху с Сагидуллой вспоминаю, смеюсь про себя: «Вот ведь недотепа...» И впрямь умора! Зулейха-енге, что на Верхнем конце улицы живет, как-то Сагидулле бешмет шила. Дала мать ему в ладонь три пуговицы и говорит: «На, сынок, беги быстрее, отдай снохе три пуговицы, пусть к бешмету пришьет».

Зажал Сагидулла в ладони пуговицы и побежал, куда послали. Попутно с мальчишками конских яблок попинал, на Гарифовой горе на салазках локатался, постоял, посмотрел, как собак стравливают, а к вечеру и к Зулейхе-енге поспел. Как вошел, раскрыл ладонь и снохе сунул. И возгласил:

— На, сноха! Вот тебе три пуговицы!

Смотрит, а в ладони пусто.

Теперь Сагидулла уже взрослым джигитом стал. Но тогдашнее его слово в ауле частенько повторяют, ходовым стало. Если что не задастся, не так выйдет, как ожидалось, говорят: «Вот тебе и три пуговицы!..»

Раньше я в лавку с охотой бегал. Теперь не люблю. Все кажется, что Микей-побродяжка лежит там на завалянке и потроха свои выташнивает, рвотой исходит... А все из-за этой страсти биться об заклад. Наши типтяры с утра до вечера об заклад биться готовы. Молодой ли, старый ли, даже самая мелкота, даже женщины и сношки-невестушки в любой спор хлопнуться рады. Про рыжеусого нашего свата Хисматуллу и не говорю уже. О нем еще речь будет. Живут на нашей улице две невестки — одна Гайша, другая Гульчира. На той неделе они тоже об заклад бились. На одну курицу. Гульчира говорит: «Хочешь, я с глухой Минзифы исподние штаны сниму? Сама снимет». А Гайша: «Куда тебе!» — подначивает. А та свое: «Сниму!» Гайша пуще подзуживает: «Нет!

Нет! Нет!» Поймали каждая по курице, ноги связали, бросили посреди двора.

Глухая старушка Минзифа одна-одинешенька в крошечной лачужке свой век доживает. Сама бедная, а сама щедрая без удержу. Пришла Гульчира и говорит ей (а Гайша, значит, под окошком слушает):

— Матушка! Последняя надежда на тебя! Старшие братья из Кара-Якупа сани под тройкой за мной прислали, в гости зовут. А у меня все штаны исподние прохутились, не в чем и на люди выйти. Может, у тебя поисправней найдутся, одолжи-ка!

Матушка Минзифа тут же с головой в сундук нырнула. Достала штаны, показала. Но Гульчире-привереде эти чем-то не глянулись. Весь сундук матушка перерыла, ничего другого нет. Ну и говорит тогда:

— Погоди-ка, сноха! На мне которые, вроде исправные. Понравятся, может? Вчера только надела. И заплат не особенно много.

Эти, разумеется, Гульчире понравились. Простоватая, без складки, без подкладки, старуха, радуясь, что угодила, тут же и сняла с себя.

Недаром про Гульчиру «у змеи когти обстригла» говорят. Хитра очень и своего не упустит.

А вот Микей совсем не хитрый. Будто и не человек вовсе, а так — для души гнездышко. Куда уходит, откуда приходит, никто не знает. Бродит себе по округе. В нашем ауле он в базарный день появляется. Дадут — поест, прогонят — уйдет. Ни пользы от него, ни вреда. Скажут: «Чего ты все слоняешься, Микей? Приткнулся бы куда-нибудь, работу нашел». — «Пробовал. Меня никакая работа не выдерживает». Микей, не то что Габбаса-дурачка, мальчишки не дразнят, камнями не кидаются. Окружат его и просят, чтобы на губах музыку сыграл. Он так на губах играет, что даже Марагиму-гармонисту, наверное, завидно. Только мелодия не наша, то ли марийская, то ли кряшенская. Но красивая, прямо душу рвет. Да и сам Микей на блуждающую песню похож: душа есть, а не наша.

В прошлый базарный день Младшая Мать послала меня за мылом. Лавка была полна народу. Скрипя мерзлыми лаптями, вошел Микей. Озяб, редкие усы заледенели.

— А, Микей! Дорогу Микею! — прокулдыкал Маулетбай-Индюк. — За каким товаром, богатый дядя?

— Хи-и, Маулетбай,— захихикал Микей.— Честь твою в храм, а в могилу — срам.

— Над чем смеешься, Микей? — вступил в разговор другой продавец, Сафуан-Петух.

— Над собой. Есть ли человек меня потешней? Живу в палатах, сижу на злате, штаны в заплатах... Видишь, сам кряшен¹, пью керосин.

Он еще хотел что-то пристегнуть, но Маулетбай уже зацепил конец его присказки и узелок завязал:

— А ты, Микей, и вправду керосин можешь выпить?

— Я? Керосин? Не знаю.

Тут вся лавка загудела:

— Не сможет!

— Не по силам!

— Это кому не по силам? Микейю?

— Он хоть и ростом мал, да на отчаянности замешан, из отваги слеплен!

— Осилит, так с меня двадцать копеек! — Маулетбай метнул монету и на лету поймал.

— И с меня двадцать! — Сафуан, зажав монету в щепотке, покрутил ее перед народом.

Тут и остальные:

— С меня десять!

— Пять копеек!

— Три!

Я тоже вслед за другими чуть было не крикнул «две копейки!», еле-еле удержался. Не то мыла с одного края порядком бы убавилось.

Хоть Микей и с придурью, но деньгам цену знает. А ведь немало перепадет. Он, словно в раздумье, повторил:

— Я, что ли? Керосин, что ли? А сколько выпить нужно?

Кто-то незнакомый, не из наших, видать, малахай свой снял.

— Ямагат!² Весь сбор сюда кладите! Добыча батыра вот в этой шапке будет.

— Что ли, отважиться? — сказал сам себе Микей.— А сколько выпить нужно?

— Вон той одной кружки и хватит,— установил Мау-

¹ К р я ш е н — крещеный татарин.

² Я м а г а т — общество.

летбай. На бочке стояла жестяная кружка. Бутыль керосина в нее войдет.

И тут же — дзинь! дзинь! дзинь! — медные денежки вперемешку с серебряными запрыгали в малахай. Но какая-то тревога вдруг напозла на сердце: не денежки будто звенят, а Микей медной сковородкой по башке колотят. Я знаю, керосина и глоток глотнуть — смерть. Мы, когда дома одни, без старших остаемся, в такую игру играем: наберем в рот керосина и на горящую спичку выдуваем — пламя на пол-избы отлетает. Но проглотишь по ошибке — в кишках будто огонь ворохнулся...

Хозяин малахая казной потряхивает. Ни звука больше. Только деньги в шапке прыгают.

— Ну, коли так потчуют... Не за деньги, слово ваше уважу, на бога положусь. Авось душа не выскочит. А выскочит, так и пусть... Наливайте!

Налили. Закрыв глаза Микей и в один дых выпил всю кружку. Только зачем он глаза закрыл?

В чем тут забава была, я ни тогда, ни потом не понял. Но понял только гораздо позже, зачем полоумный Микей глаза тогда закрыл. Не хотелось дурачку на умных лицах идиотский осклаб видеть. Ему, дурачку, и дальше среди этих людей надс будет жить. Но мне их, пустую потеху за грош покупающих и от той потехи млеющих, в жизни пришлось увидеть немало. И ведь никто (и я тоже!) не крикнул: «Остановитесь!» И не крикнут. Куда там — деньги уплачены!

— Афарин, Микей, загреб ты казну,— сказал тот, из чужого аула, выцарапал монеты из меховой подкладки и сунул Микею. Но Микей лишь головой покачал. И, ни на кого не глянув даже, вышел.

— Ах-хай, совсем люди заелись, и деньги не нужны,— удивился Маулетбай-Индюк.— Вот, ай...

— Ничего, живот подведет, так и прибежит. На, Сафуан, пусть у тебя побудут,— чужак вручил сбор продавцу. А малахай свой взбил и надел на голову. Смотрите, дескать, и копейка не зацепилась.

Я в лавке еще порядком проторчал, очередь все не доходила. Когда же с куском мыла вышел на улицу, Микей лежал возле завалинки, уткнувшись в снег лицом. То ли плачет, всхлипывает, то ли рвет его. Я долго стоял возле. «Микей, Микей-агай!» — звал я тихонько. Он не отвечал.



А ведь как он красиво на губах играл! А теперь лежит лицом вниз. То ли рвет его, то ли плачет он, всхлипывает. Латаный-перелатаный чекмень до самых лопаток задрался.

— У, кяфыр! Уже нажрался! Тьфу! — сплюнула какая-то проходившая мимо старушка. — А тебе что здесь

надо? — рыкнула на меня. — Стоишь, собачью рвоту нюхаешь! Ступай домой!

Придавленный виной за его муки, я побрел домой. Это было в прошлый базарный день. А сегодня я опять в ту лавку бегу. Когда я подходил к Сальмееву оврагу, день уже на сумерки перевалил. Вдруг я маленько струсил. Небось испугаешься — под этим мостом всякой нечисти, чертей разных видимо-невидимо. Хорошо, незлобные хоть. Никого еще не тронули.

Когда я подбежал к лавке, Маулетбай-Индюк и Сафуан-Петух как раз навешивали на двери замок. У меня внутри рухнуло. Все пропало!..

— Дяденьки! — взмолился я. — Ради бога, не запирайте! Старшая Мать за спичками послала... Дяденьки!

— Заперто уже. Вон, видишь? — Сафуан-Петух показал на большой, величиной с лопух замок.

— Да, вижу... Только ведь и спички позарез нужны. Старшая Мать велела. Во тьме крошечной сидим, — сокрушался я. И про бурую нашу корову хотел сказать, но удержался. Засмеют еще. У этих двоих с милосердием негусто.

Но Маулетбай уходить от двери почему-то не спешил.

— Чей, говоришь, ты парень? — спросил он. Придуривается, делает вид, что не признал.

— Сам знаешь... Нурсафы парень, Старшей Матери сын...

— Может, Сафуан, дадим парню спичек, коли хорошо заплатит?

— Заплачу. Хорошо заплачу. Вот деньги, — и я потрянул варежкой.

— Тут плата не деньгами. Ты свое умение покажи.

— Какое умение?

— Есть такое. Волшебное. Встань вон на ту бочку, помаши руками и крикни три раза: «Курлы! Курлы! Курлы!» — дверь лавки сама и откроется, — ухмыльнулся тот.

У меня дыхание перехватило. Кроме Пупка и Рукавказа, моих собственных прозвищ, есть у нас и прозвище родовое — Журавль. Вот куда метит Маулетбай! Индюк краснозобый! Мне его подбородок сразу зобом показался. «Пупок» скажут — в голове звенит, будто камнем по виску закатили, а уж «Журавля» услышать смерти страшнее. То помянут — меня одного осрамят, а это — всему роду позор.

— Не скажу! Хоть убейте, не скажу! Нет!

— Тогда и спичек нет. Сиди себе в крошечной тьме.

В этот миг глянули на меня бездонные глаза нашей буренки. Будто сказать хочет: «Отелюсь я сегодня. А если поморозим теленка, как жить тогда?»

— Дяденьки! — я с треском переломил себя. — У меня собственное прозвище есть. Пупком меня дразнят. Коли так уж вышло, давайте его скажу... Даже четыре раза...

Но Маулетбай и слушать не хочет.

— Тоже мне прозвище — Пупок! — вконец обнаглел Индюк краснозобый! И прозвище мое уже не в прозвище! — Ты нам исконное давай, от отцов-дедов которое досталось.

Я уже про себя сдаваться начал. Бурая корова уже не в печали смотрит, а мычит в мольбе. Прошлогодний ее теленок такой же масти был и такой же красивый, и передние бабки были белые-белые. А счастья не было. Поел какой-то дурной травы и помер. От того горя буренка до сих пор очнуться не может. Мы на то надеемся, что вот родит нового теленка и в нем утешение найдет.

— Что, не нужны стали спички?

— Нужны.

Я подошел к стоящей возле завалинки бочке. Самому не залезть. Высоко.

— Поднимите! — сказал я.

Сафуан-Петух поставил меня на днище. Вот сейчас с высокого этого места взмахну я крылами и на весь мир и Маулетбаю с Сафуаном прямо в лицо прокричу: «Кулды-кулды, кукареку! Кукареку!» Сто раз прокричу, нет, тысячу раз. И правда, совсем уже было с языка сорвалось. Нет, удержал узду. Огляделся по сторонам. Никого не видать пока. Господи! До какого дня дожил! Сначала я крылами помахал. Долго махал. Потом протяжно, ясно:

— Курлы-курлы! Курлы-курлы!

Совсем как журавль прокурлыкал, на совесть. И не три раза, а пять раз, десять раз, двадцать раз прокурлыкал. Себе назло и тем двоим назло. И с каждым курлыканьем стыд и ярость росли во мне. Вовсю разошелся. Уже остановиться не могу:

— Курлы-курлы! Курлы-курлы!

«Вот вам, вот вам, подавитесь!» — кричу про себя.

— Ладно, хватит, хватит. Довольно, слазь,— вдруг заторопился Маулетбай. Я все так же, далеко вытянув шею, постоял еще немного и, раскинув крылья, прыгнул

на землю. Коли журавлем заделался, так уж до последнего перышка, коли в позор макнулся, так чтоб век помнить.

Сафуан откинул щеколду. Маулетбай вошел и зажег свечу.

— Сколько нужно? — спросил Индюк.

— На три копейки. Целиком. Вот... — я вынул руку из варежки. Горсть была пуста. Я вторую варежку снял. Нет. Потряс варежку. Нет. Единственный карман штанов целиком вывернул. Нет.

— Здесь же были. Медные три копейки...

— Вот тебе и три пуговицы! — квохтнул Сафуан-Петух. Но Маулетбай не засмеялся. Даже утешить попытался:

— Возле бочки, наверное, выпали, завтра подберем. Вот тебе спичек на три копейки, — и он сунул мне несколько коробков. Я считать не стал, затолкал в карман штанов. А внутри меня все полнится, полнится, наливается что-то... До дверей не дошел, заплакал навзрыд.

— Не плачь, глупый, не твое же, наше потерялось, — сказал вслед Маулетбай.

Я выбежал. «Эх вы! У вас о деньгах забота, а у меня о чести печаль. За трехкопеечные спички весь род свой, дедов-прадедов своих осрамил и продал. Честь на прок сменил. И сам ничтожеством стал. Вот почему и плачу».

На обратном пути я всех виновников своего бесчестия перебрал. Перво-наперво, конечно, Маулетбаю-Индюку и Сафуану-Петуху досталось. Потом пройдоху этого, который в карты жульничает, помянул. Оттого только и выигрывает, что мошенничает. Затем и бурой корове нашей влетело — нашла время рожать. И на Старшую Мать обида запала. Один-то коробок и у соседей занять могла. Погнала на ночь глядя... И даже эта медяшка в три копейки! Нет, чтобы там лежать, куда положили. Это медный-то грош! А будь он золотым? Вот бы небось выламывался.

Всех на суд притянул, всех осудил. Только одного, от которого вся беда пошла, себя самого не вспомнил. И в голову не пришло. Вот только сейчас и спрашиваю у себя: а ты-то сам?

Так порою, насилуя честь, и исполняют долг. И себя виновными не считают. Они что? Они дело исполняют. Долг требует. Я ведь тоже в тот день поручение исполнял.

Впрочем, нас ведь только разыграли. Всего лишь.

Гульчира, плутня эта, с дряхлой старушки прямо с тела штаны исподние сняла — потехи ради. В базарный день несчастного Микея изувечили — подшутили просто. Меня же на нужде моей изловили и всю душу измяли — так, для смеха. А может, не прав я? Может, бестолочь просто, шуток не понимаю? Ладно, пусть так. Но все равно не забава это, когда над человеком, как над собакой, смеются.

...Через много лет в одной восточной стране зашел я на представление старинного цирка. Много диковинного я увидел там. Но вспомню тот цирк, и саднит сердце. И вот отчего.

Урод с неимоверно длинной шеей, с куцыми отростками вместо рук и ног на четвереньках носился по арене, изображая собаку: он прыгал, лаял, большую кость в зубах таскал, рычал, подбегал к столбу и поднимал заднюю ногу. Чего только не вытворял. И так похоже — настоящая собака позавидует. Толпа, что за эту потеху гроши заплатила, в ладоши хлопает, свистит, бананы, апельсины, конфеты ему бросает...

Я себя в особо чувствительных не числю. Но почудилось мне: уродливый этот парнишка, что носился по арене, — младший мне брат. Ведь и он из рода человеческого...

...А покуда эта восточная страна еще очень далека. Я еще покуда, скрипя лаптями по снегу, иду домой. Ничего вокруг не вижу, ничего не слышу, темно и глухо. Только снег под ногами скулит. Чего скулишь, снег? Дело-то ведь я сделал, за чем послали, с тем и возвращаюсь...

ЗАЧЕМ КАЛЕКАМ САБАНТУЙ?

У моей самой старшей сестры Гайникамал, которая в Сайране живет, есть две дочери: Гульямал-апай — одна, Уммигульсум-апай — другая. Хотя я им и дядюшка, а они мне племянницы, но все равно «апай», потому что обе намного меня старше. Гульямал и станом стройна, и лицом пригожа. И весела, можно сказать, проказлива даже. Ну и пусть, коли руки-ноги при себе, ростом-статью удалась, так смех и проказы красе не в убыток. Даже наоборот. А вот у другой сестры дела нешибки. Умми-

гульсум-апай увечная, половина тела у нее усохла. Мозгом болела, вот такой и осталась. Идет, вроде бы шагает, и вдруг скосится вся, будто одна сторона ее обрушилась. Но и она дни и ночи от своей убогости слез не льет. И с работой, какая с руки, справляется, и посмеется, и с людьми посудачит. Но порой только засмеется, посреди смеха и осечется, словно вину свою какую вспомнила. Должно быть, на ум приходит, что калека она.

Сайрановского зятя нашего, отца моих племянниц, зовут Хабибрахманом. Он в мечети служка. И набожный — страсть! Он все на свете делит только на благочестивое (этого у нас совсем немного) и на нечестивое (сплошь и рядом). Даже козырек моей фуражки в нечестивцы попал. Говорит: «На лбу неверного ей место — это рог дьявола». Потому, когда я к ним в дом вхожу, фуражку задом наперед надеваю, вражий рог назад отворачиваю. Как я слышал, зять наш много лет среди неверных в солдатах был и там своей верой крепко пострадал. Вот он, чтобы грехи замолить, и привадился к мечети. Так ли, нет ли, откуда знать. При ком постороннемто он даже на кошкин чих «Ярхамбика, алла!» («Бог в помощь!») откликается. Но случись, соседская курица в картошку забрела, а чужих ушей поблизости нет, так он ее во все перышки обложит. Зятек ругаться мастер. Тут с ним разве только пастуху Нуретдину с нашей улицы тягаться под силу. Зять у нас еще и охотник. На одном гвозде у него ружье висит, на другом камча.

Оттого, видно, что сына у него нет, меня он как-то привечает. Чуть дома в скуке притомлюсь, сразу в Сайран бегу. А там забредет что-то в голову, и я, не прощаясь даже, домой отправлюсь. А в голову коли что забредет, то забредает не без причины. Вот однажды играли мы за огородами в косовицу, а тут мальчик верхом на лошади проехал и такую песню спел:

Не стронется Китай-страна,
А стронется — прощай, жена,
Сестра, прощай и мать, прощай,
Не пощадит страна Китай.

У меня сердце зашло. А вдруг он уже стронулся? Вдруг уже до Кляшева дошел! Обеих моих матерей убил?! Я пролез меж жердей изгороди и припустил к своему дому. Сам бегу, сам плачу: «О, моя Старшая Мать! О, моя Младшая Мать!» Из сил выбился. Добрел до аула, а там

все по-прежнему, и дома все живы-здоровы. А в другой раз клубы дыма увидел прямо там, где наш аул. «Горим! Наш дом горит!..» Я без памяти понесся домой. Прибежал, а это на Казангуловском взгорье солому жгут. Вот такой уж я... юродивый, что ли. Так, со своим ужасом наперегонки пять верст в один дух и оттяну. А потом, меня потеряв, из Сайрана ли, из Кляшева ли приходит кто-нибудь. Когда найдусь, не особенно ругают. Может, и крепко бы поругали, Старшая Мать не дает. Даже зять Хабибрахман только и скажет: «Дурак заполошный!» Покрепче обложить не смеет. Еще бы смел! Что я ему, соседская курица, которая куст картошки разрыла, что ли? А вот Уммигульсум-апай он треплет без жалости. Только и слышно: «У-у, сухостой!» Будто она сама себе увечье выпросила. Если бы не болезнь, она бы еще краше Гульямал была, с ее-то ростом!

Калек я до смерти жалею. Особенно когда праздники приходят. Мне кажется, что в праздники их увечье, как заплата на ясный день, только сильнее в глаза бросается. Зачем они еще на майдан выходят? В прошлом году горбун Шаряй, пастух с улицы Трех Петухов, в белую рубашку, белую шляпу, черные сапожки вырядился и явился на сабантуй. И такое лицо у бедняги, будто все гулянье в честь него и затеяли. Я шепнул другу Асхату:

— И зачем калекам сабантуй!..

Асхат не понял:

— Каким калекам?

— Горбтому Шаряю, Хансе с кривой шеей, полумному Микею?

— Калекам сабантуй еще больше нашего нужен. Мало их в будние дни унижают? А в праздник все равны.

— Равны, как же... Горб-то у Шаряя небось обратно в лопатки не утянется.

— Горб не утянется, так душа распрямится. Моя бы власть, я бы почаще для увечных праздники собирал.

Так-то оно, может, и так, но я в праздники калек еще пуще жалею. Хватил Шаряй в чьей-то ватажке маленько бражки, и вынесла его нелегкая в круг, где пляска шла. Попрыгал туда-сюда, словно бы в танце покружился. Нашлись добрые люди, подбодрили, от сердца похвалили: «Афарин, Шаряй! Хай, славно сыпешь!» Но нашелся и злыдень один, не удержал языка: «Полегче, Шаряй, полегче сыпь, так и выюк с хребта недолго ссыпать». Правда, стоявший рядом наш рыжий

зять Хисматулла конопатой своей пятерней поганую пасть крепко припечатал. Да что за радость? Шаряй, чуть не плача, длинными шагами вышел из круга.

Вот тебе и равенство!

Весною в Сайране, как и у нас, в Кляшеве, бывают вечерние игры. Однажды со слезами умолили племянницы и зять под мой надзор отпустил их на игрище.

— Чтобы с сумерками дома были, м а т р и у меня! — крикнул он вслед. И о свалившейся на меня почести напомнил: — Ты — глаза и уши, смотри и слушай.

В соглядатаи, значит, меня определил. Нашел надсмотрщика!

На игры вся сайрановская молодежь собралась на поросшем молодой травой берегу Барсуана. Не для зрелищ, не для борьбы, не для состязаний — этого здесь не бывает. Здесь парни и девушки друг против друга в пляске выходят, хороводы с песней водят, взявшись за руки, ручейком тянутся. А гармоний не счесть! Зеркалами украшены, бубенцами увешаны, мехи разлетаются, вот-вот разорвутся, с бликами, со звоном песни рассыпают.

Поиграл я со своими сверстниками в чехарду и пошел к Уммигульсум-апай. Она обняла меня за шею. А наша Гульямал-апай прямо лебедем плавает. Только что посреди круга плясала, веретеном крутилась, а теперь уже в воротца играют, и она первая ведет. И песенку спела с намеком на того гармониста, который саратовскую с медными бубенцами гармошку свою не щадил, от плеча до плеча рвал. Тот и рот растянул, обратно собрать не может. От одной ее песни кудрявый богатырь вконец размяк. И размякнешь — слова какие да голос какой!

Ты играл, а я вздыхала,
Серебро-кольцо сверкало.
Коль утопишься, достану
Со дна озера Байкала.

Ай-хай, кажись, через крайхватила. Такого верзилу, коли потонет, попробуй вытяни из воды. Саму утопит... Покуда могущество любви, безграничная сила женской души — для меня мир неведомый, неоткрытый.

И только жизнь прожив, я пойму: любовь женщины ни в пучине морской, ни в огне преисподней, ни в урага-



не мужчине погибнуть не даст. Спасет. А что сама утонет, сама сгорит, саму унесет, не помыслит даже. Только бы любимого спасти. Вот о чем тогда пела в своей песне Гульямал-апай.

Счастью Гульямал предела нет. Что ни сделает, все к лицу, что ни скажет, все к месту. Обе щеки алым го-

рят. А как тот кудрявый парень глянет, так вся и вспыхивает. Нет, я не слежу, не высматриваю. Просто все и так видно. Гульямал-апай то и дело подбегает к нам.

— Милая моя! Родненький мой! — умоляет она. — Еще немножечко... Мале-енечко только побудем... Потерпите?.. — Ответа ждать уже недосуг, унеслась. Нам-то что. Пусть играет, пусть веселится. Я голову на теплое плечо Уммигульсум-апай положил, сижу себе тихонечко. Уммигульсум каждый раз подбадривает сестру:

— Веселись вдоволь, играй, сколько душеньке угодно, — шепчет она ей вслед.

Снова Гульямал мимо пронеслась.

— Ой, не сердитесь!.. Еще чу-уточку!.. — на лету сунула нам по красному, в поясе тонкому прянику и убежала. Откуда гостинец, это я понимаю. Видать, Гульямал-апай сегодня *тому* вышитый платок отдала. От ответного подарка и нам досталось. Ладно, пряник, он лишним не бывает. Уммигульсум и свой мне хотела отдать, я не взял. Пусть сама поест.

Когда мы вернулись домой, уже совсем стемнело. В избе ни звука. Лампу-трехлинейку и ту притушили, чуть тлеет. (Со скупостью зятка лишь его набожность может поспорить.) Только мы вошли, старик с лязгом закинул щеколду. Снял со стены камчу. Со свистом по висевшей на гвозде шубе полоснул. Гукнула шуба. Потом на Гайникамал-апай, сидевшую на хике:

— Это ты их распустила, потатчица! — замахнулся, но не ударил. — Лицедейки чертовы! Прислужницы Газраила! Сучьи дочери, потаскухи! — заорал он. — Кому было сказано — до сумерек дома быть! Не тебе ли? — и камча просвистела над моей головой.

— Тронь только! И хоть кого тронь! Вмиг домой уйду!

— Гульямал — куда ни шло! А тебе-то что осталось? Туда же, поволоклась! У-у, сухостой! Обгрызок человеческий! — на сей раз камча кривую спину Уммигульсум-апай с шипением ожгла. У той и вздоха не вылетело. Еще раз прошипела камча и еще.

— Отец! Отец! — рванулась Гульямал. — Отец, не бей! Не бей, Уммикай!

— Зять! — завизжал я. — Сейчас собственным твоим ружьем тебя застрелю! — и, задохнувшись, не помня себя, бросился к висевшему на гвозде ружью.

Зять опешил. Я же, не добежав до ружья, забился в угол и застыл.

— Ладно, в острастку будет,— сказал зять и повесил камчу на гвоздь.

А я как застыл в углу, так и плачу. Без вины избитую Уммигульсум жалею. А того пуще жалею праздник... Потому что зять Хабибрахман не только тихую увечную свою дочь, но и сам праздник, что кипел сегодня на берегу Барсуана, высек своей шипящей камчой.

И еще Зиятдина с Верхнего конца нашей улицы вспомнил. В прошлом году его сын Агзам, не спросясь отца, из города плохонькую тальянку привез. А старик Зиятдин такой человек — заслышит гармошку, из себя выскочить готов. Мимо них парням с гармошкой даже пройти нельзя, он их с жердиной по улице гоняет. «Гармонь кяфыры сделали, ее и в руки взять погано», — говорит он. Гармошку свою Азам прятал в крапиве у плетня. Но старик нашел ее и пинками на середину улицы выкатил. А потом при всем народе пошел ее дубиной садить. Гармонь, бедняжка, на каждый удар хрипит только — гыр, гыр. Тот: «А! Ты еще хрипишь, ты еще свое тянешь...» — залез на нее ногами и растоптал. Агзам только не плакал разве. Вот так. Один музыку дубиной отдубасил, другой праздник камчой высек. Чтоб руки у них отсохли!

В тот раз на бесчинство ружья наставить я не смог, плачем его унял. Зять дале не бузил.

Может, в первый раз это и было, что я против чьего-то бессердечия взбунтовался. И потом было, да только уже по-разному. Бывало, разъяренный, в схватку бросался. Бывало, будто глух и незряч, в стороне оставался... Всяко было. Много всякого было.

...А память все пережитое исправляет, подновляет, подгоняет на свой лад, ищет в нем опору и утешение. Старенькая моя племянница Уммикамал-апай, которой уже под семьдесят, те времена с удовольствием, со вкусом, словно на язык пробует, вспоминает:

— Были же беспечные времена! С Гульямал, покойницей, мы вровень росли. Обе проказливы, обе своевольны были. Как на вечерние игры уйдем, так и потеряем-

ся, до глубокой ночи пропадаем. Вернемся домой, а отец, спокой ему в раю, ох и ругался на нас, ох и ругался!.. Горячий ведь человек был, но вот чтобы руку на нас поднял, такого не помню. А брани больше мне доставалось. Знать, и поделом: озорства и своеволия, видать, побольше было.. Только тоска теперь по тем веселым, беспечальным временам и осталась...

«МЯСО — ВАШЕ, КОСТИ — НАШИ»

В белом инее было утро, когда Старшая Мать повела меня в школу. Я иду чуть поодаль от нее, в голубой заиндевелой траве прокладываю себе путь.

«Пожалуй, в школу ему уже пора. Вот табуны уйдут на тебеневку — ему девять исполнится, — сказала она вчера Младшей Матери. — Может, сама к учителю сводишь?» Младшая Мать долго смотрела мне в глаза, потом сказала: «Своди уж сама, наперсница, ты и поговорить умеешь».

Школа — по другую сторону оврага, в Нижнем конце улицы Мечети. Я ее только со стороны видел. Внутрь не заходил. Да и не рвусь особенно-то. Чего я там потерял? Правду небось сказал на днях Валетдин, когда речь о школе зашла: «Не всяк ворона — хоть перья черные, не всяк мулла — хоть слова ученые». Если все выучатся, муллою станут — ты мулла, я мулла, а кто же лошадям сено задаст? Добро, если сено есть, тогда, может, и найдется, кому задавать. Другое худо: муллы все люди боятся. Вот и живи, людей пугай, словно упырь какой...

— Вовсе не хочу я муллою быть, — я и сам не заметил, как вырвалось у меня.

— Почему так говоришь, синнай?

— С этой грамотой и не почувешь, как муллою сделаешься. Закаешься учиться, да поздно будет.

— Даст бог, муллою тебя не сделают. Ученым станешь или землемером. А нет, так — полон дом слепых — один среди нас, иншалла, зрячий будешь, — и тут же пояснила: — Теперь безграмотный все равно что слепой. А мы все невежественные, сынок. Потому нас, темный люд, черными баранами зовут.

Я тут же остановился.

— Давай сегодня не пойдем в эту школу, давай завтра пойдем.

Перед глазами встала школа, полным-полна черных овец и баранов. Всякие, большие и маленькие, они бодаются, толкаются, блеют истошно.

— Сегодня покажемся и запишемся только. А учиться через неделю пойдете,— не останавливаясь, сказала Старшая Мать.

Она, если раз скажет, вспять не идет, с полпути не возвращается. Перед нами вошел в школу кузнец Аглям, сына своего, длинного и худого, как удилице, Гильметдина, привел. Этого Гильметдина я знаю. Больно ли кроткий, умом ли короткий, только, бедняга, даже самых маленьких мальчишек боится.

Увидев Старшую Мать, учитель Махмуд встал.

— Айда, проходи, мать! Вот сюда присаживайся. Сейчас только сына Агляма-агая запишу...

— Ладно, ладно, мы не спешим,— сказала Старшая Мать. — Большой у тебя сын вырос, Аглям, дай бог, скоро и от своего ребенка благо увидишь.

Аглям за руку поздоровался с ней, затем подвел своего Гильметдина и поставил перед учителем. Казалось, что у парня вот-вот оборвется тонкая, с глубокой ложбинкой шея и обритая высохшая голова скатится на пол. И каким только чудом еще держится эта голова?

— Вот, Махмуд,— сказал осевшим вдруг голосом кузнец,— старшего своего привел к тебе. Мясо, сало себе возьми, кости, шкуру нам оставь.

Что за «мясо», что за «сало» я сначала не понял. А понял, смех меня изнутри защекотал, еле сдержался. Но потом перепугался. Так вот какие истязания ждут Гильметдина, у которого и без того под рубашкой кости гремят! А если Махмуд и из меня мясо и сало вытянет, лишь кожу да кости оставит? Я был готов тут же вскочить и убежать.

— Ладно, агай, постараемся, рук да разума, сколько есть, не пожалеем, все приложим,— заверил учитель.

Те ушли. Учитель в свою толстую книгу записал и меня.

— Вот, учитель, сына своего на твое попечение отдаю. Ребенок упрямый, обидчивый, своевольный, но душа бесхитростная и тонкая. Но чтобы под твоей рукой и волосок его не упал. На то согласия моего нет. Не прощу. Это я сразу говорю,— сказала Старшая Мать. Голос ее тих, но тверд.

— Насчет этого будь спокойна, мать,— сказал Махмуд, вставая с места. — Сына такой уважаемой матери и ногтем не коснусь. Обещано — свято. Не беспокойся.

— Спасибо, учитель, что слова мои принял,— сказала Старшая Мать. — Лучше сразу уговориться. Прощай, будь в здравии.

Школа меня особо не поразила. И к разным бумагам, приклеенным к бревенчатым стенам, и к черным партам, и к черной доске я остался равнодушным. И зеленовато-голубые глаза учителя не понравились мне. И его «обещано — свято» что-то не больно убедило. Хорошо, что мы тут же ушли.

Учитель слова своего так и не сдержал. Ногтем-то он и вправду не коснулся — мне от него по-другому доставалось.

На третий или четвертый день учебы мы играли на перемене в прятки, и я залез в печку. Так он мне за это чуть ухо не оторвал. Потом я острием ножа выцарапал на парте букву «К» и за это ребром деревянной линейки получил по пальцам. В третий раз я уже от чужой удачи долю отхватил. Учитель на доске что-то мелом писал, а в это время сидевший за мной то ли Хамитьян, то ли Гильметдин начал баловаться, так учитель приноровился и куском мела с кулак величиной в того озорника запустил. Хорошо приноровился, мел прямо в лоб мне засветил. Из глаз какие-то сверкающие колечки посыпались. Учитель и сам струсил: начал успокаивать меня, утешать. А я нарочно не заплакал, ему назло.

В тот день я окончательно решил: больше в школу не хожу. Как раз тогда и снег уже выпал, и настала пора с горы на санках кататься, за копейку на Шайхаттаровых железных коньках птицей по переулку Белого Юмагула пролетать. Никому ничего не сообщая, я дальнейшее свое учение оставил. И длилось это два года.

Через два года я снова, уже с младшей сестренкой Салисой, пошел в первый класс. Меня посадили на самый последний ряд, сестренку на самый первый. Учительница у нас молоденькая девушка. В первые дни она учила нас писать палочки. Сестренка проведет палочку и ко мне бежит, на учительницу и не смотрит: «Агай, правильно?» Учительница делает вид, что не замечает, а я стесняюсь.

Убытки двух потерянных лет я за одну зиму окупил.

Весной меня перевели в класс, с которым я в первый раз начинал учиться. Все знакомо, все знакомы, только учитель другой.

А в ту зиму, когда я воли себе дал, немного прошло, и в нашем ауле на белый снег пролилась красная кровь...

ДВА СУДА

Случись в ауле кончина чья-то — скачут по двум сторонам улицы два мальчика, возле каждого дома осаживают коня и кричат: «На погребальную молитву!.. На погребальную молитву!.. На погребальную молитву!..» Самый страшный клич для меня — этот. Будто мальчики не к мертвому на проводы, а прямиком в твою собственную могилу зовут. Впрочем, если крепко подумать, так оно и получается. Настанет время — каждого туда пригласят, туда проводят.

Не разошлись еще утренние сумерки, а по улице уже проскакали один за другим два мальчика:

— На суд идите! На суд идите! На суд идите!

— О господи, неужто опять смерть-сиротство? — огорченно сказала убиравшая со стола Младшая Мать...

— На суд кличут, Младшая Мать. Самигулла, кооперативный голова, мирские деньги украл, несметно. Ямагат судить будет. Очень сердитый был Ташбулат-сельсовет, — запинаясь-спотыкаясь, выложил новость Старший брат Салих. Он всегда так, начнет говорить и сразу теряется.

— Откуда же у мира такие деньги объявились? — спросила Старшая Мать.

Мой Самый Старший брат Муртаза все знает, он тут же все разъяснил:

— Осенью с каждого двора на общественные косилки и молотилки собирали. И с нас брали. Вот те самые деньги.

— Эх, несчастный! До какого только греха не доведет алчность, — вздохнула Старшая Мать.

Отец почему-то еще ни слова не сказал. Он думает. Стало тихо и тревожно. Зов тот — «На суд идите!» — вошел, прозвенев стеклом, наполнил избу и сейчас, подступая то к одному, то к другому, бьется в ушах: «На суд идите! На суд идите!»

— Коли уж Самигулла на деньги позарился — никому веры нет. Тоже — ходил, твердил, коммунист, дес-

кать, он — и язык ведь не отсох, — зло сказал Муртаза-агай. — Ясно, у каждого пальцы к себе загибаются.

— Если хоть один из вас на Пожарную площадь ногой ступит — смотрите у меня. Рано еще вам человека судить, — сказал отец. И даже пальцем погрозил. Так сурово с братьями он еще никогда не разговаривал. Правда, тут же добавил, вроде помягче уже:

— Запрягите мне серого мерина, к Тимофею съезжу, пожалуй. А вы бы на зайца сходили, что ли. Вон какая пороша выпала.

Удивленные резким тоном отца, братья переглянулись.

— Ладно, отец, сходим на зайца, — сказал Муртаза, насупившись еще больше.

И взрослые мужчины разошлись по своим делам. Немного погодя опять проскакали те мальчишки:

— На суд идите — на Пожарную площадь! На суд идите — на Пожарную площадь!

Много всяких зрелищ видел я: и тебе «туманные картинки»¹, и тебе комедь, и байгу-скачки — все видел. А вот которое судом называется — не видел ни разу. Надо посмотреть.

Пожарная площадь — на самом взгорье улицы Мечети. Народу собралось там — не счесть, не перечесть. Все больше деды да дядьки бородатые. Мы, мелкая ребятня, залезли на большой сугроб по другую сторону улицы. На площадь нас не пускают, гонят прочь.

— Мелкоту прочь гоните, чтоб и следа не было! — проверещал какой-то старик.

— Пусть смотрят и видят, в назиданье, — сказал толстый мужчина с одутловатым лицом.

— В острастку будет, — добавил еще кто-то.

— Младенцев безгрешных домой отправьте. Не комедь же здесь разыгрывают.

— Неизвестно, какая еще комедь случится...

Народ все больше кипятится — и все больше бурлит майдан. Вдруг все замолчали. Поскрипывая валенками, с Нижней улицы вышли на площадь Ташбулат-сельсовет и два с ним чужака. Ташбулат росточком маленький, чуть пошире шагнет — полы черного тулупа земли касаются. Должно быть, от отца или старшего брата тулуп достался.

— Ну, как порешим, ямагат? — сказал Ташбулат,

¹ «Туманные картинки» — кино.

сам вытянулся весь, ни на кого не смотрит.— Как говорится, пойман вор, за вами приговор, отцы аула.

Народ еще мялся, не зная, что и сказать, а перед Ташбулатом уже встал высокий, крепкий, словно дуб, Красивый Марагим. Он на нашей улице живет. Марагима, совсем еще молоденьким, отец силой женил, а вернее — выдал за вдову Ильяса-муэдзина. Бывает, выйдет Марагим вечером на улицу, сядет перед домом и растянет свою гармонь, весь аул слушает и дивится. «Печалится, несчастный,— сказала как-то Старшая Мать,— сколько уже лет прошло, а сердце никак, видно, не угнездится, все блуждает, ищет кого-то. Самые цветущие, наливные годы понапрасну проходят...» Не зря, оказывается, говорят, что красивые да певучие — всю жизнь невезучие. Мало того, у него и ресницы длинные. А ведь известно: чем длиннее ресницы, тем жизнь короче. Потому, наверное, все жалеют Красивого Марагима, привечают его. Вот сейчас он вышел и встал перед Ташбулатом. Еще больше вытянулся Ташбулат, а все ростом со скалку.

— Ровесник,— сказал Красивый тихо,— велика вина Самигуллы. Он ли украл общественные деньги, у него ли украли — ясно одно: из его рук уплыли они. Свою кару он получит. Но только надо его властям передать, суду правому, чтоб без пристрастки судили.

Ташбулат вдруг взбеленился, его круглые глаза словно сверлили каждого в толпе.

— Властям! Не их добро он украл, чтобы властям его отдавать! Ваше, кровное, общества, у мира нашего украл он! И тело его, и душа в ваших руках, ямагат! Правильно я говорю?

— Правильно, правильно говорит Ташбулат! — поддакнули тут же.

— За горло взять, чтоб рвотой вспять добро наше вышло. Прорва! — крикнул Одутловатый.

— А еще в коммуне ходил, народ мутит, иблис! Адова головешка! Где он? Чего ждем?! — надрывался кто-то.

— К народу выводи! Пусть ответит!

Вопила кучка разъяренных людей, от нее уже и по толпе расходилось рычанье. Тут Ташбулат отдал приказ:

— Эй, понятые! Ведите вора!

Низко опустив красивую голову, ушел Марагим с майдана. Раз только оглянулся, придержал шаг, да не остановился.

Из караулки вывели Самигуллу. Вор шел — в короткой латаной шубейке, белоснежных валяных чулках и белых лаптях, почему-то без шапки, пряди темных курчавых волос падают на лоб, лицо, как серый пепел... Руки далеко, локоть к локтю, сведены за спину и скручены арканом. Конец аркана держит человек, который шагает рядом с вором. Ведет, как в базарный день ведут на продажу корову или бычка.

— Вот сюда, на высокое место, перед всем миром поставьте, — повелительно бросил Ташбулат, показав на телегу, с одного бока занесенную снегом. Самигуллу посадили и затолкнули туда. Майдан замолк. И даже снег под ногами перестал скрипеть. Лишь редкие хлопья порхают в воздухе. И будто не на землю, не на толпу, а только на черную, низко склоненную голову пленника падают они. Вот так постоит еще немного и станет совсем седым. Слева от Самигуллы, поодаль, над коньком сельсовета полощется красный флаг. Когда пристально смотришь, флаг подступает ближе, и они оказываются совсем рядом. Человек стоит неподвижно, флаг трепещет, рвется куда-то. И позади обоих — темный грозовой край неба.

— Видал ли кто, слышал ли кто про такое злодейство? — опять заверещал визгливый старикашка. — Земле позор, роду позор, вере позор! Всех осрамил, подлая душа! — замахал он руками на Самигуллу.

К нему присоединились другие голоса:

— Изо рта младенцев пищу отрывали, по крошке собирали! Где промотал? Отвечай!

— Мы добро наше потом добывали! Поперек горла оно тебе встанет, бесстыжий!

— За наш пот пусть кровью расплатится! Кровью!

Вор медленно поднял голову. Долгим взглядом обвел майдан. Крики опять стали затихать. Самигулла вскинулся. Кашлянул раз, другой.

— Люди, — сказал он тусклым дрожащим голосом, — велика моя вина перед вами. Кровные ваши деньги в моих руках были, из моих рук пропали. Но сам я даже слепой копейкой не разжился.

— Как это — не разжился? Что они, своими ножками ушли, что ли?

— Украли. К железному сундуку в канцелярии ключ подобрали и украли.

— Когда украли?



- Точно не знаю.
- Брехня! Врет!
- На том свете оправдаешься!
- А сторож где был?
- Не я украл, да на меня вина. Всю жизнь отрабатывать буду, расплачусь.
- Вшами, что ли, зимогор?

— За всю жизнь стригунка шелудивого не нажил, а тоже — расплачусь!

— Пусть кровью заплатит! — распался все тот же, охочий до крови.

Толпа словно взбесилась:

— Своим судом судить! Чтобы другим неповадно было!

— Руки-ноги переломать!

Разъяренные люди, видно, уже черное-белое не различали, размахивая кулаками, палками, дубьем, они ринулись к телеге. И вот тут откуда-то вывернулся Круглый Талип. Он проворно вспрыгнул на телегу.

— Ямагат! — выкрикнул он звонко, на весь май-дан. — Я этого человека с рождения знаю. Отца-мать, племя-породу его знаю. Подлости не сделают, чужого не возьмут. Неправое дело творите, аксакалы! Люди! Сто вас человек на одного — безвинного и беззащитного. Если погубите его — сто грехов на каждого ляжет, не отмоетесь! О вере подумайте, ямагат! Я его с таких вот пор знаю! Сердцем чую, неповинен он. Не теряйте рассудка, ямагат! Ташбулат! Ты голова. Уйми народ. Пусть не трогают Самигуллу. Два малыша у него, как два яблочка, по избе катаются. Не осироти их, скажи аксакалам, Ташбулат!

— Когда воровал, меня не спрашивал. Как грешил, так пусть и расплачивается. Я уже сказал, высокий ямагат, — возвысил голос Ташбулат, — правосудие — в ваших руках... — и, спотыкаясь о полы тулупа, ушел с площади.

Еще что-то сказал Талип, но его не слушали. Однако с телеги он не сошел, только ближе подвинулся к Самигулле. Громче и злее прежнего завопил высокий ямагат:

— У лжеца и свидетель под боком!

— Прочь с телеги, рвань!

— Вместе, что ли, ворованное делили?

— На бойне тебе околачиваться, пес, объедала требушиный!

— А много перепало?

Тут Талип до пояса вывернул полы изодранного чекменя и показал высокому ямагату пестрый зад — заплата на заплате:

— Вот — перепало! Пышно я нынче вырядился, во все дорогое. Ну, чей зад наряднее? Он вон тоже в новых... лаптях.

Талип все еще держит обеими руками полы своего чекменя. Самигулла так и застыл с отрешенным лицом, будто не здесь он уже. Мягкая белая седина покрыла его голову. И когда успели такие редкие снежинки так густо прибить его черные кудри?

Вдруг Талип простер обе руки к толпе и сквозь слезы стал молить:

— Людей не стыдитесь — бога побойтесь, ямагат. Не губите Самигуллу. На весь аул невзгоды обрушатся. Ударит гнев божий!

От этих слов собачник Ислай, известный своей жестокостью, прямо взбесился. Он подошел к телеге и, прорывав:

— Вот так ударит гнев божий,— широко замахнулся дубиной и ударил Талипа по голове. Талип слетел с телеги, стукнулся о землю. Резво, будто обрадовалась, откатилась и легла в снег его жалкая тряпичная шапка. Блестящая, гладкая, как таз, голова показалась всем. Ни парши никакой, ни рожек — лысина, и только. Волосы выпали. Дубинка Ислая, наверное, ему по шапке пришлась — тем и спасся. Он поднял голову. По щеке потянулась кровь, капнула на снег. Капнула раз, и два капнула, и три капнула... Почувяв кровь, Ислай-собачник и вовсе озверел. Перехватив свою дубину, он бросился к Самигулле. Тут и весь ямагат набежал и обступил телегу. Я с треском зажмурил глаза. Только уши слышали рев разъяренной толпы. Потом и рев затих.

Я открыл глаза. Телега пуста. Далеко за ней, прямо над ней, на крыше сельсовета печально колышется красный флаг. Толпа расходится с площади, тянется по улицам. У телеги лежит скрюченное тело Самигуллы. Все лицо его в крови. И снег вокруг головы подмыт алой кровью. Все еще без шапки, на коленях перед телом сидит Талип и гладит облепленную снегом голову. Он гладит, а снег не сходит, еще сильнее пристает к волосам. И что это за снег, почему он не тает?

Впервые в жизни я вижу красную кровь на белом снегу — человеческую кровь. Сначала она капала, потом натекала, прожгла снег и ушла в землю. Она согреет землю и впитается в нее, я знаю. Старшая Мать говорит: «Дым в воздухе тает, кровь в землю убегает, душа на небо улетает, в могилу ложится тело». Наверное, душа Самигуллы уже давно в дороге...

Тогда я еще не знал, что единого мига хватит,— ты лишь коротко зажмуришься,— а черным-черные кудри успеют стать белою сединой.

— Вот и кончена тамаша¹, малай, ступай домой! — сказал кто-то.

Я поднял голову. Передо мной стоял страшный волосатый человек с крупным, с горошину, бельмом на глазу. И брови его, и нос, и рот скошены в сторону. Глянул я на него и почувствовал, как и мое лицо стало перекашиваться. Без оглядки припустил я домой. Какое страшилище, приснится еще!

...Пожалел он меня, не приснился. Но в яви — встретился. Много судеб кострами отгорело, много судеб грозами отгремело, и вот мы встретились еще раз...

Каждый раз, когда я возвращаюсь в аул, я прежде всего иду на кладбище поклониться могилам отца и Старшей Матери. Теперь я и сам не только отцом, уже дедушкой стал. Однако о смерти, о вечном небытии я здесь, можно сказать, и не думаю. Ибо люди, чьи имена выбиты на камнях, не тем интересны, когда и как ушли с этой земли, а тем, когда родились, как жили на этой земле, каким радостям радовались, какие вершили дела.

Возле одних могил я стою задумавшись. Возле других невольно улыбаюсь. Сколько воспоминаний, веселых и горьких, забавных и поучительных, оставили по себе их хозяева. И кажется, что их неумный вольный дух разлит в трепещущем воздухе над могилами, легко колышет высокую сухую траву. Здесь лежат мудрецы и юродивые, мечтатели и неудачники, необузданные и терпеливые, герои и горемыки. Нет здесь только злодеев, трусов и бездарей. Может, и есть, но я их не вижу. Если глаз и приметит — душа не приветит. Потому что мир, в котором я живу, мне оставили не они. Живу и хозяйствую я в мире, завещанном мне вон теми. И вместе со мною живут и они. Потому при каждой встрече я говорю: «Здравствуй, отец!», «Здравствуй, Старшая Мать!», «Здравствуй, Круглый Талип», и тотчас же камни гулко откликаются: «Здравы!..» Здесь я узнал немудреную истину: пока живы — живут все люди, после смерти же — только хорошие.

¹ Тамаша — зрелище.

Взгляд мой остановился на черном могильном холмике с едва пробившимися, еще розоватыми ростками травы. Эти только увидевшие свет ростки унесли мои мысли в непостижимую даль, к самому дну вечности. Когда-то люди, подумал я, а точнее — их первые побеги, вот так же пробились на свет, мало-помалу трава обратилась в знак одушевленный — человека. А потом человек снова становится травой...

В изголовье могилы, низко согнувшись, сидит маленькая женщина, она часто-часто всхлипывает, выплаканые слезы, наверное, уже до пят омыли ее. Задыхаясь, она повторяет одно и то же:

— Цветы мои полуденные поникли, свечи мои праздничные погасли... Поникли мои цветы полуденные, погасли мои свечи праздничные...

Это Сабура, вдова Курбангали, пропавшего без вести в первый же год войны. Давным-давно, когда она еще в невестах ходила, Асхат сказал про нее: «Сабура статью с самовар». Маленькая-то маленькая, да в руках работа кипела, на языке искра горела. Но и с таким языком она попусту ляссы не точила, сплетен не разносила.

Где-то посередине войны прибыли в аул солдаты. Прибыли, пожили, вышел приказ, они и ушли. Много ли, мало ли прошло времени, в назначенный срок прибавила Сабура к человечеству еще одного мальчика. Пошли по соседям суды-пересуды, родня на Сабуру по черному стала смотреть, кумушки ее имя вместо смолы жевали. Даже подружки — с тем же грешком, да с другой удачей — и те отвернулись от нее. И только одна душа приголубила Сабуру, добрая рука похлопала ее по спине. «Кому даны дни — дана и пища. Пусть легкою стопою вступает в мир. Курбангали потомства не оставил. Вот вместе и вырастим его», — сказала Гульбадар, мать пропавшего без вести Курбангали, свекровь Сабуры. До этого свекровь с невесткой хоть ножей и не скрещивали, да и не сказать, чтоб душа в душу жили. Частенько бывало, что свекровь лопату попросит, а сноха вилы сует; сноха ложкой звякнет, так свекровь тарелкой гроыхнет.

Как родился мальчик Семен (Сабура имя по отцу дала, любила, значит), этих двух будто водой какой побрызгали: в таком ладу и согласии Гульбадар и Сабура зажили, такая к ним дружба пришла — на весь век хва-

тит. Дитя подрастало, и будто росла вместе с ним любовь свекрови к снохе, снохи — к свекрови. С Семеном на руках Гульбадар сначала вышла во двор, потом ко всем соседям наведалься, а потом по всему аулу прошла. Будто что-то драгоценное, священное несла, голову держала высоко, ступала гордо.

— Вылитый отец!.. — пытались уязвить некоторые. Этих она вмиг осаживала:

— На кого бы ни походил — вылитый человек! Не ветром принесло — от любви родился. А смеяться над безвинным дитем грех!

Теперь на черном холмике, укрывшем Гульбадар, подрагивает едва пробившаяся красноватая еще трава. То ли от ветра она вздрагивает, то ли от скорбных, из самой глубины груди вздохов Сабуры.

Чтобы не коснуться ненароком ее израненной души, я незаметно обошел могилу и направился к выходу. В ушах еще звучало ее стенанье:

— Поломались цветы мои заветные. Погасли свечи мои праздничные...

Уже который раз возле железных ворот огороженного камнем кладбища я вижу старика. Пройдет кто мимо, он глаза прячет, отворачивается. Я почему-то не решаюсь остановиться возле него, перекинуться словом или хотя бы поздороваться. Чужая душа — чаша темная. Что там только не таится? Но в чашу без всякого спроса врубиться можно, а души без позволения не коснись.

В этот раз старик не стал от меня отворачиваться. И глаз своих, угасающих, бесцветных, тоже не отвел. Правый зрачок закрыло крупное, с горошину, бельмо. В этом глазу и вовсе ни проблеска жизни нет. Второй глаз нацелился в меня. Что он хочет сказать, этот глаз? Нет, ничего,

— Здравствуй, отец! Жив-здоров ли? Как... как чувствуешь себя? — поспешно сказал я. Острая тревога вдруг охватила меня.

— Я тебе не отец. Никому я не отец, и не брат, и не сын. Я никому — никто. Только самому себе — сам. И как чувствую, не спрашивай. Нет у меня чувств. Кончились. Я упырь.

Я пошел было дальше. Он с размаху сел на траву.

— Погоди-ка немного, поговорим... — сказал он. — Мне бы давным-давно уже туда надо перебраться, — и старик рукой показал в ворота, в глубь кладбища.

— Чего же не переберешься?

— Самигулла не велит. Говорит: «Ко мне близко не ложись». Вытолкнул мою могилу. Даже в ворота меня не пускает.

— Какой Самигулла?

— Да тот самый, которого я тогда убил. Я ведь его два раза убил: один раз честь его перед всеми людьми убил, потом и самого... — старик так спокойно, так ровно и бесстрастно сообщает это, словно рассказывает о каком-то заурядном случае. Только в здоровом глазу его затлела слабая искорка. Сам чуть приподнялся, расправил грудь и снова сник.

— Я — когда-то далеко вокруг известный, знаменитый вор Ярулла, — все тем же тусклым голосом продолжает он рассказ. — Люди, мною обиженные, слезы, из-за меня выплаканные, проклятия, на меня излившиеся, — бессчетны. Не только зол был я, но и хитер. Ходил — травы не тревожил, следы запутывал. И когда деньги у Самигуллы брал — дверей, сундуков тоже не взламывал. Я каждый замок со своим ключом обженил. А деньги взял, опять все замки исправно запер. Страх не знал, волчье у меня сердце было. Но впервые тогда в это сердце сомнение закралось. Самигулла зоркий был человек, догадливый, и показалось мне, что вот-вот он догадается, узнает мою тамгу. Потому что никто другой кроме меня и не смог бы это сделать. Не вытерпел я, когда начался суд над Самигуллой, сунул в рукав кистень и пришел на майдан. Пока другие палками да прутьями махали, я только раз и стукнул его кистенем. Он тут же упал с телеги навзничь. Спрятал я кистень и отошел в сторонку, никто ничего и не заметил. Но уйти сразу я все равно не смог и, пока народ не разошелся, возле тела оставался. Померещилось мне вдруг, что голова у трупа — белая-белая. Тут всего меня судорогой свело, и лицо с одного бока скогтило будто.

...И уже не у кладбищенских ворот стою я, а в том далеком времени, на вершине сугроба возле Пожарной площади. Передо мной появляется волосатый человек с перекошенным лицом, с большим бельмом на глазу. Но я ни капли не боюсь его. «Кончена тамаша, ступай домой», — говорю я ему. Но перехватывает дыхание, голоса нет. Я медленно-медленно по дощечке прожитой жизни возвращаюсь на этот конец, к каменной кладбищенской ограде. Притихший, выставив острые коленки, сидит

Ярулла. Придя в себя, я вспоминаю то, что многие годы беспокоило меня. Ташбулат, председатель сельсовета, как он вел себя в тот день.

— Деньги эти с Ташбулатом вместе украли?

— Нет. Он и не знал. Кто украл, куда деньги уплыли, ему не это было важно. Здесь у Ташбулата свой расчет был. Хоть как, а надо было ему от Самигуллы избавиться. Коротышке этому прямо повезло с покражей-то. Это ведь он народ подбил на самосуд, натравил и смылся.

— А за что он на него зло таил?

— Точно не знаю. В гражданскую войну он в русских селах гнусность ли, зверство ли какое учинил, кажется. А Самигулла, видно, знал это. Один взгляд Самигуллы его в страх вгонял. А я не боялся. Никого не боялся. Только этот Самигулла мое сердце, словно тряпку, выжал. Трусом я стал. В ту же ночь запряг вороного жеребца, дом, жену, детей — все бросил, только бы подальше, и в чужие края подался. Через сорок лет вернулся в надежде, что в отчей земле прахом стану, найду приют. Третий год уже здесь хожу. Самигулла и близко не подпускает. «Ты, говорит, сначала за свои злодеяния через суд пройди, кару понеси, потом пушу». Преступлений я совершил множество, зла содеял бессчетно — и ни люди, ни всевышний ни за одно не покарали меня вовремя. Пошел я тогда к вершителям закона, хозяевам правосудия и сказал: «Много злодеяний совершил я, воздайте мне мерой за каждое». И всюду был один ответ: «Грехи твои состарились, преступлениям вышел срок!» Нет, нет! Не состарились, и не вышел срок! Я их хорошо знаю — ведь это мои злодеяния, мои грехи. Слезы и кровь, по моей вине пролитые, вот здесь, в горле, комом стоят.

Старик проворно вскочил на ноги. Отчаянный крик с хрипом вырвался из его горла, ударил мне в уши.

— Эй, люди! — истошно воззвал он. — Вы сил не щадите, к сроку, а то и до срока, хвалу, награды, состояние получить хотите. Душой поступаетесь, несчастные, ненасытные, безумные! Вы лучше за великие грехи и малые ваши прегрешения в свой срок кару получить старайтесь! Торопитесь, не опоздайте! Коли опоздаете — придет ваш час, и эти железные ворота не откроются вам. Самигулла не пустит...

И, как давеча, Ярулла с размаху уселся на землю,

подолом длинной рубахи вытер лоб. Обо мне будто и забыл. Я пошел своей дорогой.

...В один из зимних буранных дней Ярулла исчез. Обыскали всю округу, но так и не нашли. Только ранней весной в соседней деревне возле кладбищенской ограды появился из-под снега почерневший труп старика. Там же, под оградой, его и зарыли.

БОЯРСКИЕ ДЕТИ

Испокон веков, с незапамятных времен, в наш аул к тем, кто держит дойных кобылиц, приезжали разные важные особы. Кумыс пили, мясо ели. И сейчас так. Наезжают с женами, с отпрысками своими и целое лето лежат-полеживают в свое удовольствие и щетинкой не шевельнут. Наши их «боярами» прозвали. А кто же они еще, как не бояре? Выспятся досыта, кумыса напьются, так что животы трещат, умнут мяса большими кусками, до отвала, и всем стадом в лес или к холмам утянутся. Да и там, на выгуле, не хуже выламываются. Сидят только на расстеленном покрывале, доскаты, наша трава ихнюю... тело колет, платье пачкает. Женщины над головой шатер таскают, солнце наше им тоже чем-то не угодило. А чуть дождь, все, как суслики в норе, сидят, высунут голову за ворота, покрутят ею вправо-влево и нырк обратно. У меня с этими боярами свои счета. Обедаем на хике, чуть привалюсь, раскинусь повольготнее, отец: «Сядь прямо. Боярином стал?» Чуть с утра засплюсь подольше, Старшая Мать: «Все спит и спит, и откуда к нам этот боярин пожаловал?» Чуть помешкаю поручение исполнить, Самый Старший брат Муртаза: «Еле шевелится — боярин, да и только». Поменьше был, этим «боярином» вконец было извели меня. Потом малость поутихли. Может, и у самого боярства поубавилось.

У многих в ауле есть свои собственные бояре, почти, каждое лето к ним приезжают. У нас же своих бояр никогда не было. Наверное, независимый нрав не позволял отцу у кого-то в прислужниках ходить. Да и так просто — не с руки было ему для чужого удовольствия утруждать себя. А может, и мы сами, и дом наш не нравились этим боярам. Короче, своих бояр у нас не было. Нет, так нам на здоровье. Я и чужими боярами сыт.

Повязали мы красные галстуки, поклялись, что ради победы мировой революции жизни не пощадим — и злость к этим боярам у нас, у мальчишек, разгорелась еще пуще. Мы теперь хорошо знаем: раньше всякие разные буржуи, бояре да вельможи на шее народа сидели, жизнь его, как кость, обгрызали. А разве эти, городские бояре, не то же самое: знай себе полеживают да бока наедают. Нам все это один мальчик по имени Сафаргали растолковал.

У нас теперь два вожака: на улице — Шагидулла, в пионерах — Сафаргали. Шагидулла иногда пробует задаться с ним, но тот берет один конец красного галстука в руку и говорит: «Попробуй тронь, если у тебя две головы...» Голова у Шагидуллы, конечно, отчаянная, но все-таки не две же их, одна только. Сафаргали на Губернаторской живет, как раз напротив Асхата. Отец его, как и у Валетдина, с германской войны не вернулся. Живут они вдвоем с матерью. До того, как стать пионерским вожаком, он любил понуть, поплакаться, набивался на жалость. Стреляем ли из лука, он стрельнет мимо и тут же занет: «Такая уж моя доля, была бы удача, и отец бы с германской вернулся». Жребий ли тянем перед игрой, достанется ему конец палки, он чуть не в слезы: «Я бы не Сафаргали был, если бы мне удача выпала!» В прошлом году, когда мы с ним на Ак-Манае ловили рыбу, ему на крючок какой-то заблудший здоровенный судак попался. Весь трясаясь от спешки и нетерпения, Сафаргали подтянул рыбу к берегу. Уж и спина судачья наполовину из воды выступила. Знатная была рыбина. Если не в размах рук длиной, то в локоть точно. Я уже ждал, когда Сафаргали изловчится и подцепит это чудище озерное за жабры, как он вдруг бултыхнулся в воду, брюхом прямо судаку на спину. Прыгнула и рыба. Прыгнула, оборвала леску и ушла в глубь озера. Сафаргали, утопив руки по самые плечи в воде, еще побарахтался в камышах. Потом выбрался на берег и, плача, стал причитать: «Будь у меня счастье, немец ядра не отливал бы, германскую войну не затевал бы, в отца моего не стрелял бы... Когда бы совсем не клюнул, я и не охнул бы. О, судак! Зачем тебе было обнадеживать меня? Неужто хоть капли сострадания не нашлось в тебе? Имел бы ты жалость, и отца моего царь не забрал бы, винтовки ему не давал бы, и сейчас он на чужбине не лежал бы...»

Валетдин и Сафаргали — двоюродные братья. У них и жалобы-стенания одинаковы, всю душу прожгут да наизнанку вывернут. И мне уже не до рыбалки стало.

— Пойдем, Сафаргали, на Былау-озеро, там карась отменно клюет,— нерешительно предложил я.

— Наше солнце повсюду неласково,— вздохнул он.

И вот этот самый Сафаргали, только он пионерским вожаком стал, на глазах изменился. Куда там! Ступает чинно, уверенно, слово молвит обдуманно, умеренно. Не только сам подрос, даже шея у него вытянулась. Чего мы не видим, он сразу заметит, чего мы не знаем, он давно знает; книжки читает, о каких мы и слыхом не слыхивали. Как в чужих краях детям тяжело живется, как богатеи бедных притесняют, обстоятельно расскажет, подробно, будто сам там был. Гнев наш лют, ненависть к этим далеким, у земли на закорках, боярам, баям и буржуям беспощадна. Впрочем, и здешних бояр мы нашим рабоче-крестьянским гневом не обделяем. По мере сил боярское терпенье треплем, покой бережим. Как стемнеет, в стену дома, где они спят, камни швыряем, днем, когда они по улице идут, собак науськиваем. Но покуда еще с боярскими детьми в схватке грудью не сходились. А схватиться охота есть. И час возмездия врагу настал скоро.

К Заовражному Минулле новые бояре приехали: муж с женой и дети — мальчик, как я, и девочка, помладше меня. Мальчик в синих куцах, по колено, штанах разгуливает, а на девочке платье в цветочках, до колен не достает. Мальчика мы Цаплей прозвали, а девочку Стрекозой. Ноги у малого и впрямь тощие, как у цапли. А девчонка все время прыгает. И идет — прыгает, и бежит — прыгает, и стоит — возьмет да подскочит.

Каждое утро спозаранок они берут корзинки и по Губернаторской отправляются к холмам, возвращаются же только к вечеру. Цапля со Стрекозой от родителей ни на пядь не отстают. Стрекоза пусть себе. Нам Цапля нужен. Поначалу мы за избу Сафаргали или Асхата прятались и оттуда срамили их:

— Бояр богатеет — салом потеет!

— Эй, боярин погорелый, на штаны-то ситца не хватило?

— Эй, бояре сушеные-вяленые, на холмах ветром объедаетесь? Весь наш ветер съели, а все тощие!

Наши классовые враги почему-то все четверо были крайне худосочны.

— Они много людей извели, вот у них к костям сало и не пристаёт,— объяснил Асхат это явление.

— Да и ты жиром не исходишь,— заметил Сафаргали.

— Мне еды не хватает. Если бы я, как эти бояре, обжирался, у меня давно бы жир на животе выступил.

Как говорится, пес лает, волк гуляет. Они знай себе ходят, на нас и не оглянутся. Руки у нас все сильнее чешутся, кулаки все крепче сжимаются.

Теперь уже мы — то есть Сафаргали, Асхат и я — прячемся в каменных россыпях возле Малого Оврага и оттуда следим за ними. Бояре частенько мимо тех камней домой идут. Сегодня не попадутся, так завтра, не завтра, так... И попались! Случилось это, когда земляника поспевала. В нашем Малом Овраге земляники видимо-невидимо, вповалку вызревает. Местами сплошь красно, будто красный чекмень расстелили. Нападешь на такое место — не оторвешься, головы не всколыхнешь.

День уже клонился к вечеру, когда с неизменными своими корзинками вышли эти к Малому Оврагу. Боярин с боярыней по тропке дальше прошли, боярчонок же с девчонкой сбежали на склон и принялись ягоды собирать. Поначалу они хотели наскоро, мимоходом полакомиться. Как же! Земляничный омуток коли ухватит, не скоро отпустит. Стрекоза на корточках присела, а Цапля и весь на траве разлегся. Спешат, будто не успеют, ягоды в рот так и сыплют.

— Э-гей, дети! Идемте! — уже издалека крикнул отец.

— Сейчас, мы быстр-ро! — протрещала Стрекоза.

Но быстро оторваться от ягод им было не вмоготу. Спелая земляника привораживать искусница.

Старшие бояре, перевалив гребень, скрылись из виду. Эти же, как два заблудившихся ягненка, остались в овраге. День настал, час пробил! Стрекоза с Цаплей и не почуяли, как мы трое с трех сторон окружили их. Опыт «Германской войны» пригодился нам.

— Ага, оскребки боярские, попались! — сказал Сафаргали и быстро приказал мне: — Пупок! Ты Стрекозу за крылышки придержи, чтобы родителям не донесла, а мы эту Цаплю общипаем.

Мальчик и девочка, белые, как белая тряпка, дрожа, стояли перед нами. Хмурые карие глаза Цапли глянули на меня, будто заворожили. Нет, ударить его у меня духу не хватает. Стрекоза взвизгнула и, мелко притопывая, пустилась в рев. Ее противный плач вернул мне решимость. Я тут же ухватил ее за тонкую, как стебелек, руку. Однако что такое мужская честь, мы знаем, джигитская учтивость всегда при нас, девчонка не то что тумака, щелчка не получит. Хоть и боярская дочка. Слезы же ее меня мало трогают. Глаза, словно у кошки, зеленые. Жалости не стоят. Но вот глаза мальчика...

— Ты — боярин, который кровь человеческую пил? — крикнул Сафаргали. — Коли боярин — на! Получи свое! — Он ткнул Цаплю в грудь. Асхат тоже добавил разок.

Мальчик не заплакал, и бежать вроде не замышляет, и пощады не стал просить, только начал тихо оправдываться:

— Мы... Я не боярин, ребята. Ни капли не боярин.

— Не ты, так отец твой боярин, мать — боярыня, дед — бояр старый и бабка — бояриха! А ты боярского пса боярский щенок! — пытался распалить себя Сафаргали. Но только встретился с мальчиком взглядом, сразу сник.

— Ненормальный какой-то боярин, никак на него не разозлишься, — удивился Асхат.

— Если перед каждым слюнявым боярином, перед каждым дохлым буржуем теряться, какие же из нас борцы выйдут! Борцы к врагам должны быть безжалостны, беспощадны. Вот как я.

Сафаргали еще раз ударил Цаплю и со всей силы толкнул его в шею. Тот упал лицом вниз. Сафаргали испытующе посмотрел на Асхата и меня. Не отставать же от борца, я тоже, не выпуская руки Стрекозы, подошел и пнул лежащего лицом вниз Цаплю. Пнул, и по телу моему прошли мурашки...

То было, наверное, в моей жизни впервые, когда увязавшись за другими, воле и желанию вопреки, я совершил что-то постыдное, противное совести. И посейчас, вспомню — и правую ногу сводит. Но и тот пинок, боюсь, в моей жизни не был единственным. Оттого-то порой нет-нет и кольнет в сердце...

Больше мы его не тронули. Он медленно поднял голову. Из раны на подбородке текла кровь. Видно, падая, он ударился об острый камень. Зажал подбородок ладонью. И тут же в горсть натекала кровь. Но и вид крови его, кажется, не испугал. Все так же молча он встал, стряхнул с штанов пыль, которой не было... От жалости к раненому брату исплакавшаяся Стрекоза еще пуще забилась в слезах. Я отпустил ее.

— Не плачь, маленькая, совсем не больно. Водой смыть, и все пройдет,— сказал мальчик.

На нас он и не посмотрел. Взял сестренку за руку и не спеша пошел прочь.

Мы как стояли растерянные, так и остались стоять. Ладно: поколотить мы поколотили. А вот кто победил?.. Мальчик и девочка взошли на холм, перевалили гребень и пропали, будто зарылись в сумерки. Они скрылись из глаз. А в памяти остались.

...Больше эти бояре в наш аул не приезжали. Год шел за годом. Заделался и я городским жителем. Отпустил волосы, стал писать стихи, даже печататься начал. Когда моя первая книжка ушла в набор, я уже через день прибежал в типографию. Мне показали:

— Вон кто твою книгу набирает.

Я подошел к наборщику, встал рядом. Он не заметил меня. Я шею вытянул, смотрю. Взглядом за его руками поспеть не могу. Тяжелые блестящие буквы нижат он в слова, которые сочинил я. Пальцы быстры, но берсжны, словно не свинцовые буквы, а драгоценные камни выбирают они. Много, наверное, времени прошло, пока я очнулся и сказал:

— Здравствуйте!

Он обернулся, взглянул на меня. По бледному желтоватому лицу скользнуло что-то похожее на улыбку. Но большие невеселые глаза остались безучастными. Он кивнул молча. Я тут же отвернулся. Да, несомненно, это был он — боярин Минуллы, отец Цапли и Стрекозы.

Тот, кого мы называли «боярином Минуллы», с детства работал в типографии, нажил тяжелую чахотку. В тот год ему стало особенно плохо, и он, в надежде, что кумыс исцелит его, приехал к нам в аул. Вот чьих детей мы жестоко обидели тогда!

Я не заговорил с ним. Совесть не позволила.

...Через четыре года случится еще одна встреча. И такие же большие карие задумчивые глаза взглянут на меня. Буду я между сном и явью, бытием и смертью... Колышется горизонт, качается земля, на которой я лежу. Нет, это не земля качается, это меня на носилках несут. Худой, насквозь промокший от пота солдат через силу несет меня. Поперек подбородка — косой шрам. Я не могу оторвать от него глаз. Прежде шрама бывает рана, из раны течет кровь. Из этой раны кровь пролилась далеко-далеко, на серых камнях Малого Оврага осталась. Дожди, наверное, вымыли ее, солнце выжгло. Можно забыть, успокоиться... А если она, эта кровь, через годы вдруг капнет на твое сердце каплей огня? Хотя прямой твоей вины вроде бы и нет. А он — он-то разве был виноват? В каждой капле крови, на землю упавшей, кто-то повинен — с той или с другой стороны. Но чтобы никто не виновен, не бывает.

Да, я узнал его. Узнал, и даже раны мои поутихли. будто, боль отпустила тело...

НАСЛЕДНИК КАВКАЗСКОГО ЦАРЯ

На самом деле забросил вихрь из полуденной страны моего друга Асхата или нет, нам неизвестно. А вот что Исабек-Сансак из дальних стран пришел, истинная правда. «Ветер судьбы меня сюда забросил», — говорит он. То ли пятнадцать, то ли двадцать лет назад появился Исабек в нашем ауле. Был он в черном узком зияльне (странный этот зияльн — в складках на груди белые палочки с палец длиной понатыканы), на голове круглая, черного курчавого меха шапка, на ногах узкие черные сапоги без каблуков. «Кто же ты такой будешь, удалец-мужчина?» — спросили у него. «Я кавказского царя несчастный сын», — отвечал он. Сморгивая безутешные слезы, поведал он о своем горе. И каждая слеза прожигала землю, а каждое слово — сердца внимавших ему.

...В один из дней в желтые рассветные сумерки напал турецкий султан на владения кавказского царя. Царские дворцы в угли обратил, самого царя позорной петлей удавил, сорок его жен осрамил, сорок дочерей полонил, сорок сыновей в прах положил. Сорок первый сын, Исабек, успел вскочить на своего крылатого аргамака и, перескакивая через стремнины, умчался от турок. Когда через последнюю пропасть перелетали, рухнул обесси-

ленный конь в водопад, но ветер полета докинул всадника до другого берега. Вот так только и спасся сорок первый наследник кавказского царя.

Слушая этот рассказ, люди тогда вместе с Исабеком сильно плакали. Да и как не плакать, когда с кавказским царством такая беда случилась. Типтяры наши, по обычаю, царственного гостя из избы в избу водили, уважали-ублажали, горе его делили. Но вышел срок, иссякла сила гостеприимства, и спросили они у гостя: «Какое у тебя умение есть? Чему горазд?» — «Верхом скакать горазд. А еще жечь ковать, лудить, паять могу». — «Верхом скакать мы и сами горазды, — сказали наши. — Так что тебе ковать, лудить, паять. Знатное ремесло». Вот с тех пор он и кует. Сансак-агай мне и таинственным кажется, и интересным, и опасным. И друг Асхат такой же. В людях, что из другого мира пришли, всегда что-то тревожное есть. И тоска какая-то.

Жестянщик Исабек от нас через дорогу наискосок живет. День-деньской в своем глинобитном домишке — динь-дон, дзинь-дзинь — или ведро чинит, или к половнику ручку клепают, или к кумгану дно ладит. Потому его и прозвали Сансак. Значит: дзинь-дзинь. Зачастую и имени не говорят — Сансак, и все. Пашню не пашет, сена не косит, жниву не жнет. Даже Муса-мулла пашет, а он нет. Есть у Сансака жена Алифа, толстая и неряшливая, намного его моложе. К тому же и ленивая, прямо на удивление. Даже картошку, что возле завалинки растет, за все лето ни разу не прополет. А по осени начинаются стенания: «Коли нет счастья, так его и нет... Даже на картошку эту благодати нету...» Когда ни глянешь, сидит на камне возле порога и смолу жуёт. Или будто латает что-то. Алифа — наша, кляшевская, старухи Гафифы дочка. Это они самые и есть, которые в лес по борщевник пошли и там заспорили, кто больше. Встали мать с дочкой, ростом померялись — да так, затылок к затылку, и подняли крик: мать кричит: «Я больше!» Дочка: «Я длинней!» Отсюда и пошло: «Мама больше, я длинней».

У Алифы через слово на другое причитания сыпятся: «Отцветают, увядают мои молодые годочки, зазря проходят с этим седобородым оборванцем, кавказского царя последышем! За десять лет никакого добра не нажил, одной плаксой-девчонкой только и обзавелся. Да и та моими трудами!» Но так она поет, покуда Исы побли-



зости нет. При муже не больно-то голосит. Все-таки мужа за мужа почитает. Порой и подольстится: «Вот ведь он какой, мой оста¹! У него в руках железо и поет, и в пляс пускается!» А уж когда праздники приходят и наденет Исабек свой узкий в поясе, черный зиян с

¹ Оста — мастер.

белыми палочками на груди, круглую курчавого меха шапку и черные, без каблуков сапоги и выйдет во двор, уж тут Алифа совсем от восторга заходится: «Вот он, горный мой орел! Ну кто скажет, что не из царского рода? Ну, у кого такой муж есть, похвальбушки, никчемушки, бестолочь? И в бороде ни седины, только серебро по ней пробежало...» Нарочно кричит, чтобы уши соседки Салимы слышали. Дескать, у работающей языкастой Салимы муж ростом не вышел. Есть Алифе на чем отыграться. И то правда, в праздник во всем ауле не найдешь другого такого мужчины ладного да статного, как Исабек. Только Марагим-гармонист ему под стать.

Есть у Исы с Алифой грудная девочка по имени Насима. Она в люльке своей лежит — или плачет, или спит. Кроме Валетдиновой избушки другой мой стан — лачужка Сансака. Как лето, все дни я здесь сижу, стрелы себе лажу. Жесть готова, инструмент под рукой. Исабек меня за равного считает, советы со мной держит. Если что возьму, он не сердится. А богатствам здесь и счета нет. И латунь есть, и железо, и медь, и олово, и чугун, и свинец — чего душа ни пожелает, все есть. Мастери что хочешь. Разорется Насима, а Алифа на камне сидит, все никак смолу свою не одолеет, так зыбку, чтоб нам мастера от дела не отрывать, я качаю. Но порой унять Насиму мне бывает не по силам. Тогда, отложив работу, к крикунье подходит сам Сансак. Ласковым, идущим откуда-то со дна груди голосом, он, потчужа разными вкусными обещаниями, баюкает ее:

Алли-балли, Насима,
Ты как звездочка сама.
Вот тебе изюм и пряник,
Вот медовая хурма.
Ты соперница луны.
Вот калач, а вот блины,
Вот тебе и с маслом каша,
Слаще каши только сны,
Алли-балли, Насима...

Лакомые посулы один за другим тянутся. Нет таких одежд, в какие бы не вырядилась Насима, нет таких яств, каких бы не отведала Насима, нет шербетов, каких бы Насима не пригубила. Даже у меня полон рот слюны нагнало. А Исабек свое поет. И богатство, и щедрость его по-царски безграничны. Только ненасытной Насиме все мало. Знай орет.

Мне вдруг становится страшно. А вот выскочит девочка из зыбки и потребует все, что отец наобещал. Тогда что? Да хоть что-то одно потребует — пропадем! Я знаю, в этом доме от яств полки не гнутся. Ладно еще Насима так просто, без слов орет. Когда же унять ее совсем уже невмочь, Исабек берет твердую блестящую ржаную краюшку, разжевывает ее и, завернув в тряпку, сует в разинутый рот. Та всхлипывает раза два и затихает.

Когда Алифа с ребенком в охапке уходит слоняться по аулу, мы солидной мужской беседой наслаждаемся, сокровенным делимся. Только всякие досужие посетители беседе мешают. Вот сейчас мы вдвоем с глазу на глаз остались. Нет, уже кто-то припожаловал. А!.. Давешний мулла-мусафир¹. Полой чапана за сучок в ограде зацепился. Исабек пока что ворот себе не завел, вместо ворот сучкастая жердина поперек воткнута, или подлазить под нее нужно, или сверху перелезть. Этот за сучок зацепившийся мулла в прошлую пятницу с медным кумганом приходил.

— Исабек! — сказал он тогда. — Через неделю загляну, вставь-ка новое донышко этому кумгану. Выбросить рука не поднимается. От отца моего, хаджи² Исангула, память осталась.

— Ладно, хазрет, исполню, — сказал Исабек, забирая кумган. Бросил в кучу железного хлама в углу, а потом на тот кумган и не глянул даже.

— Исабек-агай! Тот мулла идет, — поспешил я с новостью.

— Какой мулла?

— Медного кумгана хозяин.

Мусафир и от сучка еще не отцепился, как Исабек, метнувшись с места, выхватил кумган из кучи, снова на свой чурбан уселся и одним ударом молотка выбил худое дно. Тут, прокашлявшись на пороге, в избу вошел мусафир.

— Ассалям-агалеюкум, Исабек-оста!

— Вагалайкум-салам, хазрет. Вот сюда, в красный угол, пожалуй. Видать, ходишь, как говорится, нас хвалишь: только было за кумган взялся, и сам явился. Руки все никак не доходили, будь они неладны...

¹ М у с а ф и р — бродячий мулла, без прихода.

² Х а д ж и — человек, совершивший паломничество в Мекку.

— Вот как... — сказал мусафир, но в красный угол не прошел. — Когда же завершить думаешь?

— Знатная вещь, хазрет, не простая, тут тят-ляп не сделаешь. Сначала нужно дно припаять, потом залудить, потом зачистить, потом блеск навести...

— И все же, Исабек, на сколько, говоришь, затянется?

— Завтра к этому часу как есть отолью. И на новый меняться не захочешь.

— Столько ждать не могу. Завтра в ауле Сукраклы большие похороны будут, подводу за мной прислали.

— Воля твоя, хазрет. На, забирай свой кумган.

— Уж не шутишь ли, как тебя там... Иса... Исабек... Как это я в моем сани с кумганом без дна ходить буду?

— И на это, хазрет, твоя воля.

— Твоя воля... твоя воля... Жулик, мошенник! Ладно, на первый раз не прокляну пока, чтоб руки у тебя отсохли, ноги б твои с корнем вырвать! — вскипел вдруг мусафир. — Приблуда окаянная!

— А что это значит — приблуда, хазрет? Мулла без прихода, бродяга без пристанища, наверное? Богу спасибо, есть у меня крыша над головой, подушка под головой.

— Тьфу, поганец! — щедрый плевок наследника хаджи Исангула шлепнулся на пол, и он вышел.

— Не плюйся, не плюйся, не то на твоём же лице твой плевок повиснет, мулла барахольный! — такими словами проводил мусафира хозяин. Ужас, какой он горячий, Сансак. Коли разойдется, так от Алифы только перья летят. Но та и ухом не ведет. «Хватит, шыж-быж...» — говорит она лениво. Шыж-быж — это если раскаленное шило в холодную воду сунуть. Дескать, горячий Исабек — раскаленное шило, а она, жена, — студёная вода, и от Исабека одно только шипение остается — шыж-быж. А вот сколько бы плакса Насима ни изводила, он не сердится. У Сансака, когда он закипает, на лбу кожа начинает дергаться. Как мусафир плюнул, раза два дернуло. Но вроде ничего. Отпустило. Не то ссора далеко бы зашла.

Однако то, что Исабек со служителем веры так круто обошелся, встревожило меня. А вдруг проклянет? И кара с Исабеком заодно и на меня падет? Мы долго сидели молча.

— А благочинного обругать — не грех разве? — спросил я робко.

Сансак вертел в руках медный кумган.

— Ладно, с худого борова хоть щетинки щепоть, чистая медь, на что-нибудь сгодится.

Я опять свое:

— А если проклянет, что делать будем? Он же возле бога ходит. И род у него такой...

— Ему еще, нечисти, возле бога ходить! — с издевкой сказал Исабек. — Тот конокрад Исангул такой же хаджи был, как мой отец — владыка Кавказа...

Ничего себе новости! И не боится ведь! И Исабек как-то отдалился от меня. Что говорит, уму непостижимо. Хаджи Исангула, муллу-мусафира и даже отца своего, царя кавказского, одним махом повалил.

А он без всякой жалости продолжал уличать:

— Да и этот тоже — съездил разок в Бухару с товаром и сразу муллой стал. Чапан, видишь, надел, чалмой обмотался.

Как-то и день померк. Я, стиснув зубы, наконец-ник для своей стрелы кую. Исабек зашвырнул медный кумган обратно в угол и принялся точить большие ножницы, которыми он режет жесть. Не спорится что-то дело. И я по пальцу тюкнул разок. А сам все одно думаю: почему он своего отца, самого кавказского царя, с конокрадом равняет?

Сансак отложил свою работу. Вздохнул. Поднял голову и сквозь тусклое окошко посмотрел куда-то вдаль. И я туда же посмотрел. Бледные облака плыли в высоком небе. Исабек тихо запел. Уже и раньше бывало, глухими ночами доносилась откуда-то песня, похожая на эту. Мы всем домом удивлялись: что за песня, кто поет? Вот, значит, кто пел:

Ползут облака, укрывая Кавказа вершины.

А я повторяю: прости меня, родина-мать!

Мне только бы, только вернуться с далекой чужбины,

Наплакаться вдосталь и серые камни обнять.

Вот тебе и Сансак! Вот какую он песню поет!.. Еле держусь, чтоб не заплакать, так его жалко.

— По кавказскому царству своему тоскуешь, Исабек-агай? — спрашиваю я.

Он молчит. Я пытаюсь утешить его:

— Отца твоего, царя кавказского, которого позор-

ной петлей удавили, и сорок твоих матерей-цариц, которых осрамили, и сорок твоих сестер-царевен, которых полонили, и сорок твоих братьев-царевичей, которых в прах положили, мне жалко очень. Пусть обителью им будет рай. Да что делать? Вослед усопшему в могилу не войдешь... У каждого своя могила.. Живые терпеть должны...— Я все, что от людей слышал, разом выложил.

— Эх ты, маленький проповедник! — сказал он, погладив меня по голове. И снова Исабек стал близким мне человеком. Посмотрел я в его полные слез глаза, и из моих тоже слезы хлынули. Две из них на кусок белой жести прямо передо мной упали — дзинь-дзинь, сан-сак! Может, и не звякнули. Но мне так послышалось. Так, в печали, думая о кровавых бедах кавказского царства, сидели мы и плакали.

— Пусть другие люди какие угодно сказки про меня рассказывают, мне все равно. А вот твоих безвинных глаз стыжусь. Нельзя эти глаза обманывать.

Опять чудно заговорил Исабек. Безвинные, говорит. Знал бы, как я с Шайхаттаром в бане в карты шлепаю.

— Не царевич я, просто беглец,— взял и отрезал Сансак.

— Конечно, беглец, коли бегом спасся,— уточнил я. Но такого уточнения он не принял.

— Беглец я! Роду, обычаю изменивший отступник я. И я же милосердия и благого разума слуга. Вот так душа надвое разделилась. И всю жизнь две половинки, друг друга кляня, в одной груди теснятся. Ни на этом свете, ни на том не примирятся они и не соединятся. Потому, что одна из них в рыбу обратилась, другая — в птицу. А кавказское царство — всего лишь красивый страшный сон. Да и этот сон не я, другие за меня видели — тогда еще. А поутру встали, рассказали свой сон и на меня истолковали. Что ж, принял я сон, отказываться не стал. А со временем и сам поверил. И пошла страшная сказка про кавказское царство!..

— Вот тебе и три пуговицы!

Только я так прошептал, как с орущей Насимой в руках вернулась Алифа. Рассказ, как и душа Исабека, остался рассеченным надвое.

Только лет через шесть удалось его связать снова:

Мы всем аулом вступили в артель. И, когда для колхозного табуна ночного табунщика выбирали, вспомнил

кто-то памятный давние-давние слова Исабека «Верхом скакать горазд» и сказал: «Ямагат! У нас же Исабек-наездник есть! Честный человек, надежный. Давайте это дело ему поручим! А днем, коли руки дойдут, пусть по жести стучит. В нашем хозяйстве и это ремесло нужно». Народ тут же и согласился. А того больше согласен был сам Исабек.

Вот так, когда уже усы и бороду выбелила седина, кавказский наездник снова сел на коня. В первый вечер он ездовую лошадь привел под уздцы, бросил поводья на плетень и вошел в дом. И вышел Исабек весь, с головы до ног, одетый в ту свою красивую кавказскую одежду. Вставил левую ногу в стремя и легко вскочил в седло. Не забыл, значит. Да и все как надо. С длинным, в серебряных ножнах кинжалом в руках вышла Алифа. Кинжал! Такого мы в лачужке Исабека отродясь не видели! Да мало ли чего мы не видели?

— Эй, отец! Отец Насимы! — воззвала Алифа, стараясь с невысокого своего порога заглянуть за плетень соседки Салимы. — Ты же серебряный свой кинжал чуть не забыл.

— Давай, женушка, очень кстати...

Длинный, в серебряных ножнах кинжал всаднику пришелся в самый раз. Нет, такого красивого наездника в жизни больше не увидишь! Разве только на картинке. Исабек верхом на лошади сидит, Алифа на земле стоит, и оба в блаженстве тают. Насима на камне стоит, в ладоши хлопает. Вот когда на маленьком Исабековом дворе счастье через плетень даже выплеснулось. Всю жизнь человек, сгорбившись, по жести тюкал, а тут взял и выпрямился. Соседи, которые до этого на Сансака немного свысока, немного с насмешкой, немного жалеючи смотрели, тут так и обомлели. Кое-кто даже языком прищелкнул: «Вот он какой, наш сосед!» С этого часа и до смерти своей Исабек с седла, можно сказать, не слезал.

Два полных лета я помогал Исабеку пасти табун. Самая отрада приходит, когда на тугаях по берегам Демы уже прошел сенокос. Ночи еще не холодные. А мухи, комары, оводы и слепни уже не донимают. Зеленая мягкая отава в лошадиной пасти сама тает. Демской воде уже осенний вкус вернулся. Пей — не напьешься. В такие вечера загоним мы табун на излучины Барлыбай или Капкалы и на самом берегу разводим костер. Чайник на таганке висит, в золе картошка печется. У нас в любом

месте свой готовый таганок есть. Еще до сумерек Исабек сгонит в табун разбредшихся лошадей, осмотрит каждую, о жите-быте поговорит: «Да, Рыжий, погоняли тебя сегодня... А ты, Чалый, хитришь по-прежнему, хребта себе не ломаешь... А старый Воронок отдыхал сегодня...» И тех, кто сегодня лошадей запрягал, никого не забудет: кого похвалит, кого обругает. Малых жеребят по шее треплет, по мягкой гриве гладит, и каждой лошадиной душе, никого не минуя, доброе слово скажет. Ни разу за два лета я не слышал, чтобы горячий Сансак голос поднял — ни на юного стригунка, ни на табунного жожака. А привычное орудие табунщика — кнут — он и в руки не брал.

И каждый вечер, обойдя табун, узнав его настроение, подходит он к жожаку, жеребцу Дарману, и ведет с ним солидную беседу, как мужчина с мужчиной. Говорит тихо, ничего не слышать. Потом Дарман согласно машет головой. Договорились, значит. Главный табунщик дал жожаку наставления на ночь, а тот принял.

Вот уже и совсем стемнело. Чай всю кипит, в костер льется. Картошка испеклась. Только тогда старший табунщик подходит к очагу.

За два лета все, наверное, истории рассказали, все песни спели. К Исабеку от печали огня особенный голос приходит. Но песни о застланных облаками горах Кавказа и того рассказа о кавказском царстве он ни разу не спел, не рассказал. А просить я не смел.

Однажды ночью, глядя на затухающий костер, он вздохнул.

— Ты, наверное, думаешь, мы возле этого костра вдвоем только сидим. Нет, не двое нас. Вон, по ту сторону огня моя юность стоит, — кивнул он в ночную пустоту. — Совсем будто здесь. Да только между нами тлеет костер. Между нами прожитая жизнь.

К его окольной речи я уже привык. Со своим словом не спешу. Сам конец выведет.

— Лихая юность — бедная юность! Да, занес кинжал — мужество, занесенный кинжал не опустил — тоже мужество.

Это мне уже совсем непонятно. Занес саблю — руби, нацелил ружье — бей. Я уже почти джигитом стал. В чем оно, мужество, разбираюсь.

— А зачем она сюда пришла, твоя юность? — спросил я, подлаживаясь к Исабековой речи.

— С тобой увидеться, познакомиться. Может, другом примешь, может, проклянешь и прогонишь прочь.

Я, не зная, что сказать, молчал.

— И все же познакомлю...

...Мне было двенадцать лет, когда кровник убил моего старшего брата. И старшим мужчиной в доме остался я. Отец еще на турецкой войне пропал. Отомстить предстояло мне. У кровника был сын, мой ровесник, год в год, месяц в месяц со мной родился. Звали его Боташ. В тот день, когда ему семнадцать исполнится, должен я его убить. Таков закон. Самого кровника убьешь — он умер и тем спасся. А вот сына убьешь — всю жизнь истязаться будет. Как истязались мы. В ту пору урюк бело-розовым цветом зацветет, склоны гор застелит, птицы в кустах будут петь, по-весеннему зазвенят реки, и каждая богом созданная тварь будет жить и радоваться, что живет. Вот в эту пору черной ночью вонзится мой кинжал в сердце Боташа. День за днем, месяц за месяцем я свою к нему злобу выхаживал, ненависть разжигал. Кинжал мой, которым волос можно было расщепить, пять лет и пять зим оттачивал. На острие муха сядет — насквозь пронзит. Сначала я годы считал, потом уже дни стал считать. И с каждым днем близится смерть Боташа. Пробьют часы судьбы, и я душу отниму, и Боташ ее отдаст. Кровь кровника в земле рассосется, исполненная месть силы мне даст, дух укрепит.

Боташ был тщедушный мальчик. К тому же колченогий, совсем еще малышом с крыши сакли упал. Но лицом приветлив, нравом весел, духом волен. Был бы он безобразен, сумасбродлив, злобен! Нет, совсем не такой, будто нарочно, будто и в этом чей-то умысел был. Во всех мальчишеских играх его голос всех радостней звучал. Но только я подойду, он вмиг умолкнет и лицо, будто пепел, серым становится. Смерть свою чувствует. А подростком когда, первым в песнях, играх заводилой стал, лучше всех на майданах в бубен бил. Но только я на майдан приду, он оробеет, за людей спрячется, потом, ковыляя, домой уходит. Смерть чувствует.

А порой так виновато глянет, что вся моя решимость пропадает, ненависть тухнет. Но нащупаю я кинжал на поясе, и снова вспыхнет злоба.

Отец Боташа — мой кровник — во время охоты на косулю свалился со скалы и прямо в ад полетел. А тело, завернутое в бурку, уложили поперек седла и привезли

в аул. Боташ вел лошадь под уздцы. Я по дороге на них наткнулся. Боташ опустил голову, отвернулся и прошел мимо. Один мертвец в седле покачивается, другой мертвец с поводьями в руке по тропинке шагает. Этому тоже недолго осталось шагать.

Зацвел урюк, и настал час, которого я ждал пять лет. Но, как на грех, будто опять по чьему-то умыслу, ночь была совсем не такой, какой я ждал. Стояла яркая лунная ночь, которую из конца в конец было видно. Днем Боташ в Нижний Бигим на базар уехал и еще не возвращался. Я вышел из аула и возле дороги, по которой он должен был вернуться, затаился между камней. Уже сама лунная ночь рассудок мутит, есть в ней зелье какое-то. Весь мир будто враз онемел — ни звука... А... вон на уступе горы появился дикий козленок. Матери не видать. Бедняжка, среди ясной ночи, видать, заблудился. Туда глянул, сюда глянул, подал бы голос — волка страшно. Может, совсем близко залег матерый, его подстерегает. Вскочит и зарежет вмиг. Был в этом мире красивый козленок, и нет его... Слава богу, жив-здоровехонек ушел малыш своей дорогой, на сей раз на зверя не нарвался. Но волк все равно где-то затаился... Этот козленок мне душу разбередил, сомнение растравил. А я-то сам который из них? Глупый беспомощный козленок или волк, его подстерегающий? И ответ я должен дать сейчас же. Не то вон — скрип-скрип-скрип — уже арба Боташа скрипит. Сюда ползет. И, словно за ответом, опустил я руку к кинжалу. Но руку свело, не слушается. Арба же все скрип-скрип, на меня накатывается, волы, пофыркивая, на меня уже налезают. Боташ арбу сзади толкает, усталым волам помочь старается. Ему, калеке, наверное, совсем тяжело. В этом месте я тоже всегда своим волам подсобляю. И сейчас показалось, не Боташ это, а я сам арбу подталкиваю. Я здоров, силен. Мне что.

В голове все смешалось: глупый козленок, волк матерый, волы, луна, Боташ, я сам... Все скрипит арба, и Боташ покрикивает, волов подгоняет. Над горой большая яркая луна висит, вконец с ума сводит. Лунный свет на цветах урюка сияет. В такую ли ночь душу губить? В такую ночь душой делиться надо... Кровь убитого брата, в земле рассосавшуюся, на помощь зову. «Месты! Месты! Месты!» — повторяю про себя. Проклятия всего рода в ушах раздаются. За трусость, за измену древнему закону клянут они меня. Снова к кинжалу тянусь. Свело

руку, не отпускает. Опять на тот уступ рядом с луной вышел козленок. Арба Боташа со скрипом протащи­лась мимо.

Вошел мой кровник в аул, и дорога домой, в родную саклю, была отрезана навсегда. Такую измену обычаю искупить нечем. Если бы я, отпустивший кровника, и вернулся, род не принял бы меня. Род проклял бы отступника и изгнал его. И тогда я сам изгнал себя.

С неотмщенной кровью брата на совести бродил я по свету. Жесть и молоток — древнее дедово ремесло — дали мне кусок хлеба. Безродный, бездомный, приобрел я наконец сюда и здесь нашел себе пристанище. Холодным, неуютным поначалу было мое гнездо. Но, сам видишь, под старость и в мой дом удача заглянула. И снова я коня оседлал...

— Вот, мырза¹, этот джигит и стоит сейчас по ту сторону костра,— сказал Исабек и опять кивнул в ночную пустоту. Он ждал ответа. Я промолчал. Да и что мне было сказать?

...Я уехал из аула. Исабек все так же оставался при своих лошадях. Когда я с фронта писал домой, то после безымянных приветов соседям посылал именно привет и Исабеку. В каждом письме из дому был ответный поклон и от него. Но в ту весну, когда уже кончалась война, вместо приветов от Исабека пришла весть о его смерти. В том письме было написано: «Случилось у нас большое горе. Сосед наш Исабек из этого мира на своих, как говорится, ногах ушел. Случилось это в ледоход, когда он пас табун на излучине Капкалы. Один жеребеночек резвился возле берега и упал в воду. Сосед наш прямо меж льдин и бросился, хотел его спасти. Доплыл до жеребенка, схватил. Но выплыть не смогли, так в обнимку и ушли под лед. Видать, того не знал покойный, что в том месте воронок много. Тела его не нашли. И похоронили в могиле зиян, шапку, сапоги, кинжал, которые он с Кавказа привез, и его седло. Людей на похоронах было бес­сче­тно. Алифа пластом лежала, в рыданиях по земле каталась...»

Вот так вместе с демским льдом и уплыл в последнее свое странствие наш сосед Исабек.

Тогда, возле костра, Исабек, прежде чем познакомить меня со своей юностью, сказал: «Может, другом примешь,

¹ Мырза — обращение к младшему мужчине.

может, проклянешь и прогонишь прочь». Я выслушал рассказ, но ответить ничего не смог. Не было у меня права сокровенных чувств и пожизненных его сомнений касаться.

Неотмщенная кровь...

В первые годы войны, когда боль за страдания родины жгла сердце, казалось нам: если бы каждого немца, одетого в военную форму, можно было пять раз убить, пять раз и убили бы. Такая злоба была. Убить! Стреляет когда, ест, спит, молится — убить! Седой ли старик, безусый ли сопляк — убить! Хоть одного убить! Угли этой ненависти они сами в нас вложили, сами в пламя раздули. Не от роду мы такие лютые. Кровавую эту баранту они сами начали. Пусть теперь все это змеиное семя расплаты ждет. Ни одному пощады нет.

Но когда только-только солнце поднимается и два синих глаза, в которых ни жизни, ни надежды, смотрят на тебя, а с листьев, как слеза, сверкая, капает роса и весь мир затих, вот тогда можно ли, наставив дуло человеку прямо в лоб, дернуть за курок? Оказывается, нельзя.

Вот так случилось со мной.

В Яско-Кишиневской операции мы порядком покروшили врага. Облако дыма вперемешку с пылью и гарью висело над полями. Но сутки назад побоище, оторвавшись наконец с этого места, откатилось к берегам Прута. На закате дня командир отведенной на отдых роты показал мне, фронтовому журналисту, поле вчерашней битвы.

— Когда бой, самого боя всего и не оглядишь. А вот отхлынет когда, тогда и видишь, какой был ад крошечный, — сказал он.

Да, это я и по себе знаю. Вон будто половину всего, что немец имел, здесь оставил. Разбитые танки, орудия, минометы, автомашины, трактора... И счета нет. А еще днем раньше расколошматили здесь конно-артиллерийскую дивизию. До сих пор в кукурузе нерасседланные лошади бродят. Несколько из них, завидев нас, молча пристали к нам. И фашистские недобитки тоже, наверное, в этой кукурузе лежат, хоронятся. Но к нам пока не пристают.

Мы послали шофера вперед, а сами взяли двух лошадей под седлами и поехали следом. Мне досталась серая в яблоках кобыла. Увязавшись за нами, пришел к селу и

небольшой косяк опальных коней. На краю села прямо на улице три солдата сидели вокруг большой миски и, черпая кружками, пили молодое вино. Моя кобылка, поравнявшись с этим застольем, головой растолкала сотрапезников и, уткнувшись в миску, с шумом начала дуть вино. Только тут мы поняли, что лошади хотят пить. Мы отвели косяк к небольшой речке. Кони напились, и я поехал дальше. Мне нужно было спешно догнать свою редакцию. Я знал, что остановилась она в Болграде, маленьком городке. Смотрю на карту: если по большаку ехать, то в обход и за двое суток не доберешься. Я вернулся в село и у старого молдаванина спросил прямую дорогу. Старик охотно и весьма толково разъяснил. Я проверил по карте, все сходилось.

— Поберегись, эта дорога безлюдна будет,— сказал он напоследок.— Даст бог, завтра к вечеру там будешь. Только лошади отдых давай.

Уже в сумерки, на судьбу положившись, вышел я в путь. Узкая тропа тянется в бескрайних кукурузных дебрях. На восходе луны проехал я мимо небольшого хуторка. Потом разрушенное еврейское местечко миновал. Все, как старик говорил. А мир как притих, так все тише и тише становится. И чем тише он, тем тревожнее мне. На войне тишина всегда угрозу таит. И лунный свет душу изнуряет. В первый раз я вот так с глазу на глаз с луной остался. Поддайся ее ворожбе — и совсем голову потеряешь. Наверное, в эти годы на поле боя все изведаль: и бешеную ярость и позорный страх. А сегодня совсем что-то новое. Страх тишины крупной дрожью затряс меня. Ладно, кобыла моя бойкой оказалась, от любой тени не шарахается. Женская порода, стойкая, что и говорить. Да и то молодое вино, видать, впрок пошло.

К рассвету начало меня в сон клонить. Ноги затекли, отяжелели, сколько лет я их не вдевал в стремя. А кобылка моя совсем разошлась. Порой даже и рысцы подпустит. Может, думает, что домой в Германию возвращается? Я со сном борюсь. То он верх берет, то я. Лунный свет тает, уплывает, уже рассвет его теснит понемногу. Но и лунный свет так просто не сдается, уходить не хочет. Тоже схватка идет. Свет ночной и свет дневной друг друга затмить-заглотить пытаются. То свет, то сумерки.

Вдруг лошадь, резко вскинув голову, стала. Я чуть не опрокинулся. Передо мной стоит большое красное солн-

це. Знать, в него и уперлись. Солнце покатилося дальше. Шагах в трех от дороги торчит из кукурузы посаженная на тонкую шею всклокоченная рыжая голова. Я мигом вырвал пистолет из кобуры и наставил на узкий, в потках грязного пота лоб. И только тут заметил пару синих глаз под этим лбом. В этих глазах и страха уже нет, одна мольба осталась. Вот сейчас он те самые четыре слова выкрикнет, которые каждый фриц, когда в одиночку в плен сдается, говорит: «Сталин карош, Гитлер капут!» Пожалуй, так и скажет. Коли скажет, валлахи, спущу курок. От трусливого этого заклинания, сказанного, чтобы жизнь вымолить, еще больше омерзения, больше ненависти.

Но этот все молчит. Суда ждет. Он захватчик. Я этой земли хозяин. И приговор мой будет правый. Приговор — он вот здесь, в стволе моего пистолета.

— Мне восемнадцать,— сказал он. Колени дрогнули, он качнулся, но не упал.

...Вдруг я вспомнил один случай. Два года назад восемнадцатилетнего механика-водителя, обвиненного в дезертирстве, расстреляли перед строем бригады. А дезертирство его вот в чем было: когда мы стояли в резерве, сел он на танк и поехал за десять километров в свою деревушку навестить мать. За это его приговорили к смерти. В тот день нацеленные в восемнадцатилетнего паренька автоматы расстреляли и таившиеся в каждом из нас беспечность, разгильдяйство, безответственность. Так я объяснил этот безжалостный приговор. Объяснил — не оправдал. По сути, парнишка никакого вреда не причинил. Только к матери наведалься. А вернулся, расстреляли.

Вот он, весь в фашистской шкуре, вчера еще стрелявший в моих сородичей, стоит передо мной мой кровный враг, мой кровник. Его отцы и братья в пепел обратили села Смоленщины, в шахтах Донбасса тысячи людей живьем засыпали, сквозь реки слез украинских девушек угоняли в германское рабство, седины наших матерей позорили, малых детей в огонь бросали. Кто за все это расплатится? Слышишь ты, рыжая нечисть с синими глазами? С кого взыскать?

Он моих дум не слышит. Иначе в глазах надежда не всплыла бы. И эта надежда мою ярость глушит. С кукурузных листьев капает роса. Лик земной так спокоен, ясен, беспечен. Будто и не было у него прошлого, только

будущее есть. Я вздрогнул. И мир как-то странно вздрогнул.

Я с сердцем затолкнул пистолет обратно в кобуру. — Ступай вперед, — сказал я, показав на дорогу. Он, припадая на ногу, прошел вперед. Больше я ему и слова не сказал, в лицо ему не глянул.

Так мы и на большак вышли. Солнце стояло уже высоко. Возле одного моста повстречались с колонной пленных. Сержанту, командиру конвоя, я передал своего пленного и сказал:

— Вы в пути, хромой, дескать, того-сего не вздумайте...

А почему так сказал, не знаю. Может, подумал, коли так вышло, пусть уж до дому дойдет. А может... Нет, словами здесь не объяснишь.

АК-ИОНДОЗ

В самый канун сабантуя к нашим соседям невесту привезли. Не к тем, что совсем рядышком, соседям по огню, а к тем, что подальше — через одну избу. Довольно справно хозяйствовавший старик Галлям оженил — как у нас говорят, зрячим сделал — своего среднего сына, молчальника Хамзу.

В наших краях свадьбу сначала зимой в доме невесты играют. И только уж летом, в самую красивую пору, на лошадях впристяжку, с колокольчиками, невесту к становью жениха привозят. А покуда, с зимней свадьбы начиная, каждый четверг жених в дом к невесте с ночевкой ездит — «молодую тешить». Через улицу ли всего перейти, тридцать — сорок верст ли ехать — он в дорогу, как положено, готовится: расчесывает, заплетает коню гриву и хвост, лентами украшает, медные бляшки на седле и уздечке песком начищает. И со двора верхом не выезжает — выводит коня под узды, и только уже на улице старается покрасивей на коня вспрыгнуть. Да и там сразу коня с гиканьем в намет не пускает, а некоторое время, горделиво выпятив грудь, смотрит прямо перед собой — кто не видел, дескать, пусть поглядит.

В прошлом году мой Самый Старший брат Муртаза, а в позапрошлом Хажимулла, сын Мансура, вот так же красовались. И даже самый вроде неряха, как в женихи выбьется, чуть не щеголем становится.

А вот как Хамза «молодую тешил», даже не заметили,

Только раз после весенней пахоты и съездил, да и то за старшим братом увязавшись. Ровесникам пристававшим, почему, дескать, он суженую не проведает, не порадует ее, он вроде бы так ответил: «Путь дальний, дорога ненадежна, недолго и с лихим человеком повстречаться. А с таким только встретиться — будущая жена овдовеет, неродившееся дитя — осиротеет. Тамга наложена, небось не заблудится, куда назначено, сама явится».

Мужики у нас вечером на чьей-нибудь завалинке соберутся и сидят, табак курят да лясы точат. Так вот они по-иному рассказывали. Оказывается, невеста сама такое условие поставила: покуда, говорит, от жениха провожатые не приедут, чтоб сам и не показывался. «А почему так сказала, один господь поймет, коли понимания хватит», — сказал давеча пастух Нуретдин.

Но и слово молчальника тоже верным оказалось. Тамга-то выжжена. Так что нигде невеста не плутала, прямиком в жениховский дом вошла. Говорили, что привезли ее издалека — с верховьев Демы. Да ведь и собою — глазам отрада, чуткой душе чудом кажется. Правда, в нашем ауле красивых девушек, пригожих невесток, статных жен тоже мор не выскреб. Хвала господу, здравствуют. Одна Гульбустан, дочь нашего верхнего соседа Мансура, чего стоит. Ростом-статью литая будто. И ходит-то не шагом — то ветром пробежит, то волной проплывет. У нее только походок на пять ладов, говорят. Нынче весной, когда в огороде картошку высаживали, старик Мансур, за что-то рассердившись, прикрикнул на дочь: «Оставь-ка ты эту свою походку «барыня», Гульбустан!» Видно, та забылась и во время работы походкой «барыня» поплыла.

Когда моему Самому Старшему брату Муртазе невесту искали, хотели мы сватов к Гульбустан послать, но передумали. «Красивая жена — свет на округу, работающая жена — мужу подпруга, — решили мы. — Не по нашим будет хоромам очень красивая Гульбустан». Вот и взяли брату Муртазе средней красоты Бику с Тименеевской улицы. Оказалось, брат и сам еще раньше ее приглядел. Мой отец всяких там послов-недотеп посылать не стал, к отцу невесты сам отправился. Пойти-то пошел, да не в духе вернулся. За вечерним чаем он так сказал:

— Невеста мне сразу понравилась. Есть в ней косточка, нашей под стать. Но вот сват со сватьей... Похоже — скупы очень.

— Что, много скота просят? — сказала Старшая Мать.

— Нет, просят немного. Не жадные, говорю, а скупые.

— Хм, с одного раза всего не разглядишь, мы же с ними и не знали покуда.

— Масла на стол выставили четверть катышка, сахар колют мелко, не крупней гороха...

Старшая Мать больше ничего не сказала.

Сноха нам досталась славная, не нахвалимся. А вот сват со сватьей и впрямь один другой скупее...

Не скажу, что таких, как Гульбустан, у нас тысяча, но, если посчитать, все же порядком наберется. Недаром со всей округи самые бойкие джигиты возле нашего аула, как осы вокруг колоды с медом, вьются. Покружатся, покружатся, да так ни с чем и уберутся. Красивых девушек только на своих парней и хватает. И то не на всех. С чего бы иначе Хамзе откуда-то с верховьев Демы себе невесту высватывать?

Но и в нашем ауле, красавицами славном, новая сноха как прибившийся к стаду телят олененок была. Во всем ее облике было нашим глазам что-то непривычное, что-то таинственное — и в лице ее, и в стати-поступи, и во взгляде, и даже в голосе. Словно не на этой земле, не под этим небом она росла, не этим воздухом дышала. И будто не воду, а только шербет пила. Не здешней водой голос ее посеребрен. Немало у нас женщин, что одним взглядом мужчину в плен возьмут, Меджнуном сделают, но такой еще не было. Даже имя ее, дотолé никогда никем не слыханное, — Ак-Йондоз — Белая звездочка. Ясная звездочка, Полуденная звездочка.

Когда я впервые услышал это имя, я невольно взглянул на небо, будто думал увидеть сверкающую среди бела дня ясную звездочку над головой. Не увидел. Но и всю жизнь, стоило донестись ее имени до слуха, я смотрел на небо и искал звезду. Не я один, наверное, хотел найти ее тезку и близнеца.

Наверное, кто-нибудь спросит: «Что же это за небесная порода такая? Хоть опиши ее».

Я на это так скажу: солнце, луну как опишешь? Солнце для каждого только одно, луна — только одна. Так и Ак-Йондоз была — Ак-Йондоз. Только одна.

Когда Ак-Йондоз с соседскими девушками, по обычаю, к роднику свою тропу проторила и с водой возвращалась, вся улица смотрела. И впрямь редкое было зрелище. Оба ведра у молодой снохи, словно два глаза тоскующих, до краев полны. И хоть бы капля выплеснулась! Идет, пятками земли не касается, только носками чуть дотрагивается. Сама еле приметно улыбается. Чему же она улыбается? Не меня ли заметила: вот я, двенадцатилетний мальчишка, замороженный ею, сижу на заборе. Кому же она улыбается? Себе самой? Людям? Или — миру другому? А ведь всмотришься — будто вот-вот она заплачет, расплещет свою улыбку...

...Такую улыбку я потом в жизни только дважды видел. Моя современница, соплеменница моя, ненадолго, будто только по пути забредшая в эту жизнь, однажды взглядом и улыбкой своей стиснет мне сердце... Это в первый раз. А во второй — бессмертная «Джоконда» Леонардо да Винчи, вечная Мона Лиза, улыбнется — и душу мою в небо вскинет, а потом бросит в бездну...

В доме жениха шумное застолье затянулось далеко за полночь. Мой брат Салих и я, два холостяка, легли спать на крыше сарая. Звезд полное небо. Я лежу и смотрю на них. Есть голубые, есть зеленоватые, и нет среди них белой звезды. Наверное, она одна-единственная, и только в свой час восходит она. Может, и не на небе она сейчас, а вошла в женскую плоть и спустилась на землю. Интересно, что бы Асхат сказал про это? Только его сейчас дома нет, он в соседнем ауле стадо пасет.

Понемногу и на Галлямовом дворе суматоха улеглась. И собаки по аулу поутихли. Уже и петухи первой восточкой перекинулись.

Вот тогда-то донеслась с Нижнего конца улицы мелодия гармонь. Поначалу она ласково, протяжно окликнула кого-то, затем горячо, захлебываясь, стала рассказывать о тайных сердечных болях своих, потом рассказ перешел в мольбу, в жаркие заклинания, и вдруг на полуслове мольба оборвалась в неутешном плаче. Потом замолчала гармонь и, будто пытаясь унять дрожь в груди, глубоко вздохнула. Но гармонь эти слезы голоса не



сбили. Немного передохнула она и страстно, высоко, на весь ночной мир, запела о своих мечтах, о будущих радостях...

Я не только слышу эту песню, я уже вижу ее. Взмывая и опускаясь, как полет ласточки, оставляя светящийся след за собою, летит она с Нижнего конца улицы на Верхний.

— Опять в Марагиме бес разыграл, — сквозь сон сказал Салих.

Эх, брат! Зачем ты так говоришь? Какое тут дело бесу? Сказал ты так и снова захрапел. И мелодию, только что вселенную, заворожившую, сиянием улицу осветившую, одним своим словом потушил.

Старшая Мать так бы не сказала. Она сказала бы: «Опять Марагимово одинокое сердце вышло искать кого-то». Тогда я еще не знал, что это такое — полуночное одиночество. Только много лет спустя узнаю я, что того часа тоска — самая глухая тоска. Но все равно, уже сейчас — я всей душой на стороне Марагима. И горе его, и радость не развеялись в ночной пустоте, они до капли в моей душе растворились. И кажется — во всем мироздании сейчас только двое бодрствующих — он да я...

Потом, когда уже серый пепел отгоревших моих годов лег на волосы, я постиг такую истину: люди со всем — с красотой красивого, с безобразием безобразного, со злобой злобного — свыкаются. Так что из-за этой людской привычки красивые и добрые крепко проигрывают, а выигрывают безобразные и злые. Но вот Ак-Йондоз и через месяц, и через год, и во всю жизнь до заката так и не стала привычной, среди нас не затерялась. Ступенькой одной до земли не дошла, всегда чуть повыше стояла. Не от высокомерия или надменности — этого в ней и следа не было. Люди сами ее так приняли, так расценили и никогда уже потом, ни при каких случаях, с этой высоты не снимали.

Поначалу наша улица Серсе на красоту да пригожесть Ак-Йондоз наглядеться не могла, потом трудолюбия, сноровке в работе, ее радушию и приветливости дивилась. Говорили, что если Галлямова сноха нить спрядет или холста наткет — шелку не уступят; лапши нарежет — струны тоньше. А платье наденешь, ею сшитое, посмеивались бабы, будто молодой кожей обтянулась, — так удобно и ловко. Раньше, чтобы Галлямову пегую корову подоить, все четыре ноги ей связывали. А теперь она, как из стада вернется, за снохой по пятам ходит. Это мы сами каждый вечер видим. Даже норовистая Галлямова кобыла божью благодать приняла. По-

ехали однажды в лес по дрова, взяла Ак-Йондоз вожжи из рук мужа и сказала только: «Айда, моя умница, айда, моя прилежница». Услыхала эти слова кобыла, обернулась и кивнула два раза: ладно, дескать, поняла, такой и буду. Сено ли сгребает Ак-Йондоз, рожь ли жнет, люди просто так, безучастно, мимо не пройдут. Стоят, смотрят, о своих трудах позабыв. Потом очнутся, крикнут: «Бог в помощь!» — и уходят, оглядываясь. «И вам так же!» — мужнего слова не дождавшись, откликнется Ак-Йондоз. Хамза, и женившись, остался все таким же неотссанным.

Я еще не знал тогда, что есть такие женщины: птицу на ладонь посадит — птица запоет, на бутон дунет — цветок раскроется. Первой из них и была Ак-Йондоз. Минлекай-енге, мать Шагидуллы, каждый раз говорила: «Эта Ак-Йондоз только по улице пройдет — улица краше становится. Тьфу, тьфу, тьфу! Как бы мой темный глаз ее не сглазил!»

Старик Галлям — человек замкнутый, с соседями не больно знается, живет особняком. С их двора сор на дорогу не ссыпают, секреты не разлетаются. У Минлекай-енге стоит облезлой курице два куста картошки разрыть, вся наша улица полные о том сведения получает. У этих же, хоть лошадь падет, звука не услышишь. Как там, в этом доме, Ак-Йондоз живет, это миру неизвестно.

С того дня, как вошла в дом сноха, прошло торопливое лето, пожелтела, отгрустила осень, большая непочатая зима началась и кончилась, побежала по оврагам талая вода. Вот сколько времени гармонь Марагима голоса не подавала, будто совсем языка лишилась. Сначала люди только удивлялись, а потом пришла смутная обида: вот была привычная утеха — и даже ее отняли. Как же так? Из месяца в месяц, из года в год, если не каждый день, то каждую неделю слушал аул грустные напевы Марагима и печалился. Вдруг — отрезало будто... Говорят, неспроста это. Видно, бедная душа Марагима совсем заблудилась; кого искала — найти отчаялась. Душа надежды лишилась, гармонь — языка. Наверное, так. А может, и не так все это.

Была у меня в детстве одна скверная привычка. Нырну с вечера с головой под одеяло, притворюсь, что сплю, и слушаю, о чем взрослые говорят. Для убедительности даже посапываю время от времени. Ни дать ни взять — соглядатай! Тьфу, нечисть! Как вспомню, и сейчас уши горят. Но и это, собственно, не первое мое пако-

стничество. Первое еще раньше, лет четырех-пяти было.

Повадился я как-то к соседям нашим, к Қаюп-агаю, ходить. Они от нас через дорогу наискосок живут. Что ни день — там торчу. Есть у них две дочери, на выданье девицы — Зайнап и Ямиля. Усядутся они, одна на крыльце, другая перед клетью, и весь день через двор переругиваются.

В один день Зайнап меня к себе зазовет, даст какую-нибудь безделицу, вроде пуговицы, и учит меня всяким словам, чтобы я ими Ямилю обругал. Она мне на ухо шепчет, а я вслед за ней горло деру:

— Ты с горбатым Хабутдином в обнимку лежала! Тебя слюнявый Ханса целовал! Сладко было с криворотым Хансой целоваться? Ты вдобавок Габбасу-дурачку любовное письмо писала! Стыд! Срам! Позор! Чем письма писать, ты лучше своему Габбасу штаны сшей! А то он круглый год без штанов ходит! — так мы обличаем Ямилю во всех ее немыслимых грехах, покуда та не расплачется.

На другой день уже Ямиля подряжает меня. Сунет мне пустой спичечный коробок, и я перебираюсь к клети. Со вчерашним рвением, но теперь уже со слов Ямили, я обличаю Зайнап:

— Ты воровка! Мыло украла! Гребешок украла! Ты веру продала! Ты уразу (пост) не держишь, тайком жрешь! Ты врунья! Поэтому тебя никто не любит! Даже Габбас-дурачок на тебя не посмотрит! Думаешь, своим кривым носом, крюком своим, жениха подцепишь? Недотыкомка! Упырь! Банная кикимора!

Когда дело до кривого носа доходит, Зайнап бежит к Ямиле и вцепляется ей в волосы. Здесь уже считается, что на сегодня я свою работу выполнил.

Так изо дня в день, переходя из рук в руки, делал я свое постыдное дело.

А потом всю жизнь забыть не мог. Как вспомню, вздрагиваю. Вот так в дурном сне вздрогнешь и проснешься. Потом думаешь: «Ладно, хоть только сон». Я тоже порой говорю себе: «Давно это было, ты даже сна от яви еще не отличал». А забыть не могу. Значит, на всю жизнь урок. Распознанная ошибка, даже прегрешение, если за них расплатился, со временем становятся твоими советчиками, требовательными друзьями. А не-

распознанные или сокрытые так и остаются врагами. Я всегда старался помнить об этом. Коли сегодня голосом Зайнап кричать, завтра — голосом Ямили, то и совсем без голоса останешься.

...Я уже давно под одеялом лежу. В избе только две мои матери. Старшая Мать латает что-то, Младшая Мать отскребывает дно казана.

— Слышала, толки всякие по аулу ходят,— сказала Младшая Мать,— про Марагима и Ак-Йондоз.

— Все толки слушать — голову себе дурить... Брось, Вазифа! — отрезала Старшая Мать.

Но Младшая Мать не утерпела, что знала, в себе не удержала:

— Крепко друг друга полюбили, говорят, как Тахир и Зухра...

Старшая Мать вздохнула. Потом тихо промолвила:

— На любви греха нет. Вот баловство без любви — грех... Если бы ты за *нашего* без любви пошла, не знаю, как бы мы с тобой ужились: мир широк, да на двоих тесен бывает... Любовь все оправдывает, все прощает...

— И грех свой, и благодать свою каждый сам несет. Разве я их виню? — сказала Младшая Мать.— Оказывается, Марагим и Ак-Йондоз уже давно друг друга знают. Еще в тот год встретились, когда наши в верховья Дёмы на жатву нанимались. Поэтому Ак-Йондоз за Хамзу и согласилась выйти. Она, говорят, так и сказала: «Не то что за Хамзу, в ад прямиком пойду, лишь бы раз еще Марагима увидеть». Или подумала так.

— Когда бы господу столько знать, сколько иные знают...— усмехнулась Старшая Мать.— На беду, люди больше положенного знают, еще больше того болтают.

— Да и Марагиму уже под тридцать, наверное,— сказала Младшая Мать, якобы завершая разговор.

— Так ведь любовь к стадам и годам не приценивается. Ты и сама это знаешь, Вазифа.

Младшая Мать на двадцать лет моложе моего отца. Кажется, Старшая Мать на это намекнула. Нет, не со зла, так просто, к слову пришлось...

Вот какой секрет я из-под одеяла выведал! Что такое любовь, я уже знаю, на себе испытал. В прошлом году мы с девочкой, с которой на одной парте сидели (имени не скажу), до половины зимы страстью горели, письмами

обменивались. Каждый вечер до самой ночи я ей длинные-длинные письма писал. Песни даже вставлял:

Для тебя гармонь играла.
Серебро-кольцо сверкало.
Хоть утопишься — достану
Со дна озера Байкала!

Наши нарадоваться не могут: «Видно, Пупок по школе крепко скучал, вон как за грамоту взялся. Каким прилежным ребенком оказался! Спины не разгибает, уроки учит!» Старшая Мать иной раз от других отдельно меня чем повкусней угощает. «Ты грамоту постигаешь, тебе надо вкусно есть. Память окрепнет, голова еще лучше работать будет».

Но очень скоро настал мой черный день.

В одно утро (мы письмами утром, перед уроками, обменивались), в одно проклятое утро эта девочка вместо письма вручила мне завернутый в бумагу уголек. Это значило, что перегорела наша любовь, вся вышла, в уголек превратилась. Все кончено! После этого она даже не взглянула на меня. В чем я перед ней провинился, чем не угодил? Уф! Нелегко было любовь удержать, но любви лишиться, оказывается, совсем горько, совсем мучительно. Кто сам не изведal, тот не поймет.

Придя из школы, я положил голову в теплые ладони Старшей Матери и тихо заплакал.

— Чему плачешь, синнай? — спросила она. Я не ответил. Хорошо, хоть ее теплые руки есть, можно положить голову и поплакать. Только по щеке провела — и все мои мучения сняла.

Много раз потом бесприютная голова будет искать пристанища, чтобы избыть тоску... Но Старшая Мать волшебными своими руками уже прикроет тихонько за собой дверь этой жизни и уйдет навсегда...

Так что, каково им, Марагиму и Ак-Йондоз, я по себе знаю. Только похоже, что все это пустыми слухами оказалось. Неделя прошла с разговора моих матерей, месяц прошел, но улица о них молчала. На нашем Верхнем конце только повод дай, даже не повод, зацепку малую, — все косточки перемоют, высмеют да осрамят. «Жена того-то мужу той-то подмигнула... Такой-то сват такую-то

сватью чуть было не соблазнил... А тот, веселый человек, вон к той вдове в окно царапался...» Женщины у сепаратора, мужики в караульной избе, девушки, когда по воду идут, этими сплетнями рты себе полощут. А остро-слова, вроде Асхата, и песенку позабористей сочинят.

Один джигит на вечерних игрищах, когда в пляс пошел, про того незадачливого свата песню спел:

Бирюзовым перстеньком
Сватья поманила.
Под ракиту завлекла,
А прийти забыла.
Надевает сватья шаль,
Кайму золотую.
Попадется, не дай бог,—
Сразу расцелую.

А уж если на женщине или девушке и впрямь грех нешуточный или подозрения в том основательные, у тех раньше, говорят, ворота дегтем мазали, лошадям хвост и гриву подрезали. Теперь уже вроде такого нет. Но стоит кому-то разок в чужих глазах осрамиться да за чей-то язык зацепиться — просто не вырвется. Жерновами перемелют да ситом просеют.

Марагима же и Ак-Йондоз ни ветры, ни наветы не касались. Знать, кто-то шепнул Младшей Матери свою досужую выдумку, шепнул да затих. Ладно, так оно и лучше, забудем...

Но они сами не дали забыть.

Бывает так: глазами увидишь и своим глазам не веришь. Стоишь и маешься. Я тоже, когда увидел, растерялся поначалу, глазам и ушам своим не поверил.

Нечаянным очевидцем же я оказался по милости нашего бродяги — бычка-двухлетки. В тот вечер он опять со стадом не вернулся. В поисках бычка мы, мужчины нашего дома, разбрелись по разным концам луга, где пасется аульское стадо. Уже сумерки давно пали, уже в ночь сгустились, когда я, усталый, припнулся к Девичьей Горе. В самый раз было выкурить табак, щепотку которого я днем у брата Муртазы стянул. Я уселся под одиноким дубом на склоне, достал бумагу и скрутил самокрутку. А спичек не нашел. Поискал-поискал, нет. Выронил где-то. Знать, ворованное мне впрок не пошло.

Только я собрался встать, как что-то большое, странное показалось на склоне горы. Человек — не человек, зверь — не зверь. Что-то непонятное, страшное. Оно мед-

ленно поднималось ко мне. У меня душа в пятки юркнула. Вот-вот совсем выскочит. От моего сердечного стука дерево вздрагивает. Чудище уже разглядеть можно. Две головы у него, две ноги, а рук то ли четыре, то ли шесть, и не сосчитать. На дерево залезть, что ли? Нет, от такого гифрита и на дереве не спасешься. Ну — что будет, то будет, шевелиться нельзя. Думал, бычка-двухлетку ищу, вышло смерть свою. Тот не нашелся, так эта сама меня нашла. Завтра утром встанут ото сна и всем домом, всей семьей будут по мне слезы лить. И та девочка об уголке своим горько пожалеет. Я крепко зажмурился, и перед моими глазами прошли ворота нашего кладбища, месяц на мечети, только что вырытая могила.

— Любишь? — мужским голосом спросила одна голова гифрита.

— Люблю... люблю... — ответила нежным женским голосом другая голова.

— Очень-очень? — допытывалась первая.

— Если бы не очень-очень, как бы я ради этой щепотки счастья такую ношу страданий несла? Все равно не каюсь. Я свой золотничок счастья, который вот здесь, у тебя на груди, на золотые горы не променяю.

И тут — «чьють!» — какая-то птица пропела. Спросонок, наверное, кошмар какой-нибудь приснился.

— Хочешь, возьму тебя и высоко, вон на ту белую звезду, подниму? — сказал мужской голос. — На твою звезду...

И вправду, высоко в небе сияла белая звезда. Она вздрагивала, будто тянулась к земле. Вот сейчас оторвется от неба и слетит на Девичью Гору. Я уже немного успокоился. От такого гифрита мне урона не будет, у него своя печаль.

— Мне с тобой и на земле хорошо. Что мы на этой звезде оставили? Я и так свое имя не люблю. Только тебя люблю.

Опять та птица, угомону ей нет, на сей раз дважды пропела: «Чьють-чуть!»

— Душа всю жизнь томилась, тебя искала.

— Кто ищет — найдет, любимую обоймет, — пропела женщина. И та птица тоже, вслед за ней, свою песню повторила: «Чьють-чуть!»

— Ты смеешься, Ак-Йондоз, а я вот все время в тоске, — пожаловался мужчина.

— Говорю же, когда я с тобой, нет для меня ни горя, ни страха. Они там, в другом месте.

Богатырь Марагим, неся Ак-Йондоз, как малого ребенка, на руках, прошел рядом со мной. Меня они и не заметили. Я смотрел, как они уходили вверх, и в ту ночь впервые догадался, почему взор влюбленных не в травяную тлю упирается, а в небо к беркуту рвется. Сам почувствовал, отчего они на высоту, на вершины гор стремятся. И словами этого не расскажешь, не объяснишь.

Затихли их шаги, и пустой, неуютной стала ночь, весь звездный мир потускнел над головой. Сам я здесь стою, а душа моя за ними увязалась. Красивые их голоса, речи зачаровали меня. Только не понравилось, что Марагим Ак-Йондоз, как ребенка, на руках носит. Крепко не понравилось. Та тоже — своих ног будто нет.

Через сорок три года в горах Чехии на закате солнца я опять будто их увидел... Марагимовой стати молодой парень нес на вытянутых руках любимую и бегом, без тропок и дорог поднимался по крутому склону. А сам смеется. Мне понравилось это. Очень понравилось. «Молодец, джигит, молодец», — сказал я про себя. В это время мы с Раузой, взявшись под руки, по извилистой тропинке осторожно спускались вниз. «Молодец, джигит!» — повторил я и оглянулся еще раз. К поздней моей досаде, никого я вот так на руках в гору не возносил. Сейчас-то с радостью бы понес — да уже не под силу. А если бы даже и под силу — уже не под стать, люди смеяться будут. В гору, оказывается, тоже в свое время, когда положено, всходить надо... Еще раз оглядываюсь я, всматриваюсь в давнюю даль — на сорок три года назад, и говорю: «Молодец, Марагим, молодец!»

Прошли мимо Марагим и Ак-Йондоз, и будто разошлась немного ночная тьма. Казалось, там, где они идут, страхи разбегаются, сомнения в траву уползают. Я шагнул было вслед за ними, но опомнился и медленно побрел домой. Вскоре я зачем-то снял фуражку. Что-то упало и прогремело по камням. Это был коробок со спичками. Видно, спрятал я его в фуражку и забыл.

...Сейчас я думаю: если бы этот коробок сразу нашелся, то какую большую радость тех двоих спугнула бы, какую великую тайну осветила — одна неосторожно чиркнувшая спичка.

Как такую тайну в себе удержать? День терплю, два терплю. К третьему дню все терпенье вышло. Хоть на минарет мечети лезь и оттуда вместо азана кричи.

Я выбрал момент, когда Старшая Мать была одна, и вызвал ее в сарайчик.

— Что, синнай, сметаны захотел? — спросила она.

— Нет, Старшая Мать, у меня тайна есть, хочу тебе рассказать.

— Уж верно, особенная тайна, если даже от сметаны отказываешься.

— Особенная, Старшая Мать. Слухи-то, про Маратима и Ак-Йондоз, правдой оказались!

— Какие слухи? Откуда?

— Ну, тогда вечером... Младшая Мать... — язык споткнулся о зубы. И вовремя. Чуть-чуть мое соглядатайство не открылось. — Люди говорят... народ...

— Пустое.

— Не пустое, вовсе не пустое! Ночью, когда бычка искал, я сам их на Девичьей Горе вдвоем видел!

— Тьфу, тьфу, тьфу, дитятко! Показалось тебе. В темную ночь всякие страсти человеку видятся. Очень уж темная была ночь.

— Я и разговоры их слышал, Старшая Мать. Валлахи! Хлебом, солнцем клянусь! Что я — врун, что ли?

— Не врун. Просто ошибся ты, померещилось. Ошибка ложью не считается.

— И видел, и слышал!

— Порой человек больше нужного видит, больше положенного слышит. Полно, сынок, попусту головы себе не забивай.

Я хотел было обо всем по порядку рассказать, но Старшая Мать верить мне не собиралась, и рассказывать я не стал.

— Чему люди не поверят, того людям и не рассказывай, — сказала она напоследок. — Сплетником прослынешь — позору не оберешься.

Позора мы всем домом боимся. «Пусть лучше конь под тобой падет, чем слово твое ложью окажется», — говорит мой отец. Может, и вправду все только привиделось мне? Ведь Старшая Мать так говорит.

Но разве заглушишь эти голоса?.. «Любишь?» — «Люблю»... Если они даже вот здесь, в моих ушах, замолкнут, — там, на Девичьей Горе, они все равно останутся!

Почему Старшая Мать так упорно доказывала, что все это только померещилось мне, я понял только сейчас. Была у древних греков богиня — влюбленным помогала, от бед защищала. Звали ее Афродита. Конечно, моя Старшая Мать об этой богине и знать не знала, и слыхом не слыхивала. Но, сама того не ведая, она для Марагима и Ак-Йондоз той богиней стала. О милосердная Афродита улицы Серсе!

Тот бычок нашелся.

Как раз подошла пора жать рожь, и мы на радостях затеяли «помочь» созвать. На печке две бочки браги с урчанием бродят. На мясо к застолью этого бесприбыльного бродягу-двухлетку назначили. На обед решили наварить три большие чаши-тепени медового катыка. Много белого хлеба напекли — юасы.

«Помочь» в жатву — сама по себе целый праздник. Весь день с жаром, ладно-дружно работают люди, а вечером одним большим застольем садятся во дворе. Мяса наедаются, шурпу хлебают. Мужчины постарше и женщины побойчее брагу пьют, джигиты же и девушки и без браги навеселе. Какой-нибудь песенный охотник, вроде Сухорукого Кашфуллы, затянет:

Мы соседям помогали:
Ты да я снопы вязали.
В дом к тебе спешат сваты
Вместе будем я да ты!

В песне этой своя премудрость есть. Сноровистая да работающая девушка после «помочи» в цене-достоинстве быстро поднимается. Чаше и старухи-свахи, из чулка правую штанину выпустив, к ней в дом наведываются. На «помочь» зовут с выбором: чтобы днем в работе был толк и вечером за столом не оплошал. Попасть на «помочь» за почет считается. Конечно, есть и такие беззастенчивые, что и приглашения не ждут, сами являются.

Дня за четыре-пять за вечерним чаем мы перебрали соседей, родню, прикинули, кого позовем. Счетное дело я вел.

— Марагиму, наверное, скажете? — спросила Старшая Мать.

— У него... жена заболела, кажется,— сказал мой Старший брат Салих.

— Сам придет.

На листке бумаги, где я вел счет, прибавилась еще одна палочка.

— Соседей никого не обошли? — спросил отец.

— Галляма только. Все равно Хамза-молчальник из своей берлоги не вылезет, — сказал мой Самый Старший брат Муртаза.

— Придет не придет, а позвать надо. Сосед ведь. Обиды чтобы не осталось.

Я еще две палочки поставил. На том — вассалам, конец.

С восходом солнца у наших ворот кишмя кишел народ. Блестя серпами на плечах, пришли все. И Марагим тут, и Ак-Йондоз, и Хамза. Даже две-три «мерзлые ноги» здесь же топчутся. Тех, кто на меджлис¹ без приглашения приходит, у нас «мерзлой ногой» кличут.

Блиские родичи, как заранее уговорились, на подводах приехали. Пешком долго пришлось бы идти. В этом году наше ржаное поле далеко. Да и негоднее это дело, на страдную «помочь» пешком ходить. Не солидно.

Я, понятно, за теми двумя посматриваю. Друг к дружке не льнут, друг друга не избегают. Ак-Йондоз с девушками судачит, они быстро-быстро поговорят и прыскают потихоньку. Чуть поодаль, зажав под мышкой свою гармонь с бубенчиками, стоит Марагим, с моим братом Муртазой о чем-то говорят. И будто никто на Девичью Гору не поднимался, с птичьим посвистом «чють-чуть» не целовался... Совсем другие люди. Даже обидно. Неужто я в ту ночь другого мужчину с другой женщиной видел? Но не я один на них так испытующе посматриваю. То с одной стороны взгляд сверкнет, то с другой, то на него, то на нее.

На телеге, запряженной серым мерином, выехал со двора отец.

— Ну, в добрый час! Тронулись! — сказал он. — Рассаживайтесь по телегам. Девушки, кто самая красивая, кто самая работающая, — ко мне садитесь! Телега моя, песни ваши.

Поднялась суматоха. Девушки да сношки-молодушки от телеги к телеге с гомоном несутся. Одна с подружкой закадычной хочет сесть, другая с соседкой, третья со свойственницей. Да еще и возница, видите ли, не люб:

¹ Меджлис — собрание, сборище.

тот, дескать, не кудряв, у того жена ревнива, у этого нос кривой. Для смеха чего не придумаешь. Наконец, после изрядной суетни, девушки расселись. Джигиты, кто на какой телеге и с кем рядом поедет, разобрались быстро. Женщины и мужчины постарше уселись в оставшиеся подводы.

— Видно, агай, нет меня пригожей, нет меня работающей,— сказала, садясь на отцову телегу, на весь аул известная своей неряшливостью чернолицая рябая Ниса-апай. Какой родней она нам приходится, я не знаю. Ей пол-аула родня.

— Давай, давай, Ниса! — поддержал ее отец. — И рябая сердце жжет.

— А то! — И она улыбнулась, показав мелкие белые зубы. Стоит ей только улыбнуться — все! — совсем другое лицо становится: глядеть не наглядеться.

— Говоришь, так договаривай,— повернулась она к отцу. — У белянки в сердце лед, у чернявой — уголек.

Я тут же взглянул на Ак-Йондоз — белая она или черная? И не белая, оказывается, и не черная.

Тронулись первые подводы. Все давно расселись. Только трое стоят в нерешительности, будто растерянные чем-то: Хамза, Ак-Йондоз и Марагим. Вот Марагим быстро повернулся и впрыгнул в телегу моего брата Муртазы.

— В карету с красивыми нас не возьмете ли? — игриво сказала нам Ак-Йондоз. Такая игривость ей, которая «ради щепотки счастья страданий ношу несет», совсем не пристала. Этого я не одобрил. Отец завернул мерина к ней, рукоятью кнута разворошил сено, чтоб ей было мягче сидеть. Хамза то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил, прямо на уготовленное место сам плюхнулся. Нахальное отродье! Ак-Йондоз вышла на другую сторону телеги. Ниса-апай протянула ей руку:

— Айда, лебедушка, ко мне! Пусть скажут: «Две красивые рядом пришились». Мы им не чета. Ну, сонный мерин! — она ткнула Хамзу в ребро.

Ак-Йондоз села спиной к мужу, на самый грядок телеги. Серый наш вздрогнул и рванул вперед. От толчка взметнулись в белых чулках, в белых лаптях ноги Ак-Йондоз, и она чуть не вывалилась из телеги. Ладно, за грядок успела ухватиться. Последним на задок телеги вскочил я. Передние лошади уже рысью пошли. Едем молча. И речистая Ниса-апай, и быстрый на шутку отец

что-то притихли. От Хамзы, от этой «глуши дремучей», и ждать нечего.

Уже возле околицы Марагим растянул свою гармонь. Я бросил быстрый взгляд на Ак-Йондоз. Чувствую я, для нее одной гармонь свою песню льет. Наверное, и сама Ак-Йондоз это чувствует. Густой румянец вспыхнул на ее щеках. Вспыхнул и погас. Гармонь играет. Но никто вслед за ней песни не заводит. На нашей улице, когда на работу едут, петь, рот задрать, не в обычае. Вот когда с работы едешь — пой сколько угодно. Это только с улицы Трех Петухов народ ко времени и не ко времени, словно куры, квохчут, петухами заливаются. Мы приличие знаем, манеры сохраняем. Сохранили!.. Вон одна уже визгом своим брызнула, песню завела. К ней еще два-три голоса присоединились. Рано же у этих задор проснулся! И чем громче становится песня на первых подводах, тем больше сгущается какое-то уныние в нашей гелеге. Грустная тень все застилает лицо Ак-Йондоз, застилает.

...Спиной к спине, как два истукана, молча, словом не перемолвясь, ехали Хамза и Ак-Йондоз — и никаких особо тяжелых мыслей тогда, на задке телеги, у меня не вызвали. Если у Хамзы вся натура такая, что поделаешь? Не лопатой же слово изо рта выворачивать. Хорошо, хоть впереди с песней едут. За ними и мы тянемся. До ржаного поля мы в тот раз быстро доехали. Дорога не больно длинной показалась. Но вот сейчас подумал я о жизни этих двоих, и вдруг дрожь охватила душу. Неужто они вот так, безмолвно, спиной к спине, по двум сторонам чужой телеги и всю дорогу жизни проехали? Хорошо хоть, если впереди какая-то песня зовет. А если и ее нет, если и она умолкла...

Наши наделы ржи по всему полю разбросаны: здесь десятина, там четвертина, тут осьминник. Потому и «помочники» разделились: одни к Заячьему Наделу пошли, другие на берегу Барсуана остались. До полудня порознь, каждый на своих наделах жали, а в полдень все вместе на берегу Барсуана собрались. Здесь край угодий нашего аула, за Барсуаном уже чужие земли начинаются.

На обед были медом заправленный катык и юаса.

Юасой мы белый круглый хлеб называем. Застолье в «помочи» — это целое развлечение. Большие деревянные миски стоят, горы нарезанной юасы высятся. Вокруг каждой миски рассаживаются «помочники» и едят — только ложки мелькают. А замешкаешься, так и останешься голодным.

Когда поели, смех и розыгрыши начались. У одного ложку из рук прямо в миску вышибут, у другого, только рот разинет откусить, ломоть юасы выдернут. И все над раззявой хохочут. В этот раз выставили на потеху Сажиду с Трех Петухов, которая ложку щепоткой держала, и Хамзу-молчальника. Сажиды, лишившись ложки, надулась и ушла от застолья. У Хамзы, разинувшего рот, чтобы побольше откусить, даже зубы лязгнули. Но он не удивился, только шмыгнул носом и потянулся за другим куском. У Ак-Йондоз, как давеча, по обеим щекам румянец пробежал. Я, помимо своей воли, за ними слежу, в дотошного наблюдателя превратился. Если даже взгляд от Марагима и Ак-Йондоз отведу, то думы увести не могу. Приворожили меня эти двое!

Я себе медового катыка в ковш налил и тяну через соломинку. Так вкуснее, чем ложкой, сладость сильнее к языку льнет. Когда я вырос, поездил, увидел земли и когда в больших городах доводилось через соломинку разные коктейли тянуть, я всегда думал: наверное, эти лакомки премудрость сию у нас переняли. Смекнули. Ведь и хорошее перенять — сметка нужна.

— Кажись, катык больно медов оказался. У Нисы вон губы слиплись... — сказал мой отец. — И голоса не подаст.

— Ничего, агай, вечером от жирного мяса разлепятся, — сверкнула мелкими зубами Ниса, — лишь бы мяса вдоволь было.

Все уже встали с места, один только Исхак с самого края остался сидеть. На свадьбу ли, на похороны, на выпивку ли, на «помочь» — Исхак приглашения не ждет, сам приходит. Он и есть первейшая в ауле «мерзлая нога». Так у нас беззастенчивых называют, которые зимой, в гостевую пору, без зова-приглашения из избы в избу ходят. Ходят так, что лапти обледеенеют. Оно и понятно, только под одним столом подтают, да не просохнут, как к другому застолью надо идти. Исхака и гнать не гонят, и в красный угол не сажают. Он свое место, чин свой знает. Его место — в самом низу, на

самом краю. У этого худосочного длинного человека с маленькой головкой на слабой, со скалку толщиной шее странное прозвище — Царская Казна. А такая «казна» вот что означает: обжора невероятный, а сало на кости не пристаёт. Жрет: и сыт не сыт, и стыд не в стыд. Кто когда его этим прозвищем наградил, никто не знает. Но этот забитый, почти до пятидесяти доживший одинокий человек и после того, как царя скинули, все Царской Казной ходит. Рубаха на нем из ситца в крупный цветочек. Из такого у нас женщины наволочки на подушки шьют, потому что самый дешёвый товар. Опять, забегаю вперед, скажу: по нынешним временам, Исхак из самых модно одетых мужчин оказался бы.

Исхак допил из миски и начал вылизывать дно.

— Ну что, Исхак, наелся? — спросил отец.

— Нет, агай, не наелся, наполнился только, — отирая обильный пот с тощей шеи, ответил тот.

— Эй, Исхак! Спор есть! Выиграешь — ремень с себя сниму, твой будет! — сказал наш рыжеусый сват Хисматулла. Он во всей округе первый спорщик. Однажды в какой-то чувашской деревеньке лошадь свою проспорил, так сам в телегу впрягся и домой прикатил: «Лошадь ведь и пасть могла», — утешил он свою жену. «Хорошо, что проспорил только. Жалко было бы, если бы померла, очень уж справная лошадь», — порадовалась наша простоватая сватья.

Да ведь и Исхаку об заклад биться не впервой. Хотя на схватку выходит не он, а его живот. И сейчас он быстро смекнул, в чем дело.

— На сколько?

— С верхом полных десять ковшей.

— Спорят! Спорят! — зашумел народ. — Эй, не упустите! Исхак-богатырь на бой выходит!

Все тут же обступили спорщиков.

— Ну-ка, покажи ремень, — сказал Исхак. Хисматулла тут же снял его с пояса. Желтый, кожаный, с широкой медной пряжкой — чудесный был ремень у Рыжего свата! Исхак взял, покрутил его, осмотрел.

— Натощак твой ремень пятнадцать ковшей стоит, на все двадцать даже потянет. А сейчас больше пяти не смогу.

— На девять! На девяти соглашайтесь! — крикнул кто-то.

— Шесть, — упорствовал Исхак.

Рыжий сват прямо вырвал ремень из его рук. И ведь не ремень — состояние целое.

— На шесть ковшей я вон и с Пупком спорить не буду,— ткнул он подбородком в меня.

Та-ак, сват... Значит, меньше меня, немощей меня и человека не нашлось? Правая рука моя взметнулась к фуражке. Взметнулась, но тут же опустилась. Хлопнул бы шапкой оземь, побился об заклад — людей только совестно. Как-никак эти рыжие оскребки — сват наш.

— Братья! Войдем в положение сытого Исхака: восемь опрокинет — и ладно,— пророкотал Надовражный Тимербай. Если пустую бочку вниз по склону пустить, она точь-в-точь его голосом загремит.

Остальные поддержали Тимербая:

— Восемь в самый раз! Пусть эти еще уместит.

— И у Исхака, наверное, утроба не без кишок!

— Да и восьми не сможет! Надорвется!

— Не тот уже Исхак, сдал...

Это нарочно говорят, чтоб его раззадорить, сразу видно.

Исхак дважды гулко хлопнул себя по животу.

— Богу доверимся. Лопнешь, так лопни, только меня не посрами,— молвил он. — Несите катык. Считайте до восьми, дальше видно будет.

Принесли большой жбан катыка, порядком вместительный ковш.

— Черпай, ровесник,— сказал Исхак Тимербаю,— ты человек справедливый, твоя рука легкой будет.

— Ну, сядем. Ты, Исхак, тоже садись,— сказал отец.

Все, кто стоял, там и сели. Один Исхак на ногах остался.

— Я бы стоя пил, если разрешение будет...— он просительно посмотрел на моего отца.

— Нет разрешения! — отрезал владелец ремня. — Пищу уважать надо.

Ясное дело, он это не из почтения к пище сказал. Просто, если стоя пить, в утробу больше входит. Вот чего боится, рыжий черт.

— Ладно, будь по-твоему,— согласился Исхак.

Сесть он все равно не сел, только опустился перед миской на колени. Сейчас он походил на журавля, который вот-вот взлетит.

Тимербай зачерпнул первый ковш. Исхак начал прихлебывать. Еле тянет, даже не чувствуется, чтобы по

его тощему горлу продвигался катык. И второй ковш он выпил так же не спеша. Когда за третий принялся, народ начал роптать:

— Конечно, еле шевелится, знамо, выиграет.

— Никак до вечера задумал дотянуть, Исхак?

— Это разве спор? — недовольно сказала одна девушка. — Как сиротливый теленок тряпку сосет.

— Разжижаешь, Исхак, сон нагоняешь!

Исхак на них и не покосился даже. Но все же четвертый ковш выпил быстрее. Пятый и шестой он опрокинул одним духом. Его большой выпирающий кадык сновал от подбородка к ключицам. Здесь все «помочники» медленно-медленно, так сидя, и подъехали к Исхаку. Понемногу они совсем окружили его. Протягиваясь к седьмому, Исхак глубоко вздохнул. Пот, до этого падавший каплями, теперь уже струйками бежал. Когда он поднес ковш ко рту, слышалось бульканье частых и крупных капель. Живот его под цветастой рубахой вздулся, как хорошо набитая подушка. «Подушка» не колыхнется даже. Каким же местом дышит этот смертный? Седьмой ковш он в три приема выпил. Выпил и рыгнул.

— Прорвало затор, — одобрил кто-то, — освободилось место.

Но, видно, места все же немного освободилось. Последний ковш Исхак пил тяжело, мучительно. Глотнет катыку, а он не заглатывается. Люди, смотря на него, сами вытянули шеи и начали старательно глотать — Исхаку помогают. Сначала глотками, потом по каплям, но все же катык убывал. Убывал-таки. Завидев дно, Исхак хлебать перестал, высунул длинный белый язык и, как кошка, принялся вылизывать. Все вылизав, подбросил пустой ковш вверх и поймал. И капля не капнула. Рыжий сват подошел и без слова повесил желтый, кожаный, с широкой медной пряжкой ремень Исхаку на шею. Такой ремень — один на всю страну. И в этот миг в первый и в последний раз в жизни увидел на лице Казны-Исхака лукавую улыбку.

— Давай, усишки, — сказал он, — продолжим спор.

— Говори условие! — опять загорелся наш сват.

— Решишься перед всем народом из штанов завязку вытянуть — еще два опрокину.

Опять поднялся шум:

— Давай, давай, усатый!

— Ай, маладис, Исхак, ну и хват, оказывается!

— Держись, куда восемь вошло, еще два войдет!

— Ну, рискни же!

— Вот бесстыдники! — заверещала одна женщина. — Нашли потеху — «помочь» срамить!

— Согласен! Черпай, Тимербай! — вспетушился Рыжий сват. — Коли срамно будет — пусть стыдливые отвернутся.

Но тут победитель-богатырь схватился за живот и рысцой побежал за копны. Ни днем на жатве, ни вечером в застолье он больше не показывался.

Но с того дня и покуда не оставил этот мир, ремня Исхак не снимал. С ремнем его и похоронили: говорят, это был его единственный перед смертью наказ. Может, самым большим его жизненным выигрышем, самой высокой завоеванной наградой и был этот ремень...

Но главный спор, главное состязание было, оказывается, впереди. После обеда оставшиеся наделы дожидали все вместе. В «помочь» народу много, так что не вдоль, а поперек жнут. Уже ближе к вечеру все «помочники» с промежутками в три-четыре шага встали от края до края последнего осьминника.

Девушки в белых фартуках, женщины в платках с завязанными на затылке концами, юноши в распахнутых рубахах, мужчины с мокрыми от пота и белыми от соли спинами, положив серпы на плечи, на мгновение умолкли. Поле вызревшей ржи, застыв, как тихое озеро, дремало перед нами. Кажется, прыгнут сейчас люди с берега и поплывут, широко раскидывая руки.

Вдруг Ак-Йондоз, стоявшая между Нисой и Хамзой, решительно выступила вперед. Вышла и быстро повернулась к нам. Сначала она подоткнула подол зеленого сатинового платья, по локоть засучила рукава, косы с звенящими накосниками обвила вокруг шеи и завязала за спиной. И только потом, как выдергивают саблю из ножен, взмахом сняла с левого плеча с красной ручкой лунный серп свой. В ее глазах прыгали искорки непонятной, дотоле невиданной в ней удали. Всегда улыбчивые красивые губы сейчас сузились и затвердели.

Ждут. И Ак-Йондоз стоит, чуть расставив ноги. Казалось, очень много времени прошло. В какой-то миг мне

даже почудилось, что все это происходит во сне. Нет, пока что явь. Эта красивая сноха, стоящая сейчас на меже, еще много раз потом будет приходить в мои сны. И вот так же будет стоять: то на острие высокого утеса, то над самым краем страшного водопада, то в горячих струях гудящего пожара. И, взмахнув над головой лунным осколком серпа, готова уже будет полететь со скалы, упасть в стремнину, рухнуть в огонь, как я проснусь. Лишь в яви еще блеснет прощально ее серп с красной ручкой. Проснусь — и радости моей не будет конца.

Может, не так уж и бессмысленны были мои сны, может, все дни Ак-Йондоз на эти сны были похожи...

Весь народ в изумлении смотрит: что же наша всегда сдержанная и благонравная невестка затеяла? Все глаза на Ак-Йондоз устремлены. Один Хамза на это зрелище не глазами, а раскрытым ртом уставился.

— В нашем краю мужчины не в еде, а в труде состязаются,— сказала Ак-Йондоз. Опять, как прежде, мягким звоном зазвенел ее голос, ни задора в нем, ни заботы. — Кто храбрый? Кто из мужчин выйдет со мной состязаться? Чей серп моего серпа проворней?

Все стоят, молчат растерянно. Ак-Йондоз опять сказала, поддразнивая:

— Разве перевелись мужчины в этом ауле?

Я сам не заметил, как отыскал глазами Марагима. Он стоял на дальнем конце межи, самым первым. Хотелось крикнуть: «Тебе же она говорит, тебе! Чего мнешься?»

— Давай, Хамза,— сказал наш Рыжий сват,— коли так пошли дела, выходи с женой состязаться, докажи, что ты мужчина.

— Давай, Хамза, давай,— поддержали остальные.

— Верно усатый говорит, пусть Хамза состязается.

— Посмотрим, чей базар выше!

— В другой раз посмотришь,— буркнул Хамза,— я свою жену и без состязания давно победил. И состязаться нечего.

— Братья, всем же аулом осраимся! — кипятился наш горячий сват. — Сам бы вышел, да серп тупой, руки нескладны. Языком-то много не нажнешь. Неужто кроме меня и удальца нет?

Марагим неторопливо прошел вдоль межи, встал перед Ак-Йондоз. Рядом с ним другие мужчины ростом пониже да статью пожиже кажутся. Поэтому, кто самолю-

бив, стараются возле него не крутиться. А вот тонкая, как форель, Ак-Йондоз рядом с богатырем не потерялась, меньше не стала, даже выросла будто. Вот чудеса!

— Я выхожу! — сказал Марагим. — Отмерь по три шага, Муртаза!

И только теперь поднял взгляд на Ак-Йондоз. Знакомый румянец охватил ее щеки и тут же погас.

— Победивший поцелуй получит, проигравший потеряет честь... — сказал словами песни наш ремень проигравший сват.

— Мужская честь — не ремень. Это ремень потеряешь, так веревкой перепояшешься, — поддел его кто-то.

— Погибель батыра — в женщине — так ведь говорят, — воспрянул вдруг Марагим. — Что будет, то будет. От Ак-Йондоз и позор поражения за почет, за награду приму.

— Не о великой же награде помышляешь, Марагим, — сказала Ак-Йондоз, и еле приметная улыбка мелькнула на ее красивых губах.

— Что назначено — то суждено... — вроде усмехнулся и тот. А у самого синие глаза были такие печальные. Он снял с плеча серп, и взгляд его оживился. — Решились, Ак-Йондоз! Ты гори — и я не погасну...

Какие красивые слова сказал вдруг Марагим! Смысл их я хорошо понял. У остальных, думаю, на это смекалки не больно-то хватило. Люди, перебивая друг друга, начали обговаривать условия.

— Снопы сами будут вязать? — спросила Ниса-апай.

— Сами, сами!

— Пусть жнут и сразу вяжут!

— Нет! Нет! Пускай сначала все сожнут, потом вязать будут.

— Эй, ямагат! Как самим сподручно, пусть так и делают.

— Как сами хотят! Все равно по последнему снопу считать будем!

Тем временем мой Самый Старший брат Муртаза отсчитал на продольной меже осьминника два раза по три шага и, связав узлом в трех местах три пучка ржаных стеблей, наметил две делянки. Потом перешел на межу напротив и сделал три такие же отметки там. Остальные мужчины, связав все вожжи, сладили по три аркана, такие, что поперек осьминника достали. И точно по отметкам от межи к меже протянули эти арканы.

Получилось — по чести-справедливости — одинаковые две делянки.

Сейчас начнется. За Ак-Йондоз я не беспокоюсь. Всем известно, что она первая у нас жница. За Марагима боюсь. Правда, он тоже сноровистый мужик, работа у него в руках горит. За плетень возьмется — плетет красиво, как девушки кружева вяжут. Стог мечет — стог у него стройный, как церковный купол, вырастает. Оконные ставни, изготовленные и покрашенные им, издалека улыбаются. Даже из леса дрова везет — как попало не навалит, ровно лежат, один к другому, картинка будто. Как на гармонии играет, этого и говорить не буду, вся округа сама слышала. А вот жнет как? Ак-Йондоз проиграет — куда ни шло. Она женщина. А вот если Марагим проиграет — всему аулу позор. Ай-хай, к добру ли это? А внутри меня баламут — бес маленький — подзуживает, победы Ак-Йондоз желает. Почему всегда именно женщина проигрывать должна?

— Ну, начинайте! И пусть побежденный не плачет! — благословил мой отец.

Ак-Йондоз и Марагим встали рядом, по две стороны среднего аркана. Утопят эти двое друг друга в желтой пучине или, наоборот, спасут? Обоих мне жаль. Потому что они — мои люди. Я их тайны берегу. Делиться своей тайной мне уже ни с кем не хочется. Она — только моя. И Старшей Матери.. Но почему они рядом встали? Каждый жнец в своем углу должен стоять. Ведь жнут-то справа налево. Чудной этот Марагим — с изнанки встал, право-лево не различает. Засмеют ведь! Мне хочется крикнуть, подсказать ему, только решиться не могу.

— Почин за тобой, Ак-Йондоз, — сказал Марагим.

Серп Ак-Йондоз сверкнул и срезал первый пучок. И второй, и третий.. За серпом в ее правой руке не уследишь, только блики от него летят, и стебли ржи, в лад с серпом, кружась в каком-то танце, сами в левую руку стекаются. Когда собирается большой пучок, она, придерживая его серпом возле самых колосьев, укладывает назад. Уложит и снова начинает. Горбатый разбойник снова в пляс пускается, и вместе с ним, в каждом прыжке округляясь, пляшет ржаной пучок. От края до края своей делянки Ак-Йондоз в мгновение ока проходит. Только на завязанных за спиной косах монеты звякнули порой. Лица не видно. Головы не поднимет. И кажется,

что она в землю уходит, уходит. Она стебли в пучок уже не собирает, в горсть не сгребает, они сами вместе сбиваются и ей в ладонь вбегают, поспевай только горсть сжимать да разжимать. А сверкающий маленький горбун совсем разошелся, вконец обезумел. Потом не просто будет его унять... Не жатва ржи это, а байга-скачки настоящие. Глаз не оторвешь. А оторвать надо. Потому что рядом есть другой.

Я только сейчас понял: Марагим-то, оказывается, левша. Отхватывая своим, чуть не с саблю, серпом большие пучки, он в обратную сторону жать пошел. Его, как лопата, широкая ладонь — ошалеть можно! — полснопа враз забирает. Этот идет помедленней, но каждым взмахом рожь на охват сметает. Ай-хай. Алпамыш¹ прямо!

У промежуточного аркана вместе они редко сходятся. Но если и сойдутся, то лишь на миг, каждый сразу в свою сторону уходит. Даже головы не поднимут, друг на друга не посмотрят, сойдутся и разойдутся. Может, это даже лучше, что не посмотрят. Вон у Марагима уже белая рубашка потемнела и к спине прилипла. Маленькое, поначалу с листок, темное пятно уже во всю спину до пояса расплылось. У Ак-Йондоз пока на спине и следа влажного нет. Это хорошо. Пусть и не будет. Такой красивой женщине черным потом умываться совсем не пристало. Я на байге и прискакавшую в белой пене кобылу жалею.

До половины они шли вровень, пучок к пучку, серп к серпу. Но дальше Ак-Йондоз начала обгонять Марагима, сначала на шаг обогнала, потом на два.

Люди, до этого, затаив дыхание, следившие за состязанием, начали, всяк по-своему, кто радоваться, кто огорчаться. Одни Ак-Йондоз подбадривали: «Хай, вот сноха так сноха! Не сноха — клад!», «Привалило этому Хамзе-молчальнику...», «Цени, барсук!» Вот уже и новое прозвище, Барсук, прилепилось к Хамзе.

Другие Марагима подгоняли: «Эй, гармонист, ты шире мехи-то растягивай!», «Проиграешь — ложись да помирай со стыда!», «Не спешите, парни! Медведь разыграется, так и косулю затравит», «У косули хвост короткий — не ухватишь!», кто-то и срамное слово отпустил. Кто-то хохотнул. Ниса-апай не стерпела, упершись кула-

¹ Алпамыш — герой башкирского народного эпоса.

ками в бока, подошла и встала перед этими дырявыми ртами.

— Наглецы, паршивцы, бестолочь! Такое радостное зрелище, затаив дыхание, надо смотреть, будто мунажат¹ слушаете. А вы ржете, рот задрав, мерины старые! И душой немного гляньте, бестолковые! — голос ее вдруг смягчился, лицо посветлело. — Это же праздник божий! Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить! Здесь же Красота с Силой состязаются. Такой праздник за всю жизнь только один раз увидишь, и то, если доведется.. Надо уметь восхищаться. А вы, бессовестные, будто щенят травливаете!..

После слов Нисы-апай состязание будто другим светом заиграло, другой смысл получило. «Здесь же Красота с Силой состязаются!..» Кто же из них победит? Народ затих, будто слушал мунажат.

Косуля, все так же, одними мановениями рук заколдовывая рожь, уже подходила к концу своей делянки. Она так увлеклась своей волшебной игрой, будто только и были во всем свете она да это ржаное поле. И Марагим все чаще, как бьющий крыльями беркут, стал целыми охапками откидывать рожь назад. С последним пучком в руке Ак-Йондоз, крутнувшись веретеном, оглянулась назад. Марагиму оставалось сжать еще с сажень.

Но спор не кончился. Кто вперед последний сноп свяжет — тот победил. Теперь Ак-Йондоз за снопы принялась. И когда только свясло успевает скрутить, стянуть да перевязать — снопы только и откатываются назад. И снопы-то не снопы — куклы стройные, в боках тугие, смеются будто. Однако Марагим в этой работе оказался еще искусней. Хотя вязать начал гораздо позже, но к половине он догнал Ак-Йондоз. Правда, его снопы покрупней. А в крупный сноп ржи больше уходит, работа быстрее идет. Но Марагим за край не перегибает, не заносится: рука, дескать, у меня с лопату, сил невпроворот — честь знает. До конца деляны они, можно сказать, вровень шли. Напоследок только обогнал было Марагим на два-три снопа, но Ак-Йондоз тут же догнала его. Перед сорока — пятьюдесятью парами глаз ни один из них не схитрил, не словчил друг перед другом.

¹ М у н а ж а т — священное песнопение.

Уже сейчас, много лет спустя, я вот о чем подумал. Наверное, Ак-Йондоз это состязание потому затеяла, что решила: сама выиграет — так Марагима на смех выставит, а проиграет — так сама осрамится. Видно, надеялась хоть так к Марагиму остыть, а того от себя отвести. А может, я ошибаюсь... Женское сердце — бездонная пучина, разве узнаешь, что там, на дне, лежит?

Вот Ак-Йондоз связала последний сноп и, размахнувшись, бросила им в Марагима. Сноп ударился ему в плечо. Марагим, который довязал свой, тоже последний, сноп и головы не поднял. Он подошел к Ак-Йондоз, поставил свой большой сноп перед ней. И, опустив голову, молча застыл. Все та же странная завораживающая улыбка пробежала по губам Ак-Йондоз. Сначала она развязала косы и закинула их назад, расправила подоткнутый подол. И только потом, посмотрев прямо в синие глаза Марагима, сказала:

— И впрямь ты мужчина, Марагим...

Глубокий вздох разогнал тишину, в которой люди «внимали мунажату». Вздохнули все разом, облегченно, словно это они одержали победу. Широко вздохнули, хорошо.

— Нет, они шалые какие-то! Бес в них сидит! — восхитился наш Рыжий сват.

— Вот кто друг другу парой-то пришлись, — заключила одна сноха.

Вышел мой отец и встал между Марагимом и Ак-Йондоз. Наверное, чтобы какое-то очень нужное слово сказать. Бороду под самый корень в горсти зажал. Самые умные свои слова он вот так из бороды вытягивает.

— Вы оба победили, — сказал он. — Красиво победили. По высокой победе и награда должна быть высокой, да нет у меня таких сокровищ. Вы молоды, работящи, красивы. Каждый из вас — сам себе награда. Вы мою «помочь» возвысили и украсили. Долго мы этот праздник вспоминать будем. Спасибо, тебе, сноха! Марагим, тебе спасибо!

Смотри, как интересно сказал мой отец! Что это — благодарность, одобрение, восхищение? Мне же слова отца благословением слышались. Да полно! Что это за привычка у меня — вижу, чего люди не видят, слышу,

чего люди не слышат. Уже помешался, что ли, помаленьку?

После этого все жнецы снова по всей меже растянулись. Я глазом не успел моргнуть, как осьминник ржи был сжат. На этом — вассалам — мы с нашей жатвой ржи покончили. Если слышали загадку: «Маленький горбун поле все опустошил», — вот вам и отгадка.

На вечернем пиру, когда люди по всему двору группами на разостланных на траве паласах расселись, Марагим и Ак-Йондоз за одной скатертью друг против друга пришли. Я сижу на крыше навеса и все вижу. Марагим не пил, не ел, только весь вечер играл на гармонии. Ох, и играл он! Так играл, как никогда прежде. Грудь мою то невидимые теплые лучи ласкают, то огненные стрелы впиваются, насквозь прожигают. Сердце то от радости трепещет, взлететь рвется, то в горе возле горла бьется. Черная мелодия душит меня — задыхаться начинаю. И вот все, вот уже конец, погиб!.. — как приходит белая мелодия и спасает меня.

Чуть мерцает лампа на опрокинутой деревянной чашке, и склоненного лица гармониста я разглядеть не могу. Ак-Йондоз и вовсе ко мне спиной сидит. Но я вижу, как они, то в надежде, то в печали, перекидываются взглядами. (Вот еще диковинка: глаз не видит, а сам вижу.) И кажется, не вынесет Ак-Йондоз этого плача гармонии, вот-вот вспыхнет, займется пламенем. Кое-кто за гармонию увязаться пытается. Но сегодня они только мелодию портят. Словно соловью петух подпевает.

Вдруг Марагим заиграл мелодию, протяжную, долгую, дотоле в наших краях неслыханную, доиграл до конца и снова начал. И, повергнув всех в изумление, красивым мягким голосом запела Ак-Йондоз. А изумились мы потому, что за год с лишним в первый раз ее пение слышали. У нас народ на песню охоч. Даже кто на слово застенчив, на песню смел. Есть голос, нет голоса, знай мычит.

Как красиво, как легко поет Ак-Йондоз! Даже подвыпившие мужики, которые никого не слушали, только свое мололи, и те притихли. Голос Ак-Йондоз медленно протек над ночным аулом и, словно птичий клин, взял путь куда-то далеко-далеко. Может, в чужих краях заблудившаяся песня домой, в верховья Демы, к своему гнездовью полетела? Пусть летит.

И никаким в мире звукам не заглушить ее, не удер-

жать. Да нет, насовсем не улетела, обратно вернулась. Мне отсюда, сверху, все видно.

Руки девичьи белье полоскали,
Полоскали, будто милого ласкали,
Все-то смотрит на соседское крылечко,
Всю-то ночь горит-болит ее сердечко,—

пела наша красивая сноха. И потом, опустив голову, долго сидела неподвижно. В той жизни Ак-Йондоз, которая на наших глазах прошла, эта песня была и первой, и последней. Больше ее пения никто никогда не слышал. Беды и радости свои она встречала и проводила без песни.

После этого застолье пошло на убыль. Больше и песни как-то не пелись, с мелодией не слаживались. Народ потихоньку стал расходиться. Сильно захмелевшие еще немного посидели, каждый на свой лад комедь показали, да и тоже по домам побрели. Праздник догорел...

А с рассветом Марагим ушел из аула. За пазуху четверть краюхи сунул, под мышку гармонь взял, с тем и вышел в путь. Жене сказал: «Меня скоро не жди, в отхожий промысел ухажу». Марагим часто, и осенью и зимой, на заработки уходил, так что жена не очень удивилась. Только сказала: «Ладно, живым-здоровым возвращайся, оставшуюся жатву сама доберу. Только совсем не пропадай, в тягости я...». Все это, до таких подробностей, жена Черного Юмагула из-за плетня слышала. Потом будто Марагим не в ворота на улицу вышел, а — за гумно и огородами пошел. На задворках старика Галляма долго стоял. Стоял, стоял, потом повернулся и в сторону луга побежал. На аул будто и не оглянулся больше. А кто все это видел, кто наблюдал?..

Неделя прошла, месяц прошел. Кроме воробья да вороны в ауле птиц не осталось, все приличные птицы в теплые края улетели. Украшая бабье лето, парят в воздухе золотые паутинки.

А от Марагима ни письма, ни весточки. Однако уже перед самой зимой, когда гусей режут и над аулом пух летит, пришло будто бы письмо, с птичий язык длиной. Жив-здоров, дескать, и наказ жене, которая последние дни дохаживала: «Сын родится, имя сама найди, дочь родится, Ак-Йондоз назови». Жена мужнего слова не слушалась. В вьюжный январский день родилась девочка. И называли ее, как хотел отец,— Ак-Йондоз. Как

я знаю, это уже второй ребенок, который на готовое имя явился. Первым, если помните, старший из близнецов Черного Юмагула был. Маленькую Ак-Йондоз, разумеется, тоже моя Старшая Мать принимала. Но я в этих делах теперь не участник.

Как старшая Ак-Йондоз по воду ходит, скотину поит, дрова пилит, мы каждый день видим. Порой она по мелкой надобности какой к Бике, нашей снохе, заходит. Как и прежде, она спокойна и приветлива. Но улыбка, от которой щемило сердце, ушла куда-то. Одной женщине, самой верной своей наперснице (не такой уж верной, коли известно стало), под великим секретом Ак-Йондоз будто бы так сказала: «Когда уходил, думал, наверное, что всех нас от страданий избавит... Да не так все получилось. Тоска и боль жгут пуще прежнего. Печень черной кровью источилась, в груди не сердце — горящий уголь ношу. Сколько еще вытерплю — не знаю... А терпеть надо. Внутри умрешь, так хоть снаружи жить надо». А может, не говорила она этих слов. Люди сами за нее это сказали. Но ей не в укор... И еще Ак-Йондоз будто бы так сказала: «Иной раз его за трусость клянусь, да тут же и раскаиваюсь. В страхе потом сижу, как бы проклятия мои на его голову не пали. Береги его, береги, господи, умоляю...» Вот такие тайны вырвались из груди истосковавшейся Ак-Йондоз. У тайны крылья быстрые. Коли вырвется, вмиг весь край облетит. Одно перышко и к нам упало. Но ни слова сплетни, ни тени дурного намека имени Ак-Йондоз не коснулось. По-прежнему любили ее, даже больше прежнего, любили и жалели.

Однажды Ак-Йондоз зашла к нам, и они с нашей снохой Бикой долго сидели за занавеской, о чем-то говорили. В этот раз она показалась мне особенно грустной, потом Бика пошла проводить ее. В избе остались только мы со Старшей Матерью. Когда закрылась дверь, Старшая Мать вдруг глубоко, с дрожью, будто все нутро ее схватилось огнем, вздохнула.

— Почему вздохнула, Старшая Мать? — спросил я.

Она долго молча смотрела в окно, вглядывалась в какую-то даль. Потом повернулась. Посмотрела мне прямо в глаза:

— Тебе уже тринадцать исполнилось. Уже к косяку джигитов прибиваешься. И грамота у тебя большая. Что скажу, наверное, поймешь. Слушай... Дети человеческие от матери только половиною рождаются. Ладно-

го человека я в мир принимаю, руки-ноги целы, глаза-голова на месте, а у самой душа болит: «Эх, бедняжка,— думаю,— найдешь ли свою половину? Уж только бы нашел...» А если не найдутся, не сойдутся несчастные люди, то, как вот эти бесчисленные звезды,— блуждать будут, Земле мигать, а друг друга не видеть. И соединить их не во власти даже бога всемогущего. Было бы во власти, не ходило бы по миру столько одиноких душ. Вон Ак-Йондоз и Марагим... Из двух половин одну душу должны были составить. Не встретились вовремя и теперь блуждают, томясь бесконечным ожиданием.

Хоть я уже и «к косяку джигитов прибиваюсь», самой сути слов Старшей Матери я не постиг. В душу вошло, а в ум не вместилось.

Только много лет спустя, по сотням чужих нескладных судеб отгоревав, своей судьбы снежные бураны и жгучие ветры изведав, всю жизнь образумиться пытаюсь, да так и потеряв на благоразумие все надежды, постигну я печальный смысл этих слов. А прежде сорок раз душа надвое распадется да сорок раз наново срастется...

Однако нельзя сказать, что из слов Старшей Матери ничего не понял, кое-что понял. Я уже было рот раскрыл, чтобы спросить о ее собственной половине, но удержался. Ладно, вовремя, вот была бы глупость! Сам же вижу: отец один, матерей две. Кто целый, кто половина, разве тут разберешься? Все перемешано. Даже дети разные. Самый Старший брат Муртаза — Старшей Матери младший сын, последыш. В ауле Сайран живет ее первая дочь — Гайникамал-апай, она Младшей Матери ровесница и приятельница. Старший брат Салих — Младшей Матери сын, его отец умер. Он у нас наполовину сирота. Потому Салиху многое с рук сходит, больше, чем другим. Жалеют его. Остальные — птенцы третьего гнезда. Все это я только недавно узнал.

Но, видно, Старшая Мать все же заметила, как у меня губы дрогнули:

— Ну, спрашивай. О чем подумал — скажи.

Я уже волосы отпустил, красную расческу себе купил, зимой сине-зеленым шелковым шарфом шею обматываю, в валенках с галошами хожу, и в клубе вечерами,

и на посиделках, где сукно валяют, бывал. В нагрудном кармане комсомольский билет ношу. Девочка, когда-то пренебрегшая мной, теперь сама ко мне подходы ищет, только я вида не подаю. В любви я разочаровался. Вместо этого в общественные дела с головой ушел. На школьных собраниях пылкие речи говорю, статьи о классовой борьбе в стенную газету пишу. Но стоит мне к Старшей Матери подойти, как опять становлюсь маленьким.

— Да нет,— пробормотал я,— так просто...

— Не хитри. Ты же меня о моей половине хотел спросить.

У меня даже волосы зашевелились. Уж не ведунья ли она, моя Старшая Мать?

— На твой вопрос отвечу. Мы, люди, скорее уж других, чем самих себя, понимаем, быстрее другим, чем себе, цену узнаем. Чужая жизнь в чистом поле проходит, своя — в темном лесу. Никогда я нитку своих дум, своих печалей распутать не могла. Сама в своем лесу блуждала... Да, твой отец очень хороший человек, но сердечной своей половиной он меня не принял. В этом его вины нет. Видно, сама я ему парой не пришлась. ...Я тогда уже девушкой засидевшейся была. Хоть и жили мы бедно, отец мой на добро не польстился, за кого угодно, лишь бы сбыть, не выдал, на мою волю положился. Сначала я ждала, кто по сердцу придется, всем отказывала, потом сваты сами на наш порог уже не ступали. Так до двадцати четырех и дожила. В округе старее меня в девушках никого не было, разве калеки только. Однажды вошли к нам в дом хилый старичок и стройный красивый джигит. Старик твоим дедушкой был, семнадцатилетний юноша — твоим отцом. Я вся, как куст, так и опала. С первой же минуты он моей душой завладел. «Вот кто, оказывается, твоя судьба», — подумала я. Но тут же и поняла, что сердечной своей половиной он меня не примет. Сердце боль обожгла... И страхи мои сбылись. Не принял. Мало, что я, и сам мучился.

...Когда еще молодые были, заночуем в жатву на Дубковом взгорье, так я ночью встану и в сторону своего аула бегу. Бегу-бегу, да с рассветом обратно возвращаюсь. Притихнет немного сердце. Раза три-четыре так было. Проснется ребенок в колыбели, отец твой встанет, по полю ходит, меня зовет. Я вернусь, он, будто ничего не было, скажет только: «Ложись, вздремни маленько...»

Я плачу, захлебываюсь: «Если так душа не приветит, зачем только женился? Почему сразу не повернулся и не ушел?» Он молчит. Только много лет спустя на мой давний вопрос он так ответил: «Пожалел. Потому и женился. Как раз тем летом на косовице я нечаянно перепелке косою обе ноги отсек. Та, бедняжка, раза два трепыхнула крыльями и упала на бок. Приподняла голову и с таким укором посмотрела, будто сказала: «Эх, человек!» — у меня сердце оборвалось. Вот и ты тогда, в первый раз, мне ту перепелку напомнила. Пожалел». И не обижал меня, и не притеснял, но в сердце так и не принял. Мы с ним соединиться не смогли, одной душой не стали. И даже не в возрасте, не в разных натурах, не в достоинствах ума-характера была причина. Мы разными половинками оказались — вот и вся премудрость... Всяк человек своей правдой живет. Но есть правда, на всех единая, каждому на всю жизнь опора, от всех бед-напастей ограда. Эта правда — любовь. (Старшая Мать, как прежде, погладила мое лицо.) И когда ты в первый раз обхватил ручонками мою шею, я подумала: «Теперь уже мне на этом свете жить не страшно...»

Сам ли стосковался, о нашей ли тоске догадался, это нам неизвестно, но, когда уже весенние потоки бросились в путь, вернулся в аул Марагим. Про тоску я не зря сказал. Мечта или горе человека из дома гонят, тоска домой приводит. Я это потом много раз на себе испытал.

На сей раз Марагим в больших, по колено, черных сапогах, шагая крупно, широко, среди белого дня по всей улице от Верхнего конца до Нижнего прошел. Люди, к окну ли припали, у ворот ли стояли, долго смотрели ему вслед. Со встречными здоровался приветливо, с улыбкой, но ни с кем не постоял, о житье-бытье не рассказал и не расспросил. Знай шагал. Хотя ноша за спиной и не велика, гармонь он держал под мышкой такую, какой мы прежде и не видели. Город — он город и есть. И мечети, и церкви, и дома, и даже гармони у него — большие.

Когда начинает припекать солнце и ручьи разбегаются по улицам, весь люд выгребаёт снег от заборов и разбрасывает его подальше. Каждый хочет, чтобы весна скорее к его дому пришла. Мы, парни молодые, этим и были заняты, когда прошел Марагим. Все, будто авто-

мобиль проехал, оперлись на свои лопаты и застыли. Возле дома Галляма он голову направо слегка повернул. И — может нога поскользнулась — покачнулся вроде. Да сколько ни смотри, ни томись, Ак-Йондоз там уже нет... Отделился Хамза. На этой только неделе на улицу Дятла, по ту сторону оврага, переехали. Их дом отсюда, от наших ворот, видно.

Возвращению Марагима, казалось, весь аул радовался. Без него и отрады как-то меньше было. До его возвращения жили мы без особых перемен. Только председатель сельсовета теперь другой. Прежний, Ташбулат-сельсовет, прошлой осенью, возвращаясь с мельницы, упал сонный и покалечился. Заднее колесо ему позвоночник переломило. Сказали бы, что по пьянке, так ведь и в рот не берет. Очень народ подивился этому. «Беда под ногами поджидает», — говорили люди. Ташбулат теперь, надвое переломившись, на костылях ходит, ноги за собой волочит. Но все же к весне сколотил красивую решетку и на могилу Самигуллы поставил. Значит, в руках уменье есть.

Но как раз в те дни, когда вернулся Марагим, вспыхнула в ауле суматоха, гвалт стоял невообразимый. Одни радуются, другие сокрушаются, третьи сомневаются. Куда ни глянешь — тяжба, к кому ни зайдешь — спор. В клубе каждый день собрания. Порою только на рассвете расходятся.

Взвар заварился крутой — началась запись в колхоз.

В нашем доме тоже распря тяжелая была. Мой Самый Старший брат Муртаза — зубами и когтями от колхоза отбивался. В конце концов забрал положенную ему скотину и добро и отделился от нас. Этого упрямца даже слезы нашей снохи одолеть не смогли. «С Дусметом-лодырем и Казной-Исхаком в одной упряжке ходить, ровней им быть — нет у меня охоты! — хлопнул он шапкой оземь. — Я работать умею. Пусть таких, как я, в отдельный колхоз соберут, я четырьмя руками «за». Соберите такой колхоз!» (Особый для брата Муртазы колхоз, к слову сказать, ни в том году, ни позже так и не создали. Помыкался он года два и, порядком обеднев, вступил-таки в эту артель, годную, по его словам, только для таких простаков, как мы. Потом даже бригадиром стал.)

В один из дней, когда в доме вот эти самые споры кипели, пришел наш мягкий и незлобивый косоглазый

родственник Калимулла. Косые глаза его были полны слез.

— Отцы-деды мои коня не имели, я обзавелся. Как же мне теперь единственное свое достояние в чужие руки отдать? Будто бы и жен в один табун сгоняют. Пропади они пропадом, жены! Лошадь пропала, пропала лошадь! За волосок из гривы душу отдам! — И он, взметнув кверху кулак, сшиб подвешенную к матице лампу-семилинейку. Калимулла с головы до ног облился керосином.

— На этом остановись, свояк, — сказал отец, — больше не горячись, не то керосин на тебе вспыхнет.

— Вспыхнет так вспыхнет... — он махнул рукой и сел на лавку. — Не было коня, и забот не было. Вышло, не лошадь, а горе одно.

— Вот и сдай коня, и от горя избавишься, — посоветовал отец.

Калимулла оживился:

— Может, и впрямь так сделать, свояк? По правде говоря, прожил я всю жизнь без лошади и, слава богу, не помер. Да и у свояченицы твоей насчет скота особой страсти нет. Зато, благодарение, на детей обильна оказалась. Один за другим, как яблочки, выпадают.

— Так у тебя кругом все в достатке, на удивление прямо... А сам пришел и плачешься, — поддел его брат Муртаза.

Простоватый Калимулла издевки не понял.

— И твоя правда, Муртаза — жаловаться не с чего, — тут же согласился покладистый зять. — Все живы-здоровы, увечных нет. — Потом повернулся к отцу. — Ты, свояк, житейским умом крепок, не мне его обойти. Пожалуй, решусь, сдам лошадь. Вот только лампу зря загубил, растяпа.

О сговорчивости нашего родственника, о его легковёрности даже сказки ходят. Якобы тетка наша, когда помоложе была, однажды в сумерках с каким-то плутом возле плетня, выходящего в проулок, ласы точила. Зять собственными глазами видел это. Когда жена пришла домой, он хотел было придраться к ней. Та отрезала: голое вранье, дескать, и ни за что, говорит, этому не поверю.

— Так ведь, женушка, собственными глазами видел. Уж поверь, пожалуйста, — чуть не плачет тот.

— Не верь своим глазам, верь моим словам! С ка-

ких это пор ты свои косые глаза выше моих прямых слов начал ставить? Откуда такое своеволие?

Калимулла враз притих. И не жениной ругани испугавшись, а потому, что свою ошибку понял и устыдился.

— Сумерки густые были,— оправдывался он.— Я и сам сомневался. Кто это, думаю, голосом моей жены разговаривает? Вот и вышло, что не зря сомневался.

А в тот раз, когда Калимулла лошадь привел, на всю улицу зрелище было. Свою короткотелую мохнатую рыжую лошадку он в хлев не сразу завел. А привязал ее во дворе к изгороди. Пускай кто хочет вдоволь на-смотрится! Это, похожее на лошака, существо, положив большую голову на изгородь, весь день до вечера принимало зрителей. Но перед кем попало шею не гнула, не лебезила, достоинство свое высоко держала. Был самый разгар смотрин, когда какой-то бесстыжий бродячий пес забежал во двор. Наша тетка схватила хвостину и хотела выгнать его. Тот оскалился и, вместо того чтобы выбежать на улицу, ринулся к хлеву. Сидевший на изгороди Загидулла, младший сын Калимуллы, закричал:

— Мама! Мама, говорю же! Ты верхом собаку-то гони! Верхом! Хватит, находились пешком!

Вот этого-то славного аргамака наш зять и решил своими собственными руками сдать в колхоз. И сдаст.

Мой отец и вперед других не рвется, и сзади не плетется. Живет размеренно, на свой лад. Потому его и называют «середняком». Вот и сейчас. Вместе со всеми, не раньше и не позже, вступил он в колхоз. Нашего серого мерина отписал, одну клеть, железный плуг с деревянной бороной, телегу с санями. Это мы еще раньше, за вечерним чаем, решили. В совете и обе матери, и я с братом Салихом, то есть все взрослые, приняли участие.

Полный список вступивших в колхоз, всех хозяев со всеми домочадцами, вывесили в сельсовете. Марагим с семьей там седьмым стоит, Ак-Йондоз с Хамзой двадцать четвертыми, мы — тридцатыми. (Мое имя четко, особенно красиво написано.) Как взял я помимо своего желания тех двоих под свой присмотр, так и не могу от этого избавиться. В любых событиях я их, Ак-Йондоз и Марагима, рядом друг с другом ставлю. В моем сознании они давно уже одним целым стали. Эх, думаю, если бы они и в жизни, как в моих мечтах, нераздельны были! А Хамзу я, по своему разумению, отвожу в дом к Мара-

гиму. Совершенную когда-то несправедливость исправляю, каждого, дескать, на свое место возвращаю. Ну скажи, не юродивый... Если хорошенько подумать, получается, что я семьи разбиваю, гнезда разоряю. А за это мало бранить, судить надо.

Но что они вдвоем вместе, рядом в одном перечне стоят, душа согласна. И покуда оба живы были, и в четках моей души две бусинки рядом были. Да и потом, когда одного из них смерть забрала... А до тех пор еще сколько полководий разольется и в берега вернется, сколько птиц отпоет...

Наяву же Ак-Йондоз и Марагима рядом, вместе, я еще только два раза видел.

Был июль, пели птицы, последние свои песни допевали. Почти весь колхоз вышел на Усманову поляну убирать сено. Уже рожь поспела, поджимала жатва, и сено нужно было убрать быстро. Девушки сгребают, мы, подростки, верхом на лошадях волокушами копны тянем, женщины с мужчинами парами работают, нам копны накладывают, пожилые мужчины стога мечут. На самом краю поляны возле молодого ольховника «мои люди» копны отправляют. Марагим вилами накладывает, Ак-Йондоз следом за ним граблями подчищает. Нам с Хамитьяном на долю они двое выпали. Мы попеременно, на рысях подъезжаем к ним, в особенности я спешу. Мне радостно видеть их вместе. Улыбка, от которой щемит сердце, целый день не сходила с тонких красивых губ Ак-Йондоз. Только однажды пригасла ненадолго и загорелась снова.

Марагим чуть не полкопны зараз на вилы поддевает. Синие глаза его блестят, работает он весело, похохатывая. Вот кому силы не занимать! Я по-всякому в седле выворачиваюсь, чтобы глаз от них не отрывать. Знаю, что нехорошо это, а ничего поделать не могу. Копна уже вся на волокуше была, как вдруг Марагим схватил Ак-Йондоз и бросил ее на сено. Моя пугливая лошадка подпрыгнула и прыгнула в сторону, я кубарем слетел на землю, лошадь умчалась. Тут на меня свалилась сверху Ак-Йондоз, должно быть, с копны скатилась. В этот миг разорвался синий небесный занавес, и глубоко-глубоко,

на самом дне, замерцали звезды. Одна была белая-белая. Я и полетел прямо к ней. Лечу и вижу, как на краю горизонта восходит улыбка... Вот в какие высоты я с этой бестолковой лошади взлетел. Ак-Йондоз опустилась на колени и начала гладить мои волосы.

— Не расшибся, кудрявая голова?

От блаженства я слова вымолвить не могу. Она испугалась:

— Где болит?

Оказывается, когда она жалеет, глаза у нее становятся грустными-грустными. Я, не отрываясь от земли, мотнул головой.

— Уф! Напугалась как! — воскликнула она.

— Ничего не болит. Лошадь низкая, земля близкая, — сказал я, садясь. Однако хребтина прямо-таки горела.

Тем временем, ведя заполошную коняшку под уздцы, подошел Марагим. Видно, далеко не ушла, даже копна не развалилась.

— Вот еще сумасброд, — с укоризной сказала Ак-Йондоз, — так и человека можно покалечить. Двоих разом, — она опять огладила меня по волосам.

Я вскочил на ноги. Марагима, за то что взрослую женщину, как ребенка, на руки взял и на копну кинул, я в этот раз не осудил. Наоборот, даже понравилось.

Но все же — почему это Марагим при мне такое вытворяет? Что это, меня и в счет не берет? Или за своего считает? Ладно, на доброе истолкуем. Не может же он с таким взрослым парнем не считаться... Должны же они чувствовать, с какой верностью я их тайну храню. Верность — не то что человек, даже иная лошадь угадывает.

К тому времени, как подправили копну, и Хамитьян рысцой подъехал. Работа снова своим чередом пошла. До вечера в этом мире мы трое одной жизнью жили — Марагим, Ак-Йондоз и я. Ак-Йондоз и Марагим одного счастья душою и плотью были. А я был тому свидетелем. И потом, вспоминая, я всегда буду радоваться: быть свидетелем счастья — тоже, оказывается, счастье!

После того дня Усманова поляна в моем воображении стала поляной счастливых. Каждый раз, когда я прохожу через луг, оборачиваюсь к тому ольховнику

и смотрю долго-долго. Кажется, вот сейчас Марагим с вилами на плече и Ак-Йондоз с граблями выйдут отсюда. Они все еще молоды, все еще счастливы. А ольховые заросли стали деревцами, потом густым высоким лесом. Потом их срубили. На этом месте зазеленели новые побеги, год от года крепили, все выше тянулись они. Вот сколько листвы отшумело! А надежды, что еще раз увижу их рядом друг с другом, я все не теряю. Эх, мечты! Когда бы из ста из вас хоть одна сбылась!

Я же был и свидетелем большого, душу выстуживающего горя. Двадцать четвертого июня 1941 года они расстались. Первые из уходящих на фронт собрались в тот день перед клубом. Оседланные кони, парами запряженные телеги, брички заполнили майдан.

И последние речи были произнесены, и последние напутствия даны, и последние пожелания высказаны. Вот-вот тронутся в путь. Только проститься осталось. Большинство провожающих — женщины да подростки. По древнему обычаю отцы и матери свое благословение уходящим дома дали. Провожать не выходят. Только жена, держась за стремя сидящего в седле ратника, идет рядом. Когда в бой провожают, стенания и причитания не в обычае. Выдержка и терпение — тоже благословение. На слезе, капнувшей на тропу ратника, конь спотыкается, душу мужчины эта слеза взбаламучивает.

Возле каждого призывника невеста или жена, многие маленького сына или дочку на руках держат. Остальные провожающие чуть поодаль стоят. Хотя народу и много, ни шума, ни гомона. Даже грудные дети не плачут. Только кони уздечками позвякивают.

Я провожаю моего Старшего брата Салиха. Брат слегка навеселе.

— В чулане, в сундуке ключи от трактора лежат, — бормочет он на ухо нашей молодой снохе, — ты их завтра же Сайфулле отнеси... Ключ — это самая важная вещь на свете... Почему, думаешь, сказку про золотой ключ придумали?..

Сноха молчит. Не до ключей ей сейчас.

Я почему-то рядом с Ак-Йондоз оказался. Ее муж сегодня не уходит, повестка еще не пришла. Не его она провожает. И я сразу же, как бывало в детстве, ищу Марагима.

Вот он, над толпой возвышается. С одной стороны — словно тугой просяной сноп, у основания крепкая, мило-видная на взгляд, жена стоит, с другой — черноволосая, с ярко-синими, как у отца, глазами дочь Ак-Йондоз. Эта девочка лет десяти чем-то на старшую Ак-Йондоз похожа. Я невольно перекинул взгляд с младшей на старшую. Точно, похожи! Вот чудеса! Или опять глазам небыль видится?

Марагим осторожно обхватил ладонями дочку за пояс и поднял над головой.

— Попрощаемся. Пора,— сказал он. Его сильный голос прокатился над майданом.

Он взглядом обежал провожающих. Добавил немного потише:

— Земляки! Ак-Йондоз своей клянусь, дважды клянусь: аул наш не опозорю. Вот и все мое слово.

«Просяной сноп», будто опрокидываясь, к правому боку мужа приткнулась. Откачнулась и снова на место встала. Стоявшая рядом Ак-Йондоз еле заметно коснулась моего рукава. Марагим опустил дочь на землю. Гнусавый Валетдин взял крошечного сына из рук жены и подкинул в воздух:

— Сыном своим Зигандаром!..

— Землей своей... — добавил Асхат. Не то что сына или дочери, у него и жены еще нет... Но земле своей и всему на ней растущему он цену знает.

Началось прощание. Жены к мужьям прильнули, невесты к женихам, которые скоро мужьями станут. Конечно, станут... Скоро разобьют они врага, вернутся и справят шумные свадьбы. Конечно, справят... Одни прощаются — руку пожимают, другие прощаются — обнимаются, третьи — самые смелые — целуются. Марагим, как застыл на месте, так и стоит, в нашу сторону смотрит. Прижал левой рукой голову дочери к себе и пальцами волосы ее перебирает. Жена отступила, позади мужа встала, будто место кому-то дает. В этот миг Ак-Йондоз изо всей силы меня за локоть схватила. Будто рвется куда-то, а сама в меня вцепилась.

Закончилось прощание, и сразу зашевелились, зашумели. Одни по телегам, по бричкам расселись, другие вскочили на коней. Марагиму достался Ворон, самый резвый колхозный жеребец. Когда уже телеги встали вдоль улицы, Марагим отвязал и взнуздal жеребца. Легко, только в воздухе мелькнул, закинул большое свое те-

ло в седло. Тронулись. Уходящие и те, кто поехал проводить их до районного центра, медленно удалялись от молчащего майдана. И с каждым их шагом пальцы Ак-Йондоз все глубже впивались в мою руку. Уже порядком отъехав, Марагим остановил коня и, вывернувшись в седле, посмотрел назад. И тогда Ак-Йондоз, словно косясь, сорвалась с места и понеслась к нему. Марагим под самые удила схватил уздечку, рывком завернул коня и подлетел к ней. Ак-Йондоз взялась за стремя, хотела рядом бежать, но тот мощной рукой поднял и посадил ее перед собой. Посадил и поскакал, обгоняя телеги, брички, верховых. Мы долго, до самого Мукушева холма, смотрели им вслед. Потом на какое-то время они скрылись из глаз. Ни возгласа не раздалось — ни в хвалу, ни в хулу. И жена Марагима стояла вместе с нами, держала за руку свою, чуть не с нее ростом, дочь и смотрела вослед. Выдержала. Я почувствовал свою перед ней вину. Ведь она тоже «мой человек», а я храню, бережно храню тайну, сделавшую ее несчастной... Кажется, я теперь уже совсем запутался. Всех мне жалко.

Они перевалили еще один холм и надолго ушли за черту горизонта. Когда же наконец снова выплывут?

Она — всплыла, он — уже нет.

Прошло уже больше года, как окончилась война. Я вернулся в аул, по какому-то делу зашел в сельсовет.

— Сколько после победы прошло, а люди все гибнут и гибнут. Для себя они давно погибли, а для нас только сейчас в могилу ложатся,— грустно сказал председатель.— То про одного, то про другого приходит бумага: «Пал смертью храбрых...»

Он протянул мне потертый уже листок. Похоронная. Ладонь опалила. Эту страшную бумагу я еще в руках не держал. Там, на фронте, я много смертей видел. А смертную весть своими глазами вижу впервые.

Посмотреть, так ничем от какой-нибудь справки, вроде разрешения на продажу коровы, не отличается. А в ней — целой жизни конец. Человека смерть. И невозможно эту бумагу ни исправить, ни переписать, ни сжечь. Это навечное удостоверение человека: «Погиб смертью храбрых». Кто? Гвардии старшина Марагим Забиров.

Председатель взял у меня листок, покрутил в руках,

еще раз внимательно осмотрел его. Казалось, он ищет, надеется найти в нем какую-то ошибку.

— Таковую вестъ доставлять — только горе обновлять. Теперь особенно тяжело... Держал-держал я ее у себя, да что поделаешь, послал за Ак-Йондоз. И Хамза в конце войны где-то в Венгрии в лазарете умер. Уж как навалится на человека... Жена Марагима позапрошлой весной померла, перезимовавшей под снегом ядовитой пшеницы поела. Много у нас тогда от этой пшеницы народу полегло. Голод, от голода и ели. Дочь Марагима, сироту, Ак-Йондоз к себе взяла. Вот и живут две подпорки друг другу: Ак-Йондоз и Ак-Йондоз.

Недолог был рассказ, но о каких бедах поведал мне председатель, потерявший под Сталинградом руку. Про руку он сразу, когда еще здоровались, сказал: «Здоровуюсь левой. Правую я на Мамаевом кургане захоронил. Знаменитый курган, моей руке там не зазорно».

Еще с улицы заведя крик, причитая ли, проклиная ли, вошла, опираясь на палку, старуха.

— Собханалла-машалла! Чтоб тебя бог черным проклятьем проклял! — сказала она, споткнувшись о порог. Живо прошагала к столу и стала перед председателем. Это была державшая в страхе всю улицу Трех Петухов матушка Майтап.

— Сядем, поговорим, мать, вот, в красный угол проходи, — председатель поспешно показал единственной рукой на стул.

— Не сяду — надулась старуха. — Если ты председатель, ты этого Альмисака в остроге должен сгноить. Моего суда этому разбойнику уже мало. Вчера опять мою козу выдоил. Чтоб отравой ему в глотку пошло! Не пастух это оказался, а чистый разбойник! Среди бела дня людей грабит. Несыть!

Матушка Майтап прошла в красный угол, уселась на стул, концом палки подперла подбородок. Но тут же отвела палку в сторону:

— Выноси приговор! Не то он сегодня доит, а завтра зарежет и съест мою козу. Совести у него нет!

— Ладно, примем меры.

— Меры мало, тут кара нужна. Пусть Альмисак тяжелую кару примет. Чтоб другим неповадно было...

— Ладно, если есть доказательства, будет и кара...

— Какие еще доказательства? Все, как есть, в козьем вымени. Позавчера три чашки молока вышло, вчера уже

две только. Не Ибрагим-пророк же его высосал — тут голос старухи смягчился и дрогнул. — Да разве мне это молоко нужно? Мне не расти-цвести, мне помереть бы здоровья хватило. Двое у меня внуков-сирот. День-деньской с чашками в руках сидят, когда стадо вернется, с томлением ждут. У этих ведь сирот он, ненасытный, пищу отнимает.

За какие-нибудь две-три минуты жалобы матушки Майтап сначала раздосадовали, потом рассмешили, под конец опечалили меня.

— Если это правда, я Альмисака сурово накажу, — пообещал председатель. — Очень сурово...

— Вот и накажи... Только в острог уж не сажай. У него тоже детей полон дом. Верно, не с хорошей жизни он это делает, бедняга. Ты его языком накажи, крепко накажи.

Люди ли слишком взбалмошные, жизнь ли в нашем ауле несуразная... Раз глянешь — мы такие, в другой посмотришь, уже эдакие. Сами огонь рассыпаем, сами и водой заливаем. Вот мы какие.

Матушка Майтап снова опустила подбородок на палку. Открылась дверь. На пороге стояла Ак-Йондоз. Не богато, но чисто, опрятно одетая, на ногах белые чулки, глубокие резиновые калоши. Платок, как и прежде, концами на затылке завязан. На висках два-три седых волоса блестят. Все так же позвякивают в косах монеты. Она улыбнулась будто. Но того сияния, на которое я не мог насмотреться, которое завораживало меня, и отблеска не было. Сначала она обеими руками поздоровалась с матушкой Майтап, потом председателю и мне руку подала. Мою руку отпустила не сразу:

— Оказывается, гость приехал... Живой вот вернулся. Значит, сам счастлив и других осчастливил. Пусть судьба твоя долгой будет. — Вдруг на красивых ее губах вспыхнула та улыбка. — Когда на Усмановой поляне сено скирдовали, ты еще мальчиком был. На всю жизнь в памяти осталась она... Иногда во сне на эту поляну прихожу... Все надеюсь еще...

Да, я вернулся. Неизвестно только, надолго ли. Оба моих легких туберкулез точит. Но все же я вернулся, близких своих увидел и сам показался.

— Сказали, вызывал, — она перевела ожидающий взгляд на председателя. — Может, о Марагиме какая весть?

— Присядь, Ак-Йондоз.

Она тут же пошла и села возле печи на окованный железом сундук. Руки, сцепив, положила на колени. Я узнал этот сундук. Он давно тут стоит. Отсюда и выкрали когда-то деньги у Самигуллы. Каждый раз, когда я видел его, меня охватывала непонятная тревога и поднималась злость, что он дался какому-то вору. Вот и сейчас. Зря Ак-Йондоз села там, не к добру. Впрочем, теперь уже все равно.

Председатель потер лоб рукой:

— Не знаю, с чего и начать... Убить надежду — все равно что человека убить. Последней надежды лишаю. Не проклинай уж, свойственница. На, читай сама... — дрожащей рукой он протянул бумагу Ак-Йондоз.

Ак-Йондоз сидела, будто раздумывала, брать или не брать. Потом протянула обе руки и, как берут только что вылупившегося цыпленка, в сложенные ладони взяла листок. Ее красивое светлое лицо все чернело и чернело перед моими глазами. Но тонкая лебединая шея ее не согнулась, и голова, полная тяжелого горя, не поникла. Ак-Йондоз словно окаменела. И каменное тело здесь осталось, а душа улетела куда-то. Но ненадолго. Она снова вернулась в холодное неуютное тело.

— О господи! — горько вскрикнула Ак-Йондоз. — Если уж такая любовь от гибели спасти не смогла! Чему же верить тогда, на что опереться? А как я верила!.. Сколько книг написали о том, что любовь сильнее смерти. Я их, как веру, читала, каждое слово заучивала. Неужели все ложь, все выдумка? — она опять протянула руки с лежащей в горсти похоронкой. — От такого богатыря только это и осталось... Где правда, где справедливость?

И замолчала. Матушка Майтап подняла голову.

— А я, сноха, так скажу: из-за этой любви-то он и сложил голову. Настоящий мужчина, если влюбится, так уж любит через край, белое-черное не различает, о страхе забывает. Вот и Марагим-азамат хотел, наверное, тебе молодцом показаться, назад не оглядывался, в самый огонь шел. Он, верно, чувствовал, что ты на него смотришь. Вот и бросался в самое пекло. Смотри, дескать, вот я какой! Так и пропала его голова.

Она помолчала и добавила со вздохом:

— Кажется, чего-то лишнего наговорила...

Безжалостные слова старухи, казалось, никак не коснулись Ак-Йондоз. А два письма, которые я в двух кар-

манах гимнастерки носил, как два живых угля, обожгли мне грудь.

Одно из них начинается так...

Нет, подождем немного. Закончим сначала повесть об Ак-Йондоз. Больше она ни слова не сказала, ни слезинки не обронила. Старуха ушла. А сколько мы втроем сидели, не знаю. Первой поднялась Ак-Йондоз. Мы, провожая, вышли на крыльцо. Она пошла не домой, а направилась к Мукушеву холму, куда, в час прощания, посадив ее в седло перед собой, поскакал Марагим.

...Ак-Йондоз, все в той же ее красоте, которую, зная, и за долгую жизнь не износить, я увидел через многие годы. Повстречались мы на улице. Тот прежний свет вернулся на ее лицо, оно стало покойным. Старость все еще не коснулась ее. Она вела за руку мальчика лет четырех-пяти. Пропустив ребенка немного вперед, не скрывая радости, она сказала:

— Сын Ак-Йондоз. Марагимом зовут.

Мальчик был вылитый дедушка. Вот так же и молодые побеги ольхи на Усмановой поляне с первого своего листа повторяют старое дерево, из пня которого они взяли рост. Только при мне уже третье поколение леса живет.

Вот так. Сколько половодий, сколько вихрей, ураганов прошла Ак-Йондоз и вышла к своему заветному берегу. Хотя, конечно, в молодости душа не к этому берегу рвалась. Впрочем, куда, в какую сторону поплывет, к какому берегу прибьется, она тогда, может, и не думала. В то время и были-то у нее сегодня и кусочек завтрашнего дня. А далее — туман, и не загадывай.

— Вот он и есть — мое утешение, моя опора, — сказала она и притянула к себе мальчика. Тот поднял голову и глазами, как два кусочка бирюзы, посмотрел на Ак-Йондоз. Наверное, когда его ласкают, говорят слова, не до конца ему понятные: «Искорка Марагима — моей жизни свет». Возможно, слова и другие, но смысл этот.

Мы распрощались и разошлись.

...Одно из писем в кармане моей гимнастерки начиналось так: «Вы убили мою жену...»

ДВА ПИСЬМА

Страшный приговор. «Да, ее убили вы. Любовью своей погубили. В предсмертных муках она бредила, ваше имя повторяла. Когда приходила в себя, пыталась рассказать. Из-под подушки ваши письма достала, показала мне. Я читал их. Какое у вас, женатого мужчины, есть право любить замужнюю женщину? Как вы осмелились? Кто вам дал на это право? В какую мораль, в чью мораль это можно вместить?!

Я ее лечиться послал, а вы погубили ее. Слышите?! Я проклиная вас. Когда я читал ваше письмо, Людмила сказала: «Не проклинай. Наоборот, моя смерть должна только сблизить вас». Когда она мучилась, мне до вас и дела не было. Я безумно любил ее. На всем свете была только она одна. Двадцать четвертого июля Людмилу похоронили. Потом хлынул дождь. Была ужасная гроза. Я хотел, чтобы меня убила молния. Не убила. Она тоже кого угодно, когда угодно не бьет... До ночи я сидел у ее могилы. Какая высокая, какая чистая была душа! Хотя вы-то должны знать, если и вас она так зажгла... К черту! Что мне до вашего горения! Забыть, совсем про вас забыть хотел. Не получилось. Сначала думал, что мое горе смягчит ненависть к вам. Нет, не смягчило. Горе с ненавистью вместе соединились. Прежде всего я ваши письма изорвал, на ветер выбросил... Я ненавижу вас. Тысячу раз проклинаяю. Если чахотка, которая унесла Людмилу, в скором времени не придушит вас, я отомщу. Если даже от смерти избавитесь, от меня вам не избавиться. Ни оправдания, ни прощения вам нет. Моя ненависть, моя угроза всю жизнь, как меч, будут висеть над вашей головой. Как свалится на вас какая беда — знайте, что это я караю вас. Нет вам спасения. Нет!!!»

Вот так написал мне человек, обезумевший от своих мук.

А я, за какие злодеяния вышел мне такой суровый приговор? Неужели так велики мои грехи?

Расскажу все по порядку, от начала до конца.

Как уже сказал, кончилась война, и оба моих легких начал грызть туберкулез. Сначала я некоторое время в Румынии в местечке Предял лечился. Горный воздух, сосновые леса, весеннее солнце — все у меня было. Лишь

исцеления не было. Мало того, каждый вечер в соседней палате кто-то поет, все сердце измозжит:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?..
Там через дорогу,
За рекой широкой,
Тоже одинокий,
Дуб стоит высокий...
Но нельзя рябине
К дубу перебраться,
Знать, ей, сиротине,
Век одной качаться.

Я себя возлюбленным той рябины — бедным, несчастным дубом чувствую. От тоски, от одиночества желтеют мои листья, сохнут корни. Я крепко затосковал. Тогда врачи отправили меня на нашу землю в Крым.

От Симферополя до Ялты добирались госпитальным автобусом. Сначала всех больных, приехавших на разных поездах в разные госпитали, выкрикивая, собирали вместе на привокзальной площади. Так что выехали только в полдень. Извилистая горная дорога, духота измучили нас. Больше всех страдала сидевшая впереди молодая женщина. Она долго кашляла, разрывалась прямо, потом ее тошнило. Когда остановились в Алуште, соседи вывели ее под руки. Лицо как снятое молоко, синь проступает, будто и не жива. Только крупная дрожь бьет. Еще и стыдится, голову опустила.

— Ты глубоко дыши, всей грудью,— посоветовал один майор.

— Если бы могла дышать... так бы не мучилась.— И она снова закашлялась.

— Это от перемены климата, ничего, приспособится,— успокоила сопровождающая нас сестра.

Из Алушты выехали не скоро. Надо было хорошенько отдышаться. Та женщина немного ожила. Вторую половину пути она уже не так мучилась. Даже немного вздремнула, кажется. Я сижу сзади всех, толком разглядеть ее не могу. Но все же примечаю: голова ее мягко покачивается на спинке сиденья. Это хорошо.

Только автобус остановился в Ялте в каком-то тупичке под горкой, как весь народ тут же и высыпал. Военные с зелеными вещмешками или с красивыми заграничными саквояжами, женщины, девушки с узелками

под мышками, с картонными чемоданами в руках разбрелись по улицам. До моего госпиталя еще порядочно в гору надо подняться. «Порядочно» — это, конечно, по моей, «доходяги», мерке. Шагов триста. Иду-иду, постою, иду-иду, отдышусь. Прошел немного и вижу: в тени дома та женщина на чемодане сидит. Дойдя до нее, я опять остановился.

— Вы на меня не смотрите, шагайте. Я сама потихоньку добреду. Уже вернулись силы...

В первый раз я внимательно посмотрел ей в лицо. Она не была особенно красивой, но если скажу, что в этих больших черных с длинными ресницами глазах вся вселенная затонула, ни капли не преувеличу. Таких глубоких, таких печальных глаз ни до того, ни после я не видел. И руки ее. Тонкие, бледные, с длинными пальцами, одна упала на колено, другая держала угол чемодана — была в них какая-то обреченность.

Позже я их «умными руками» назову.

— Вы идите, ступайте же...

Легко сказать. Только вот где мне силы взять, чтобы от таких измученных глаз оторваться и уйти?..

— Давайте, я вам помогу. Чемоданы попеременно буду нести.

Она улыбнулась чуть приметно:

— Я полчаса уже наблюдаю, какой вы богатырь...

— Может, за ваш чемодан возьмусь, и сил прибавится.

— Я посижу еще. Мне хорошо. Вон и море видно.

— Тогда и я... — сказал я и собрался было оседлать свой чемодан.

— Не садитесь. Идите. Ради бога, уходите.

Странно. Человек ей помочь хочет, а она от себя гонит. Будто в ответ на мое удивление, она добавила:

— Не сердитесь. Я не гоню вас. Только прошу...

Поднял я свой чемодан и пошел дальше. Немного отошел, как она опять, задыхаясь, начала кашлять. Обернуться я не посмел.

В приемном покое я замешкался надолго. Все ждал, когда же подойдет эта женщина. Сестре, которая хотела проводить меня до палаты, сказал: «Отдышусь немного», — время тянул. Но она так и не пришла. Видать, случилось что-то. «Эх ты! — клял я себя. — В таком состоянии оставил человека...»

С неделю примерно я пролежал пластом. В первые

дни нет-нет да и вспомнятся те печальные глаза, встревожат душу. Но только поначалу. Потом забылось. Встал я на ноги. На улицу вышел. Когда проходил мимо соседнего корпуса, слышался женский голос:

— Эй, капитан! Капитан!

Я не обратил внимания, иду себе. Мало ли их в военном госпитале, капитанов.

— Капитан, я же вам кричу! Капитан! Попутчик!

Глянул, а это те два бездонных глаза. Она сидела на втором этаже, на подоконнике.

— Видите, я ожила маленько. Только на улицу не выпускают. Хорошо там, на воле?

— Хорошо. Может, мне украсть вас, коли не выпускают? — сказал я, хотя у самого от слабости колени дрожат.

— Уже давно сижу, похитителя дожидаясь. Украдите. Я согласна, — сказала и протянула руки. — Сначала на вершину вон той горы поднимете, потом к морю снесете.

Губы ее улыбаются, смеются даже. А глаза печали полны.

— Я вас в тот день в приемном покое ждал... Даже ругал себя, что оставил вас... — начал оправдываться я.

— Вы что, ждете, когда я сама спрыгну?

Я поднялся к ней. Она была в палате одна, соседки, видно, разошлись кто куда. Пока я поднимался, она слезла с подоконника и села на койку. Лицо ее опять побледнело.

— Сначала познакомимся. Меня зовут Людмила. Я вас буду называть просто Капитаном, — она протянула руку. Только я пожал ее, как что-то в сердце толкнуло. Будто какую-то очень важную, даже опасную весть сообщили мне эти пальцы, эта ладонь. Потом я часто буду замечать: у Людмилы не только глаза, даже руки печальны. Будто они всегда в невеселых думах. Что человеческие руки могут и задуматься, и горевать, и грустить, я впервые увидел и понял в ту весну. И откуда такие умные, такие чуткие руки?..

— Коня своего привяжи, молодец, что-то ханская дочь опять не в духе.

Она легла на кровать поверх одеяла.

— Если бы не эта температура... вы садитесь.

И больше ни слова жалобы. Вообще, среди больных нашей болезнью, я жалоб слышал мало. Видно, когда

нет боли, и воля не так быстро сдается, надежда не расшатывается. Когда долго находишься в больницах да госпиталях, складывается своя среда, своя жизнь, свои привычки и традиции. Постепенно начинает казаться, что настоящая жизнь вот эта, в этих стенах. А тамошняя суэта за больничным забором представляется нарочитой, бессмысленной. Потому что люди там, в своей бескрайней жизни, блуждают беспечно, что вчера напортили, сегодня исправляют, за сегодняшние грехи завтра расплачиваются. А нам этого не дано. Мы уже — на краю поляны, конец дороги различаем. И все же мы верим, что последняя капля не капнет, что последний листок не сорвется. Так сильно человека, обреченного на смерть, еще держит в своих ладонях жизнь.

...Весной страшного 42 года накануне наступления произошло в нашей бригаде такое событие: по приговору трибунала перед всем строем за отлучку расстреляли как дезертира молоденького парня. Но то, что потрясло меня тогда, случилось до карающего залпа. Парнишку привели с другого берега речушки. Он был бос. Конвойные, раскидывая брызги, прошли по мелководью. А босой пленник, чтобы не замочить ног, прошел через речку, прыгая с камня на камень. Хотя идти сухими ногами оставалось ему всего шагов пятнадцать — двадцать. До своей могилы. Вот так: до последнего шага боится человек замочить ноги...

— Если бы магнолия зацвела, может, я поправилась бы. Я очень люблю цветы магнолии... Один раз даже опьянела от запаха, когда маленькая была... — Она на миг закрыла глаза. — Меня тогда отец в Гурзуф привозил, к тете в гости.

Людмила устала. Чтобы не утомлять ее больше, я собрался уходить.

— Завтра опять приду, — сказал я, поднимаясь.

— Сидела на подоконнике — сама себе хоть куда молодцом казалась. И вот уже расклеилась. Вы уж простите.

— Я вас все равно украду. Приготовьтесь и берегитесь.

— Я буду наготове. В следующий раз сама из окна

прямо к вам в седло прыгну. Начнете сюда подниматься — опять сборы затянутся.

Она протянула руку. Только я сжал в ладони ее пальцы, как они сказали мне что-то быстрое и тревожное. Я почувствовал, но не понял.

Ни завтра, ни всю неделю я у Людмилы не был. Началось сильное кровохарканье, и я свалился.

Теперь уже меня не выпускают. Когда я немного пришел в себя, то попросил соседа по палате сорвать лист магнолии и написал на нем письмо. Послание получилось довольно складным.

«Драгоценная синьора! — начал я письмо. — Слова, предназначенные Вам, писать на бездушной белой бумаге я не в силах. Это бы унизило их. Потому я решил выцарапать их на зеленом листе Вашего любимого дерева. Мечтать о том, чтобы этот лист превратился в Ваше сердце и мои слова навсегда остались в нем, я не дерзаю. Ибо все равно царапать острым железом по Вашему сердцу у меня бы не поднялась рука. И более того — вероятно, уже другие руки успели вписать в это сердце свои слова.

Из драгоценнейших драгоценнейшая синьора!! Тем, что вот уже столько дней лишен счастья преклонить колена перед Вами, я огорчен в высочайшей степени.

В моих бесчисленных сражениях за справедливость и красоту иной раз подстерегают меня всякие мелкие беды и неожиданные неприятности. Несметные полчища короля фон Тубер-Кулеза, подняв миллионы пик, окружили и бросились на меня. Много крови пролилось в этой битве и с той, и с другой стороны. В настоящее время я подтягиваю силы для следующего, еще более решительного сражения. Но, любезная синьора, малейшую Вашу просьбу сочту величайшей честью для себя. Только намек, только легкий жест! Слышите, как ржет, сотрясая воздух, мой иноходец? Слышите, синьора?!

Грустнолицый Капитан».

Уже после обеда через верные руки пришел ответ:

«Храбрейший из храбрейших, невольник чести, грустнолицый Капитан! Ржание Вашего иноходца, сотрясая вселенную, сотрясает и мои уши. Выцарапанное на листе моего сердца послание получила. Успокойтесь, Капитан, когда вы острым железом выводили буквы, мне нисколько не было больно, напротив, даже приятно.

Я все еще в высокой башне за семью замками сижу. Но скоро придет мой избавитель и огромным копьем разнесет все семь железных дверей. И в тот миг я превращусь в белую-белую бабочку, вылечу на волю и весь долгий-долгий день буду порхать. И день не день будто, а целая жизнь... Так что моя жизнь в Ваших руках, простодушный brave Капитан. Вот и моя маленькая просьба к Вам: дайте мне жизнь, одну, хоть самую коротенькую... Если бы Вы не были столь отважны и великодушны, я бы не решилась беспокоить Вас по таким пустякам.

Когда пробьет час, я махну Вам с башни белым платком. Следите.

Известная Вам Людсения».

Какая странная шутка! Или она все свои надежды уже растеряла, через все страхи прошла, или, наоборот, смерть еще не коснулась ее. Это письмо даже встревожило меня. Может, моя шутка не к месту пришлась. Вон какие она невеселые мысли вызвала.

На следующий день я отправил новый весело-невеселый лист магнолии. Сообщил, что сейчас как раз натачиваю копье, которым пробью семь железных дверей. Попросил махнуть не белым, а красным платком. Поясним: красный цвет еще прибавит мне сил и страсти. Через день пришел ответ.

«Грустнолицый веселый Капитан!

Ржание Вашего крылатого коня день ото дня доносится все сильнее. Порой от него трясутся и готовы рухнуть стены моей темницы. Вот кто воистину голосом камни раскалывает! Теперь я верю, что скоро вырвусь на свободу. Хорошо бы, если меня встречали барабанами. Я люблю, когда бьют барабаны...»

Тем временем Первое мая подошло. Мои соседи по палате ушли в город, праздник смотреть. Они уже на ногах, выздоравливают. В открытое окно тянет терпким ароматом. Говорили, что еще вчера зацвела магнолия. Я бы подошел к окну, взглянул, но нет сил, голова кружится. Когда лежу, вроде сносно еще... Нет, надо все же попытаться. Натянул пижамные штаны, рубашку белую надел, волосы расчесал, выпил полстакана виноградного сока. Теперь до окна добаться прыти хватит. Только встал и шага два сделал, как в дверь тихонько постучали. Откликнулся. Дверь открылась. Сначала по-

казалась рука с красным тюльпаном, потом вошла Людмила.

— С праздником, Капитан. Вот вам и красный цвет. Пусть прибавит вам сил и страсти.

Я, кажется, покачнулся. Она подбежала и взяла меня за плечо. Хотела отвести к кровати.

— Нет, это я так, при виде вас покачнулся,— объяснил я. — Пойдемте лучше к окну.

Мы подошли и оперлись о подоконник. Она долго смотрела на меня, потом сказала:

— В таком состоянии... А еще бравые письма пишет.

— Да я вроде держусь пока,— пробормотал я,— не поддаюсь...

Я поднял голову и увидел вокруг совсем другой мир — красивый и молодой. За ветвями, усыпанными белыми цветами магнолий, синее море. Где-то внизу раздается песня. Здесь тихо. Только какая-то птица высвистывает свое. А мы на мир, из которого еще и кусочка не прожили, смотрим со стороны. Пока и это хорошо.

— А у меня никакого для вас праздничного подарка нет,— приуныл я. — Вчера мне ребята бутылку вина принесли. Давайте выпьем ее. Нам ведь тоже праздник полагается.

— Давайте! — оживилась Людмила. Даже в умные свои ладоши хлопнула.

— Потом я вам стихи прочитаю...

— Тогда наше застолье почище царского будет!

Бутылку я открыл довольно ловко. Не пропала еще солдатская сноровка. Людмила тем временем налила в стакан воды и поставила в него цветок. Нашла еще два стакана. Я разлил вино.

— Ну, за что мы выпьем? — спросил я.

— За праздник. Праздник — это штука вечная.

— Вечная штука и так проживет, без тостов...

— А что не вечно, тому и тосты жизни не продлят. За праздник! — она вскинула руку со своим стаканом. Мы чокнулись.

— За праздник! — повторил я. И мы оба выпили свои стаканы до дна.

По лицу Людмилы пробежал румянец. Из темной глубины глаз пробился свет. А я, чувствую, как возвращается ко мне очень далекое, драгоценное, почти забытое состояние — я пьянею. В небо ли взлететь, в землю ли уйти — мне сейчас все едино.

— А теперь почитайте стихи.

— Нет еще, градусов не хватает,— начал важничать я. И потянулся к бутылке. Умная Людмила рука придержала мою, потерявшую уздечку, руку.

— Хватит, Капитан,— сказала она.— Вы вспугнете нашу маленькую радость. И она улетит от нас.

Да, в это мгновение я был полон странной отваги. Я не только счастлив сам, я могу сделать счастливым любого. Мое могущество беспредельно. Вот качну головой — и по небесам проходит зыбь.

— Тогда извольте, слушайте, милостивая синьора!

— Нет, не надо, Капитан, сегодня не будем стараться шутить. Сегодня мне по-настоящему весело, по-настоящему хорошо.

Я прочитал стихи о любви. Наверно, ни бог весть что это за стихи были. Но, слушая их, Людмила притихла. Опустив голову, долго молчала, потом подняла на меня свой бездонный взгляд.

— Женщине возле вас, наверное, укромно, тепло.. Наверное, она счастлива... Будет счастлива...

Я словно очнулся вдруг. Слово «счастье» прозвучало для меня странно и пугающе. Казалось, что и ко мне, и к той, которая тоскует и ждет вдалеке, счастье уже и не прикоснется. И в то же время, сознаюсь, от слов «возле вас укромно и тепло» я совсем обмяк. Мужскому роду-племени такие слова не часто достаются.

Пройдет еще много времени, и женщина, идущая рядом со мной, скажет: «И весь этот город, все эти люди и знать не знают, какая я счастливая. Если бы знали, не спешили бы, останавливались, на меня смотрели, удивлялись и восхищались. Всего только по улице с тобой иду, и уже счастлива...» Вот какие слова услышу я! Да, счастливыми не делают, счастливыми бывают. Слишком поздно приходит к нам эта немудреная премудрость.

— Высокой мерой вы меня смирили,— сказал я, смутившись. — Но смогу ли я сделать ее счастливой? Это ведь всей жизни дело. А жизнь-то...

— Для счастья не жизнь нужна, для счастья мгновения хватит... А вы и жить долго будете,— сказала она

спокойно, как о чем-то давно известном. — У вас ресницы короткие. Из глаз надежда не ушла. У человека сначала глаза умирают, потом уже сам. Ну-ка, дайте руку.

Людмила положила мою руку на свою ладонь.

— О-хо! Вот это линия жизни, конца даже нет. Через три пропасти проходит, но не обрывается. Рука у вас маленькая, сухая. У моего этого мужа руки большие, мясистые. Он очень сильный. А тот муж, мой муж родной, был на вас похож. Кудрявые волосы, лоб, руки, улыбка... В первый же год войны погиб. — Она крепко стиснула мою руку. — А вы живите! Пожалуйста, живите.

Вдруг прямо над нами возникла белая тень. Это была сумасбродная, то и дело будоражившая весь госпиталь начмед Мария Аристарховна. Мы ее между собой называем Страховна.

— Госпиталь это, черт возьми, или сад влюбленных? Куда ни пойдешь — сидят парами, как павлин с павой — хвосты веером распустили! — увидев бутылку с вином, она еще больше взбеленилась. — Вино? Ну, конечно, все как полагается! — И она заорала на Людмилу: — Марш отсюда! Чтоб духа вашего здесь не было! Муж ее лечиться послал, а она по чужим палатам вино глушит. Если так пойдет, мы откажемся вас лечить. Вы почему не встаете? Что, уже на ногах стоять не можете?

— Вы на меня не кричите. Если отказываетесь, так отказывайтесь. Но не кричите, — сказала Людмила, не поднимаясь с места. — Все мои страхи позади остались, Мария Аристарховна, вам это известно.

От такого внезапного наскока я растерялся. Даже рта раскрыть не могу, ничего не соображу. Да и всю жизнь так было, возьмут меня врасплох, и я перед бесстыдством, наглым напором теряюсь.

— Это... Мария Аристарховна... — пробормотал я.

— А с вами разговор особый будет! Марш в постель!

Я не шевельнулся. Она опять набросилась на Людмилу.

— Вы что, карету ждете? Карета подана! Извольте! — она показала на дверь.

Людмила не спеша поднялась с места. Я встал, шагнул к ней:

— Людмила!

— Ну, будь здоров. Я еще приду. — Даже не взгля-

нув на начмеда, она вышла. Тут же исчезла и Мария Аристарховна. Праздник наш завершился.

А я-то, я! В каком жалком, беспомощном, глупом виде остался я стоять! А ведь только эта наглая злая баба раскрыла рот и сказала первое слово, я должен был закричать: «Вон отсюда, Мария Аристарховна! Вон! Я не позволю вам унижать Людмилу и меня. Марш! Марш отсюда, Мария Аристарховна, майор медицинской службы!» — должен был заорать я сам. Что есть силы хлопнуть по столу, пнуть ногой вот эту тумбочку, с треском разодрать рубаху на груди должен был я. Догнать, наконец, у дверей Людмилу, взять за руку и снова посадить на место. Должен был!.. И ничего этого не сделал. Слунтяй! Трусливая душонка! А как гордо, как высоко держала себя Людмила. Вот такие-то люди и должны бы приходить в этот мир навечно...

Людмила и завтра не пришла, и послезавтра. Не прислала и весточки. Видно, разочаровалась, крепко разочаровалась во мне. Да иначе и быть не могло. Она же меня лихим джигитом на резвом коне представляла, от меня освобождения ждала, хоть маленькой коротенькой жизни у меня просила. А я, как мальчишка, свалившийся с ишака, беспомощно в пыли барахтался. Дескать, спасу, у смерти выкраду. А на деле от вздорной бабы заслонить не смог, при мне ей в лицо плюнули. Разве это не предательство?..

Надо сказать, что в будущем жизнь со мной за подобное покуталась. Квит на квит. Без обид. А я еще обижался.

Вскоре я поднялся на ноги, стал выходить на улицу, но подойти к Людмилиному корпусу не хватало духу. Все время поодаль бродил. Однажды после ужина пришла записка: «Что притихли, Капитан? Вас видели на улице. Если можете, приходите!» Я раздумывать не стал, пошел.

Дверь была приоткрыта. Я все же постучал.
— Войдите!

Людмила, прислонившись к подушке, полулежала на кровати. Лицо горело ярким румянцем. Она выпростала руку из-под одеяла и поздоровалась. Рука была горячая.



— Я вас ждала. Видите, сама ходить не в силах.

— Мне... было стыдно.

— Забудем. Я так решила, что в ту минуту были не вы, то был кто-то другой. А вот это вы сами. Возьмите стул, сядьте рядом.

Я сел. Она протянула руку, длинными пальцами потрогала мои волосы. Да, пальцы здесь, моих волос каса-

ются, а беспокойная, неприкаянная душа ее куда-то далеко унеслась. Несколько крупных слезинок выкатилось из глаз.

— Простите, это я не из-за себя плачу... Из-за него... Из-за вас... Что это, награда или наказание? — она взяла мои волосы в горсть и сразу отпустила. Рука тихо соскользнула на одеяло. — Простите...

Да, сейчас, в эту минуту я кого-то заменяю. И волосы мои, и руки, и лоб, и улыбка — не только мои. Я ими с тем, другим, делюсь. Или наоборот? Он, уходя, свою долю мне оставил? Особенно улыбку. Может, это я за него улыбаюсь?!

— Хоть бы вы жили! Долго жили...

— И вы, Людмила...

— Сколько причитается, я все проживу. И даже немного больше... А что, на вас глядя, его вспомнила, не сердитесь. Он был очень хорошим человеком. Разве вы можете быть похожим на плохого человека?

Что на это скажешь? Самое лучшее, наверное, промолчать.

— Вот и обиделись, молчите.

— Я и сам не знаю, Людмила, хорошо это или плохо.

— На хорошее истолкуем.

— Так и сделаем.

Только сейчас она рукой вытерла мокрые от слез щеки.

— Давайте поговорим о чем-нибудь повеселее, — сказала она.

— Давайте, если найдется такое.

— Такое — весь белый свет! — Людмила показала в раскрытое окно. Она вдруг откинула одеяло. — Отвернитесь, я переоденусь.

— Зачем?

— Пойдем на улицу.

— А температура?

— А температуру здесь оставим. Небось не убежит.

Она быстро оделась. Я отговаривать ее не стал, все равно бесполезно. Я уже немного разглядел, из какой она породы.

— Дайте руку, грустнолицый Капитан!

— Извольте, синьора!

Она оперлась на мою руку, мы медленно спустились по лестнице и вышли в сад.

Люди спешат в кино. Сегодня показывают трофей-

ный фильм «Девушка моей мечты». Я его в прошлом году в Вене видел. Там одна актриса сразу две роли, двух абсолютно похожих друг на друга женщин играет. Лицом к лицу сама с собой разговаривает. В кино-то это забавно!..

— Сегодня кино показывают,— сказал я. — «Девушка моей мечты».

— А мы вон на ту скамейку сядем, дождемся вечера и будем смотреть, как спускаются сумерки.

— А по-моему, так сумерки не сверху спускаются, а снизу, из земли поднимаются.

Она совсем по-детски изумилась:

— Как интересно! Тогда посмотрим, как сумерки поднимаются.

Мы сели на скамью под большой магнолией. Магнолия еще не отцвела, но запах уже не такой буйный. Присмирел.

Ходячие больные все ушли в кино. Кругом тихо, пустынно. Солнце скрылось за гору, но еще светят его так быстро остывшие рассеянные в небе лучи. А там, из-за моря, уже выкатилась луна. Красная-красная. Вот с большой волной столкнулась, вверх подскочила. Но, подскочив, обратно не опустилась, в небе осталась висеть. Наверное, думает бедняжка: «А вот и я — солнцу на смену пришла, его место заняла. Чем я его хуже!» И чего ей с солнцем состязаться? Пусть свои лунные обязанности хорошенько выполняет, с нее и хватит.

Иногда наш мир мне кажется невероятных размеров сосудом. И вечером он вместительней, чем утром или днем. Особенно летним вечером. Моря, горы, леса, облака теряются в этом сосуде, где-то затаились в нем надежды, мечты, радости; на самое дно опустились и там прячутся тайны.

А мы с Людмилой — только два подрагивающих на ветру стебелька травы. Ни солнце, ни море, ни луна не замечают нас. Но есть у нас перед ними одно превосходство — мы примечаем и чувствуем все, весь мир насквозь видим, всю вселенную можем в своей душе вместить. Вот вам и стебелек травы! Потому нам хорошо и грустно. Мы тихо сидим и смотрим, как наступает вечер. Это наш праздник.

Людмила держится молодцом. Свежий вечерний воздух подбодрил ее, прибавил сил. И кашель поубавился. Она взяла мою руку и легонько сжала. Ее ладонь уже

не была такой горячей. «Спасибо»,— сказала умная рука. А за что, я не совсем понял.

— Мир совершенен. Взгляните, всего в нем — и запахов, и звуков — ровно столько, сколько нужно. Только одного не хватает... — И впервые Людмила рассмеялась.

— Чего же, Людмила?

— Скажу — смеяться будете.

— Скажите, посмеюсь. Вместе посмеемся.

— Моченых яблок.

— А почему не хурма, не изюм, не кишмиш? — начал я перебирать.

— Именно яблоки... Когда душа спокойна и всего вдоволь, тогда мне начинает не хватать моченых яблок. Только яблочка. Вот и сейчас...

— Странно.

— Да, странно. А впрочем, и не очень удивительно. Тут есть причина. Рассказать?

— Расскажите.

— Однажды мама, когда меня носила, захотела моченых яблок, ну, прямо до смерти захотела. Но такое было время тогда — сколько ни искали, не нашли. Так и не сбылось тогда мамино желание. Не сбылось, да ко мне перешло. Когда мне хорошо, хочу моченых яблок. Дурь, знаю,— и она повернула разговор на другое: — Я вечером родилась, примерно вот в это время. А вы когда?

— В конце ночи, когда свет с тьмой сходятся. Тогда моя Старшая Мать пеструю гусыню — по сходству с черно-белым предрассветным часом — мне предназначила. В тот год гусыня одна проходила, яиц не клала. Зато следующей весной, уж такое мое счастье оказалось, полное гнездо яиц снесла и гусят вывела. Может, вывела, может, и нет...

— Старшая Мать — это, выходит, бабушка?

— Нет, Старшая Мать. Старшая жена отца. У него две жены было.

— А-а, знаю,— протянула Людмила. — Шариат! И у вас две жены будет? Не надо. Из двух одна обязательно будет несчастна. Или обе... Даже все трое будете несчастны... А та пестрая гусыня, наверное, гусят все же вывела. В вас удача есть. Я это сразу почувствовала.

Тьма быстро поднялась от земли, но луна ей не дала подняться, разбавила своим жидким светом. И сама завладела миром. Свежий вечер перешел в прохладную

ночь. Я уговорил Людмилу идти домой. Она сначала противилась, но скоро согласилась. Потому что в довод я привел ее же слова:

— Не будем испытывать нашу маленькую радость. Не то она улетит от нас.

Я проводил ее до самой палаты.

— Странно,— сказала она,— я совсем не устала. Наоборот, даже полегчало как-то,— и протянула руку. «До свидания, не забывай меня»,— сказала рука.

Я лежал долго, не мог уснуть. Вернулись из кино два моих соседа, тихонечко, чтобы не разбудить меня, разделись. Вскоре заснули, захрапели в свое удовольствие.

Бесцеремонная луна, забыв о всяком приличии, по комнате слоняется, все углы обшарила, ощупала все. Шевельнула пряжку ремня на спинке стула, пуговицы на гимнастерке пересчитала. Интересно, падает ли так же свет на Людмилу, на ее лицо, лоб, руки? Блестит ли кольцо на правом безымянном пальце? Наверное, глаза уже закрыты, она спит.

Спокойной ночи, Людмила!

А чего это ко мне сон не идет? Интересно, какой у моченых яблок вкус, какой запах? Я их не то что не ел, в жизни ни разу не видел. Наверное, очень вкусная вещь... Когда же это было — луна вот так же мучила меня, уснуть не давала?.. Когда мы с мальчишками в город калачи есть собрались, она долго на подоконнике лежала. Но так вроде не изводила. Может, потом, когда страсти грудь заполнили, сердце ныть научилось, были такие свидания с луной. Может, и еще будут...

Утром чуть свет я отправился на базар. Людей на улице еще мало. На пороге глинобитного дома сидел старик, трубку курил. Я спросил у него, как пройти к базару. Он вынул изо рта трубку и весьма охотно принялся рассказывать. Говорит он неторопливо, обстоятельно и так путано, что чем больше он объяснял, дальше уходил от меня базар и непостижимей казалась дорога к нему. Старик, видно, и сам это за собой знает, начинает сначала. Наконец я, кажется, что-то понял. Сказал спасибо и пошел, как он учил. На первом же перекрестке мне попалась пожилая женщина с большой корзиной. Для верности спросил и у нее.

— Да вот базар,— ткнула подбородком,— под носом у тебя.

И всего-то!

На базаре бабы, старухи солеными огурцами, капустой, чесноком торгуют, сушеным урюком, картофельными пирогами, творогом да еще много чем. Только все это мне знакомо, ничего такого, чего бы раньше не видел, не примечаю. Сначала я все ряды обошел, глазами перешупал, потом уже спрашивать начал.

Ответ один — нет. Некоторые торговки, помоложе, подшучивать принялись:

— Что, на соленое потянуло?

— Моченые яблоки, они в этом случае в самую охотку!

— Сама знаю, душа просит, вынь да положь. Так?

— Не то что просит — бунтует, — подтвердил я.

— Ну, жди девочку!

— Что ж, коли суждено, и оглобля, говорят, стрельнет.

С ведрами, мешками, сумками подходили новые торговки. Я уже несколько раз обошел все ряды:

— Моченых яблок нет ли?

— Нет.

— ...нет ли?

— Нет.

Миловидная женщина, продававшая фасоль, сама заговорила со мной:

— Давно смотрю, солдат, пять раз ты уже базар обошел. Будто не моченые яблоки ищешь, а от смерти лекарство.

— Кабы не от смерти, не искал бы так. Не для себя, сам я их не пробовал никогда...

— Кажись, у меня дома на дне кадушки осталось несколько штук. Подожди немного. Продам вот эти пять стаканов своего товара и пойдем.

— Мне еще пять-шесть стаканов фасоли нужно было...

— Не хитри, солдат, тебе фасоль ни к чему, куда тебе деньгами сорить, и так шея с былиночку. Иди, под деревом в тенечке посиди.

Распродала свой товар, нет ли, но скоро женщина подошла ко мне:

— Пошли.

Я последовал за ней. Немного пройдя, она остановилась.

— Э, дела-то у тебя у самого неходкие, хомут давит. Ладно, потише пойдем.

Узкими улочками, кривыми переулками, заворачивая то вправо, то влево, мы шли довольно долго. Наконец остановились перед ветхой скособочившейся хибаркой на уступе горы. Женщина откинула веревочную петлю на калитке.

— Вот такой наш хутор.

— Какое ни есть, а свое гнездо.

— Не сама я это гнездо вила, браток, осиротелый был дом, заброшенный, от нужды поселились...

На низком стуле возле завалинки сидела старуха. При скрипе калитки она насторожилась.

— Ты, что ли, Галинка?

— Я, мама.

— Я шаги-то издалека слышала. Кажется, и гость есть.

— Да, мама.

Когда вошли в дом, Галина объяснила:

— Мама от бомбы ослепла. Там, на Украине, бомба в нашу хату попала. Все добро враз похоронила. Ладно еще, мама в огороде была.

Галина вышла и вскоре вернулась с тарелкой, в которой лежали черные сморщенные комочки, на яблоки и непохожие.

— Вот все, чем богата. Тарелку дать не могу, с посудой худо.

Достала заткнутую за шкаф желтую плотную бумагу, завернула яблоки. Я хотел расплатиться, достал деньги.

— За лекарство от смерти денег не берем. Слава богу, мы украинцы,— пристыдила меня Галина.— Кто есть будет — на здоровье.

Не три сморщенных яблочка я вынес из этого сиротливого домика, а неисчислимые душевные сокровища.

Эх люди! Вы — вечная тайна. Никогда не угадаешь, в ком какой скрывается щедрый дух. Галина! Я снова обращаю к вам взгляд. После той встречи с вами у меня в жизни было многое — в больших дворцах мне вручали подарки, из почтенных, уважаемых рук я принимал награды страны, из уст благородных, справедливых и рассудительных мужчин слышал слова похвалы и одобрения. Было. И каждый раз я искренне радовался. Но эта радость, Галина, никогда не застилала стойкого света

того давнего вашего подарка и других, схожих с ним, даров. А если бы вдруг застлала, остался бы я — сам себя обокравший и разоренный дотла.

Прижимая к груди свое богатство, я поспешил к госпиталю. Сбился с пути, нашел дорогу, снова сбился и наконец благополучно добрался.

Направился прямо к Людмиле. Сегодня ее дела вроде бы неплохи. Принарядилась, высоко зачесанные волосы повязала белой лентой. Она помолодела даже. В припухлых губах было что-то от девочки-подростка. Она сидела на табуретке возле окна и вязала. Кажется, детскую шапочку. Вот интересно, почему детскую шапочку?

Увидев меня, она отложила работу и встала, весь вид ее будто говорил: «А сегодня я вот какая».

— Если отгадаете, что у меня в руке, — подарок получите, — с порога сказал я, даже забыв поздороваться.

— Здравствуйте, — сказала она.

Я смутился.

— Здравствуйте. Простите.

— А если не отгадаю, — она показала на сверток, — кому подарите?

— Все равно вам.

— Как интересно! — Когда ей весело, она часто это говорит. — Нет, скорей умру, чем отгадаю. Если хотите, чтобы я жила, показывайте быстрее.

— Хочу, чтоб вечно жили...

Я не спеша развернул сверток. Показались темные сморщенные три комочка.

— Яблоки? Моченые яблоки?! О господи! Что вы за человек? Я их потом, без вас съем. — Она снова их завернула и положила на тумбочку. — Спасибо, Капитан! Такие подарки не забываются.

Вполне возможно, что этих яблок Людмиле только вчера и хотелось. Быть может, сегодня она их и не попробует. Но радость и благодарность ее были искренни. Где и как я их разыскал, она не допытывалась. И в этом были свои деликатность и благородство.

— Ну, сядем.

Когда мы сели, она снова взяла в руки свое вязание.

— Решила дочкам своим шапочки связать, — сообщила она. — От первого мужа у меня девочки-близнецы

остались. Уже четыре им исполнилось. Одна на отца похожа, другая на меня. Настоящие попрыгуны.

Людмила сегодня спокойна: не томится, не мечется, и пальцы ходят уверенно, быстро. В глаза ей заглянуть я не решаюсь. Но и в них, наверное, сегодня тишь.

— У меня тоже сын четырех лет,— сказал я. Сказал, и будто ожили в ушах слова сына. Когда я, еще здоровый, был в отпуске, он крепко обнял меня за шею и воскликнул: «Я больше никогда не отпущу тебя на войну одного! Никогда-никогда!»

— Вот интересно! И вашему четыре. Хотите, я ему тоже шапочку свяжу?

— Он парень. Уже кепку носит.

— На кого похож?

Из комсомольского билета, пробитого немецким осколком, я достал карточку, где были сняты вдвоем — мать и сын.

— На маму похож. Пригожим будет. Я карточку своих девочек не стала брать, чтобы душу не травить. А то каждый раз буду смотреть и плакать.— Она взяла фотографию.— У вашей жены глаза умные. Зря говорят, что красивой женщине ума не надо. Самое удручающее зрелище — красивая дурочка. Ошибка природы, причем большая...

Мы пошли на поправку, окрепли, на ноги уже встали твердо.

На гору подниматься пока решимости не хватает, но, только спадет дневная жара, идем к морю. Сидим и смотрим, как разлетается брызгами разбившаяся волна, как, борясь с прибоем, купаются здоровые люди. Следим за дымками проходящих на горизонте пароходов и делим их между собой: один ей, другой мне, третий ей, четвертый мне... Столько у нас пароходов, а мы все на берегу сидим.

Но Людмила то ли остыла ко мне, то ли сдержанней стала: и волос моих не гладит, и руки ее при встречах и прощаниях молчат. Однако если мы хоть немного не видимся, сама приходит под окно и выкликает меня. Я все время стремлюсь к ней. И ее и мои соседи на нас, как на неразлучных влюбленных, смотрят. Считая, что любовь — самый тяжелый из недугов, они выказывают свою солидарность, сочувствуют нам. Даже Мария Аристарховна решила не обращать на нас внимания. Лишь приехавший из Киева молодой подполковник очень ста-

рательно начал вокруг Людмилы силки расставлять. Увидит на улице — за ней увяжется, в кино пойдём — вокруг нас вьётся, меня оттирает. В палату к Людмиле только при мне сколько раз стучался. Но быстро обжегся. «Видите же, подполковник, я капитаном увлечена», — наконец сказала она ему, непонятливому.

...Через двадцать пять лет этот подполковник по какому-то делу приехал в Уфу. Расспросил людей, разыскал меня, был у нас дома, пили чай. Рассказал, что Людмилой он тогда не просто увлечен был, а влюбился сильно, по-настоящему, не мог забыть всю жизнь. «Я тогда увидел, что душа у нее небывалая, волшебная душа. Вы счастливый. Вы с ней рядом были... Той весной я ненавидел вас через край. А теперь сам вас разыскал. Какая-то сила сама привела. Душа утешение получила...» Он давно уже не военный. На слова и жесты сдержан, человек, видать, мягкий. А тогда таким решительным и хватким его, вероятно, сделала любовь...

Теперь я Людмиле никого не заменяю, сам собой хожу. Потому и отношения ровные, спокойные. К тому же я ее, как видите, от натиска других мужчин защищаю, от страстных взглядов заслоняю. Погоди-ка! Вот чудеса!.. Опять я кого-то заменяю, чьи-то обязанности исполняю: вот сейчас я в должности щита...

Пришло время уезжать. Мы должны ехать вместе. Вечером долго сидели на улице. Та луна уже кончилась, родился новый месяц, маленький, горбатенький. Он даже не на небе, а рядом, уцепившись за ветку магнолии, висит. Дотянись и возьми. Но мне сейчас не до него. Людмила не в себе. Все нужные слова заблудились где-то. Воспоминаниям рановато, а обещаниям... Любые обещания были бы ложью. Первой заговорила она:

— Спасибо вам, Капитан.

— За что?

— Не знаю, не умею сказать, по полочкам не разложу, — она взяла мою руку в ладонь, пожала, но не отпустила. «Ни за что. Просто ты сам по себе дорог мне. А больше сказать боюсь...» — говорила ее рука. Потом еще что-то добавила, но я не понял.

Выехали рано, по утренней прохладе. Хотя автобус был набит битком, до Симферополя добрались благополучно, дорога Людмилу не измучила. Поместили нас в домике неподалеку от вокзала. Поезд уходил только вечером.

Едва мы сошли с автобуса, как возле меня начал крутиться какой-то маленький, с выпирающими, как долото, зубами рыжий лейтенантик. Он все что-то хотел сказать мне, звал куда-то. Но объясняться с ним было некогда, надо чемоданы занести, Людмилу устроить.

Только я все более-менее уладил и вышел на улицу, как опять появился тот лейтенант и во весь свой малый росточек вытянулся передо мной.

— Лейтенант Уточкин! Леня Уточкин. Будем знакомы.— И он резко откинул голову назад. Сейчас он походил на глотающего свой корм утенка. Если бы он не назвал себя Уточкиным, я, возможно, этого жеста его и не заметил бы.

— Будем знакомы. Капитан...

— Знаете, капитан, ведь до вечера здесь от жажды помереть можно. К тому же без дела и день зазря пропадет.

— А что нужно делать, чтобы день зазря не пропал?

— Нужно с утра начать вино пить. Я тут одно весьма симпатичное место знаю. Пошли?

Что касается такого «дела», у меня у самого в горле щекочет. Тут я и сам не промах, был бы намек. Надо только Людмилу предупредить, а то нехорошо.

— Я только скажу и выйду...

— Ка-пи-тан! — протянул Уточкин.— Ты же солдат, Европу освободил, цени свою свободу! Чего же спрашивать? Пошли!

— Да женщина там...

— Женщины ждать должны. Как в той песне поется:

Когда солдаты пьют вино, пьют вино,
Подружки ждут их все равно, все равно.

Песня — она, брат, точно скажет.

Этот щуплый лейтенант прямо насел на меня. Мои ахи-охи и не слушает, знай ведет. Про себя-то я противлюсь такой настырности, но на деле отпора дать не могу, его слушаюсь.

Уточкин привел меня к винному павильону. Дверь павильона была заперта, окна закрыты ставнями.

— Это хорошо. Никто мешать не будет,— сказал мой вожатый. Он пошел к задней двери и постучал. Ответа не было. Тогда он стал выстукивать азбукой Морзе. Вдруг, будто велением свыше, дверь сама распахнулась. Встретил нас старик армянин на деревянной ноге.

— А, лейтенант! Уже вернулся?

— Домой еду, дедушка, белый билет выдали. Вроде твоей деревяшки, навечно.

— Я на свою деревяшку не обижаюсь. Не мерзла, не болела, терпеливая была. Что пить будете?.

— Что получше.

Для начала мы по стакану кисловатого белого вина выпили, потом сладкого розового попробовали и перешли на красное. Когда прошли первый круг, Леня Уточкин изо всех сил хлопнул по столу:

— Я генералом стать родился! Кавалерийским генералом. А теперь отставной лейтенант!.. Пустая гильза...

— Спасибо скажи, что уцелел, что живешь, дурак беспамятный,— ругнул его хозяин.

— И навозный жук живет! Что мне, этот свой иконстас на пастуший кафтан навесить, что ли? — он ребром ладони провел по груди, полной орденов и медалей. Как-то глухо и невесело звякнули они.

— Нелегко это, брат, в двадцать три года со всеми мечтами распрощаться... Ох нелегко...

Я уже порядком пьян, но Леню Уточкина и понять, и пожалеть могу. Мы с ним словно в двух разных мирах, в разных временах живем. У него надежды позади остались, а мои, жив буду, все впереди. И уже нет того беспечного, настырного лейтенанта, совсем другой человек сидит. Видно, он свои боли, свои терзания под сверкающей чешуей да петушиным наскоком прятал. Что я ему скажу, чем утешу?

В первый раз у меня такое. Мы, уцелевшие, уже тем благодарны, как старый армянин сказал, что просто живем. А Лене Уточкину этого мало.

Но лейтенант вдруг резко оборвал жалобы и снова надел свою кольчугу. Мы, весь свет забыв, принялись глушить дальше. После деда-армянина мы в какой-то погребок спускались, по кружке опрокинули, потом на базаре очутились, на обратном пути в вокзальный буфет заглянули. Но не успели здесь развернуться, как кто-то дернул меня за рукав.

— Капитан! Я весь город обошла, вас искала! Ох, как я напугалась... Живой... Ладно, живой!

Я поднял глаза, но вымолвить не могу ни слова. Язык не ворочается, к нёбу прилип.

— Господи! До чего себя довел...

Сначала качнулись бутылки на полках, потом окна закачались, стены. Вот они уже и рухнули бы, но тут начал крутиться весь дом. И все завертелось. Только два бездонных глаза не шелохнутся. Я таю, я пропадаю, исчезаю... Нет, не таю, тону. Эти два глаза меня затягивают.

Проснулся я от дребезга и грохотанья. Оказывается, уже в поезде едем. На лбу мокрая тряпка. Чья-то рука придерживает ее. Я знаю эту руку. Людмила. Вчерашние пьяные похождения развернулись передо мной. В испуге я быстро зажмурил глаза. Но те великолепные виды подступают все ближе. Становятся все ярче, четче, позорнее... Да только веками от сраму не прикроешься.

— Пить хотите?

— Да...

Обняв за шею, она приподняла мою голову. Руки горячие и, кажется, немного дрожат.

— Если можете, если в силах, простите меня, Людмила.

— Хорошо... Пейте же, бородатый младенец. Дыхание у вас останавливалось. Несколько раз. Я так испугалась... Пейте же.— Она держала стакан, пока я пил.

Сверху чья-то большая тощая нога свесилась. Мерно, в такт вагона раскачивается. Это, наверное, отрезанная нога того старика армянина висит. Наверное, она... Нет, я брежу. Я схожу с ума.

— Я брежу, Людмила.

— Теперь уже нет.— Она опустила мою голову на подушку.— Спите.

— И вы...

— И я.

За всю ночь Людмила к подушке и не приткнулась. Когда ни проснусь, она все так же сидит, мокрое полотенце у меня на лбу держит. К утру мои дела поправились. Тогда и Людмила прямо так, не раздеваясь, прилегла. Она задремала, а я в первый и последний раз в жизни так долго смотрел в ее лицо. На длинные ресницы, на слегка припухшие губы смотрел, на высокий лоб, черные волосы, маленькие уши, смотрел и не мог

утолить взгляда. Она, видно, почуяла мой взгляд, открыла глаза:

— Что, Капитан? Почему так пристально смотрите?

— Расстаемся ведь. Потом рад буду посмотреть, да...

— Раньше времени не грустите. Целый день еще впереди. Самый длинный день в году — двадцать третье июня.

Наверное, такого короткого, так быстро пролетевшего дня в моей жизни больше не было. Сверкнул, как выбитая из кресала искорка. Ни людей, ехавших с нами в купе, ни зеленого летнего мира, бежавшего за окном, я и заметить не успел. День этот — весь был в глазах Людмилы. Она только веки подняла и опустила — он загорелся и погас.

Ночью мы приехали в Сталинград. Здесь поезд стоит полчаса. Отсюда Людмила поедет на Ростов. Ее должен встречать муж. Мы взяли ее вещи и вышли из вагона. Льет дождь. Ждем Людмилиного мужа. Никто не подходит к нам. Прошло, наверное, пять минут, десять... Стоим. Слов нет. Скоро с другим человеком другие будут слова говорить. А того все нет и нет. Решили больше не ждать, идти к вокзалу. Порядком в стороне стояло дощатое здание, это и был вокзал. Дойдя до крыльца, Людмила протянула руку:

— Будь здоров, Капитан, прощай... Напиши мне. Одно письмо.

Она не захотела, чтобы я заходил внутрь. Я поставил ее чемодан у порога и побежал к поезду. Задыхаюсь, останавливаюсь, снова бегу. Дождь льет все сильней и сильней. Еще и ветер порывами бьет. Я промок насквозь. Добежал до перрона, увидел свой состав, немного успокоился. Остановился, отдышался. Вдруг, заглушая шум дождя, по пустому перрону прокатился громкий зов, и так тревожен голос, что кажется: или сам он во тьме этой гибельной ночи заблудился, или кого-то заблудившегося ищет:

— Людмила! Людмила Соколова, где ты?! Людмила! Людмила Соколова!

Он за моей спиной пробежал к концу поезда. Я не оглянулся. Голос, пока не заглох в шуме дождя, все повторял:

— Людмила Соколова, где ты? Людмила! Людмила Соколова!

Этот зов прошел, прополосовав меня по сердцу. И когда в поезд сел, и когда сошел, лежу ли, хожу ли, в ушах и в душе все тот же возглас звучит. Теперь уже я сам взываю, заблудившаяся моя душа кличет: «Людмила Соколова, где ты?!» Ответа нет. Я написал ей одно за другим два письма. И что дни Людмилы сочтены, знаю, и что чувства мои безысходны, понимаю, и что слова мои ни утешения ей, ни облегчения не принесут, ясно вижу, но пишу. Может, мои письма к самой ее смерти придут, может, умные ее руки и прикоснуться к ним не успеют, но я пишу. Ведь я-то еще живу.

Письма мои успели. Пришел ответ.

«Дорогой человек!

Наверное, уже по почерку чувствуете, что пальцы меня не слушаются. Буквы рассыпаются. И все же пишу. Я только одно хочу сказать: я вас, уже вас самого люблю. Того, который был в Ялте, а не симферопольского. Нет, не верно! Делить, мелочиться — это ли дело? Я всю вашу прошлую жизнь люблю, и всю, что вам еще предстоит прожить... А я с жизнью еще в апреле должна была расстаться. Тогда, сойдя с автобуса, я прошла немного и села на чемодан. С морем, с горами прощалась. Передо мной остановились вы. Я прогнала вас, чтобы никто не увидел моей муки. Прогнала и тут же пожалела. Но мы еще встретились... Знаете, что вы сделали? Вы мне три месяца, полных три месяца жизни подарили... Три месяца я только на любви жила. Три месяца она оберегала меня от смерти. Если бы мы встретились раньше, может, и пересилили бы. Только поздно уже... Но и за это вам, судьбе спасибо... И счастье свое, и радости, которыми не жила, вам оставляю. За меня порадитесь, за меня будьте счастливы. Не грустите...

Людмила».

Второе письмо в кармане моей гимнастерки было вот это.

К кому пойду, в чьи ладони приткну свою голову? Давно уже остыли теплые руки Старшей Матери. На вечное черное ее одеяло — на черный ее могильный холмик — то зеленое, то желтое, то белое ложится покрывало. И там меняются времена...

СТАРШАЯ МАТЬ ПРОЩАЕТСЯ

Видно, чуткие люди даже день и час знают, когда свою смерть ожидать. Старшая Мать последние годы болела все чаще и чаще. Нутро жгло, маялась, покоя не знала. Круглый год девясил или полынь отваривала и пила. Этот полынный отвар в рот взять страшно, такой горький. Старшая Мать пила и не морщилась. Ни на боли, ни на горечь полынную — она не жаловалась. Да и кому пожалуешься? В доме она — самая старшая. А потому ни забот, ни горести, ни малой даже хворости — у нее и быть не может. И боль не в боль, и ожог не ноет. У других лишь ноет. И полынь ей не горька, другим только... Разумеется, это я уже потом пойму.

К вечеру пошел мягкий пушистый снег. Первый снег. И долгая черная осень на глазах стала белой-белой зимой. Немного же, оказывается, нужно, чтобы поменять время года. Проплыла-проскользнула над землей снеговая туча — вот и все. Но порой и этот белоснежный мир в мгновение ока снова черным-черным становится. Это я тоже сам пережил.

И только первые снежинки замелькали в воздухе, Старшая Мать пошла и легла на свою перину. Вся жизнь ее во внутренней, хозяйской, половине с детворой прошла, а тут она сказала Младшей Матери, чтобы ей в гостевой половине, окно которой на улицу выходит, постелила. Перед тем как лечь, новое цветастое платье, зеленый камзол с серебряным нагрудником надела, голову повязала белым платком. Мне и Салиху занести к ней упокойный сундук велела.

Что же это — упокойный сундук? Это вещь потайная, заветная. Старушки у нас, загодя готовясь к смерти, по силам-средствам своим копят улемтек — смертный узелок. В нем — мыло, пузырек крохотный с духами, райское платье, в котором в саван зашьют (райское потому, что в нем она и в рай войдет), сам саван, иголки, нитки — саван зашивать, и прочие необходимые для погребения вещи.

Но это — малая только часть богатства, которое в том сундуке хранится. Главное сокровище — подарки. Их покойница живым оставляет. Конечно, сама, своими руками раздать их она не может. Кто-нибудь другой, от ее имени, раздает потом. Удивительный все же обычай: человек в могилу уходит, а сам, словно на свадьбу пришел, подар-

ки дарит. В сундуке, который мы занесли к Старшей Матери, вот это ее достояние и было. Тяжелый оказался сундук. Много скопила.

— В дальнюю дорогу собралась я, Вазифа, два-три денечка полежу здесь одна, передохнуть надо...— сказала Старшая Мать, когда голова ее опустилась на подушку.

У меня сердце зашлось. И все обмерли. Что это? Уж не бредит ли Старшая Мать? Да нет, глаза ясные, приветливые, только измученные какие-то.

— О господи, и отца-то дома нет! Может, Салиха за ним послать? — всполошилась Младшая Мать.

— Успеет, вернется. Еще не скоро. Все должное в свой срок свершим.

Нет, постой-ка, что же это такое? Страшные же слова сказала Старшая Мать! А голос такой, будто она за вечерним чаем обычные новости сообщает. Первый беззвучный всхлип вырвался из груди, а разум еще не принял беды, еще не верит. Вот так же и солнце, светит себе на ясном краю неба, словно и не видит, как с другого края, бушуя, наползает на него черная в молниях гроза. Но скоро и оно утонет в черной туче. Наползла уже беда, только рассудка моего еще не захватила.

Отец в городе. Самый Старший мой брат Муртаза на Урале, лес для колхоза заготавливает. Из мужчин в доме только брат Салих да я.

— Дети мои, сюда подойдите,— подозвала нас Старшая Мать,— у меня к вам просьба есть.

Видно, мы совсем головы повесили.

— Голов не вешайте. Наберитесь терпения. В эти дни у меня много будет поручений к вам.

— Мы ведь что же, Старшая Мать, только скажи... Мы ведь живо... Только поручи, Старшая Мать...— теряясь, сказал брат Салих.

— Детей, которых я на свет приняла, пуповину которых перерезала, хочу видеть. Завтра соберите всех. От тридцатидневных до тридцатилетних, пусть каждый придет.— И властно прозвучал ее голос: — Каждый! Из дома в дом не ходите, только весть пустите.

Весть эта в одно мгновение обошла аул. Кого касалась — сам догадался, кому не в догадку еще — отец с матерью есть. Удивительно это, непонятно. Но Старшая Мать пустого не затеет. Значит, так надо. Ночь Старшая Мать, как сама пожелала, провела одна. Утром, не поднимаясь с постели, выпила чашку чая. Больше ни к чему

не притронулась. Я уже задал корму скотине, вычистил стойла. Было ясное звенящее утро. Но и чистота, прозрачность его, и сияние искрящегося голубого неба, видного от края до края, лишь сгущали сумрак и тишину в нашем доме. Мир жил сам по себе, мы — сами по себе.

Еще в хозяйской половине со стола после утреннего чая не убрали, как начал стекаться народ. Первой с грудным младенцем на руках и еще с четырьмя черными, как чугуны, ребятишками пришла жена Черного Юмагула. Старших близнецов, Хабибуллу и Хисматуллу, я знаю. Они уже в школу ходят. Остальных же мальчиков, двух младших близнецов, и того, который на руках, я не знаю. Эти уже без моего участия родились. Вслед за Юмагуловым выводком сын старика Кадыргула с улицы Трех Петухов, горбоносый Ишмурза, свой клюв в дверь просунул. Асхат с Хамитьяном в угол забились. Вошла Фарида, которая «в темном доме плачет, леденеет», к печке прислонилась. (Она уже совсем девушкой стала и красивой на диво. Только никто еще не приглянулся ей. Если бы приглянулся, было бы известно.)

И взрослые уже парни и девушки пришли, на руках ли принесли, за руки ли привели младших своих братишек и сестреночек. И супружеские пары попадают. Кое-кто и с детишками. Короче, те, кто ползает, на ногах стоит, бегом бегают, в джигиты вытянулся, в невесты вышла, — все шли и шли.

Сначала набилась хозяйская половина. Старшие, младшим место давая, вышли в сени. Но и там стало тесно, они высыпали во двор. Только из родни нашей никого нет. Потому что родственникам своим Старшая Мать повитухой не была. К ним других старушек звали. Дом и двор заполнили большие и малые дети человечьи.

Пришел даже Тажетдин, известный своей злостью и бессердечностью. Он всю округу в страхе держит. В давешний голодный год он и меня изрядно напугал. Я тогда за гумном пальбу из самодельного нагана устроил. Вся-то стрельба, что в дуло щепотку пороха насыплешь да против дырки в боку ствола спичкой чиркнешь. Вдруг откуда-то появился Тажетдин и вырвал у меня наган. «Вот как! — зарычал он на меня. — Убийство замышляешь! Да ты знаешь, что будет, если я про это оружие в сельсовет сообщу? В остроге сгноят, потом расстреляют! Пропала твоя голова, парень!» Страх меня до пяток пронял. Погиб! Тажетдин, он жалости не знает. Тут любая

мольба бессильна. Ни жив ни мертв стою. Он немного поостыл вроде и говорит: «Ладно, так и быть, ради Старшей Матери только и спасаю тебя. Но как стемнеет, принесешь ведро картошки. Картошку у нас на задворках под дубом ссыплешь. Да смотри, чтобы ведро полное было. Пройдешь вот здесь, за гумном. И чтобы никому об этом ни звука!» Сунул мой наган в карман и пошел своей дорогой. На меня и не оглянулся. А я так и остался стоять, в страхе и сомнении. Только бы не раздумал! Как стемнело, утянул я из погреба ведро картошки и вывалил под дубом. Надо и то признать, что слово свое Тажетдин сдержал. О моем преступлении никто не узнал. Все же легко я отделался. Кабы не Старшая Мать, сгнула бы моя голова... Вот этот Тажетдин тоже пришел. Тихий, вежливый, прямо зять муллы...

Я прошел к Старшей Матери.

— Все собрались, Старшая Мать.

— Пусть войдут.

За минуту наша гостевая половина была полным-полна, битком набилась людьми.

Все стоят. Лишь матери с грудными детьми, старушки с внучатами да самые маленькие уселись, сколько места хватило. Какой только породы, какой масти здесь нет! Черноволосые и белокурые, с глазами черными, как омут, и светлыми, как ясное небо, курносые и горбоносые, красивые и некрасивые. И всем им первое благословение дала Старшая Мать. Из наших на эту половину зашел один я. Такова была ее воля.

Говор, шум и шепот унялись тут же. Даже малыши притихли. Тишина, наступившая оттого, что совсем притихли малые дети, очень скоро становится тишиной тревожной, даже угрожающей. Вот и сейчас какая-то тревога повисла в доме.

Старшая Мать поднялась и села. Медленно повернула голову, прошла взглядом по лицу каждого. На одних она смотрела долго, пристально, на других только на миг задерживала взор. Кое-кого и по имени называла: «Выросла Забира, давно тебя не видела... Глаз-то, оказывается, зажил у тебя, Султангали... Говорили, что плакса Шаймурат, теперь, наверное, уже не плачет... Дай-ка, сноха, еще раз на твоего меньшого посмотрю...» Жена Черного Юмагула своего причмокивающего во сне чугунного малыша повернула лицом к Старшей Матери. На этого, еще и безымянного, мальчика смотрела она

всего дольше. (Самый новый человек аула, он был последним ребенком, которого приняла в мир Старшая Мать.) Вот взгляд ее остановился на Тажетдине. «Хорошо, что пришел», — одобрил этот взгляд.

Старшие в удивлении, младшие в смущении — все с нетерпением ждали, что будет дальше. Не на поверку же, не для того, чтобы осмотреть каждого, позвала их Старшая Мать. Вероятно, что-то будет. Конечно, не на веселое дело спозаранок созвали...

Старшая Мать выпрямилась.

— Дети, — сказала она, — в этот светлый мир я вас поодиночке принимала. А вот попрощаться — всех разом созвала. Спасибо, что пришли. Кому сейчас моя благодарность не понятна, поймет, когда вырастет. Решила я: пока жива, пока в памяти, друг на друга поглядим, распрощаемся... Что-то не по себе мне. Наперед не угадаешь.

Кто-то всхлипнул. Это была та самая Фарида. Все оглянулись на нее.

Старшая Мать с непривычной сухостью в голосе сказала:

— Коли на слезы пойдет, дети, тогда лучше сразу разойтись. Я не для того вас созвала. Пока еще рано. Придет пора, унимать не буду. Да и не смогу уже. А сейчас вволю, спокойно поговорим.

Сказала она и все русла, которыми слезы из души к глазам бегут, разом перекрыла.

— Это она так, мать, от чувствительности... — заступился за Фариду Асхат.

Старшая Мать ничего не сказала, кивнула только. Она долго молчала и потом обычным своим мягким, теплым голосом начала:

— Ни увещания, ни завещания от меня, дети, не ждите. Не затем я вас позвала. Кто в колыбели лежит, грудь сосет, кто землю пашет, хлеб жнет, каждому благословение свое обновляю и еще раз говорю: будьте добры друг к другу — и сами с добром будете.

— Спасибо, мать, не забудем, — откликнулся Асхат. Дорогому слову он цену знает.

Разумеется, речь Старшей Матери не всякий понял. Она это и сама чувствовала. Но, верно, думала: кто не поймет, так запомнит, упадет доброе зерно и потом в свой срок взойдет. Взойдет и станет колосом. Вот так из зернышка выходит колос ржи, в котором тридцать зерен.

У малышей терпения ненадолго хватило, уже понем-



ногу вертеться, шуметь начали. Вдруг Старшая Мать выскользнула из-под одеяла и опустилась на колени возле того сундука. Правой рукой она легонько погладила крышку.

— В жизни я много подарков получала,— сказала она.— В час вашего рождения несли мне дорогие подар-

ки. Ценой не дорогие — так за дорогое принимала. Курицу давали — за гуся считала, медь — за золото, холстину — за шелк, — и лукаво рассмеялась. — Вот так я разжилась, разбогатела. Вот сколько добра накопила, — и она опять погладила сундук. — Что с мира взято — в мир и вернуться должно. До сих пор лишь меня одаривали. Многие меня оделяли, многих и я оделю. — Со звоном откинулась крышка сундука. Но никто, шею вытянув, к сундуку не бросился. — Хоть пуговицу подарю, за верблюда сочтите. Ну, подходите. Младших пропустите вперед...

Уж этого-то никто не ожидал. Старшая Мать посветлела лицом, легкими сделались движения рук, во всем ее облике были живость и довольство. Сейчас она будет исполнять самое высокое, самое святое, самое красивое в своей жизни дело. Но никто еще с места не сдвинулся. Дивятся, ждут. Старшая Мать сказала жене Черного Юмагула:

— Тогда, сноха, с тебя начнем, — и она вручила красивую соску для малыша. Хабибулле же с Хисматуллой досталось по карандашу. И пошло!.. Осмелевшие дети уже сами обступили сундук. Но никто руки не тянет, ждут терпеливо, приличие соблюдают. Щедрые руки Старшей Матери доставали из сундука вещи — одна другой замечательней. Одной глиняная куколка досталась, другому — свисток, третьей — катушка, четвертому — оловянный солдатик, пятой — наперсток, шестому — резиновый мячик, седьмой — булавка со сверкающим камешком... Старшим и того богаче подарки достались: пахучее мыло, духи в пузырьчиках с мизинчик, кривые гребенки, пудра, колечки медные, железный кубыз, алые и голубые ленты, в косу заплетать, бронзовые щипчики и другие подобные вещи. Сутолоки не было. Каждый получит свой подарок и идет на место. Все же, хоть интересно было, затянулись эти хлопоты надолго. Старшая Мать утомилась. Но каждого подошедшего — от первого до последнего — по спине похлопает, по голове погладит. Ни старших, ни младших — никого не обошла. Только Тажетдина приласкать почему-то забыла. Протянула подарок, посмотрела на него с какой-то жалостью и отвернулась.

— Всем досталось? — спросила она под конец.

Никто не откликнулся.

— Никого не обделила?

Снова молчание.

— Ладно, тогда это на последний день останется,— и Старшая Мать захлопнула крышку сундука.

И тут стоявшая возле дверей маленькая черноволосая девочка лет шести-семи вдруг вскрикнула и заплакала. Тянет всем обе ладошки и причитает:

— Мне ничего не дали... Не верите, вот смотрите... И не приласкала меня повивальная бабушка...

Мальчик постарше тут же сунул ей глиняного зайца. Та не взяла, но плакать перестала. Старшая Мать снова открыла сундук, подозвала девочку к себе, по спинке похлопала, по головке погладила. Потом залезла в сундук поглубже и достала синий с красной каймой платок, развернула его, встряхнула, сложила вдвое и сама, своими руками повязала платок на ее голову. «Вот и тебе досталось»,— приласкала еще раз. Теперь уже сундук она совсем закрыла.

И подростки, и малыши, получив подарок, шумно не радовались, друг к другу не бросались: ну-ка, дескать, покажи... дай-ка поддержать... Такого странного дела ни у нас в ауле, ни в округе всей, наверное, еще не бывало. Чтобы человек сам своей рукой свои поминальные подарки раздавал... И впрямь, диво! Радоваться тут или печалиться? Какое это было высокое зрелище, мы поймем только потом, многие годы спустя,— те, конечно, кому суждено было понять.

Старшая Мать, не торопясь, снова залезла на свою перину. Еще раз осмотрела комнату, нас, детей, и больших и малых, взглядом перебрала.

— Хорошо, что встретились, друг на друга посмотрели. Коли уйду, каждому свое благословение оставляю. Каждому... Старшие, наверное, на могилу ко мне придут, горсть земли бросят. За это наперед спасибо говорю. Но одному из вас приходить не разрешаю.

Старшие беспокойно переглянулись между собой. Каждый в мыслях искать начал — кто же это? Но Старшая Мать долго ждать не заставила.

— Тажетдин,— сказала она, опустив голову,— слышала я, что одинокую свою мать обижаешь, языку своему волю даешь. Это правда?

Ответа не было.

— Слышала даже, что руку на мать поднял. Правда это?

— Правда... Не со злобы, сгоряча вышло...

Старшая Мать подняла голову:

— Слышали? Все слышали? Тажетдин свою мать ударил. И чтобы он этой своей рукой на мою могилу землю бросил? Нет на это моего разрешения,— она сняла руку с колена и махнула легонько.— Ну, теперь ступайте...

Все поднялись, не торопясь, уступая друг другу дорогу, начали выходить. С улицы уже слышались глубокие вздохи, тихий плач. Ладно, хоть дома стерпели, и на том спасибо. Я думал, что первым Тажетдин скроется. Нет, не скрылся. Последним остался. И когда никого уже не было, он положил на сундук маленький пузырек с одеколоном, который держал в руках, и тихо вышел.

Старшая Мать закрыла глаза. Кажется, задремала. Я остался возле нее — может, понадоблюсь.

Желтые лучи низкого зимнего солнца упали на ее лежащие поверх одеяла сухонькие руки. Они блестят, и кажется, что это они рассыпают лучи. Будто не две руки, а два осколка солнца лежат на одеяле. Потому, наверное, когда я опускал на них голову, теплом и лаской обдавало меня. Касались они — и все беды, боли снимали разом. А какие руки от мучений ее избавят, ее страдания снимут? Я снова и снова думаю об этом. Потому что уже в тот возраст вошел, когда задумываются.

Сколько я так сидел, не знаю. Но за это время, кажется, по всем тропкам прошел, по всем лесам и полянам, где когда-то ходил со Старшей Матерью. Ходил, но всех так и не исходил. Припав к родникам, пил воду, из которых когда-то пил вместе с ней. Пил, но так и не испил до конца. До шестнадцати своих лет дожил я под ее сенью. Живу, а из детства все выйти не могу. Вот она уже и в последнее кочевье собралась, к последнему своему пристанищу. Знаю, когда она уйдет, я буду плакать. Заплачу, но так всего и не выплачу... Вот и комок подкатил к горлу...

Она открыла глаза:

— Ты здесь, синнай. Хорошо...

— Может, думаю, нужно что...

— Не нужно. Хорошо, что остался... Ты есть, и мир не пуст.

— Детвора твоим подаркам радовалась,— соврал я.

— Не надо, синнай, не утешай меня. Нехорошо было бы, коли радовались. Бог надоумил — не радовались. Я же им не для веселья дарила, а для памяти. Не могла на прощанье пустую руку протягивать. Всех видеть хоте-

ла. Хвала господу, сбылось желание. Вот только с Та-жетдином — не сурово ли обошлась? Ладно, и ему, и другим уроком будет. Без таких уроков и жизнь не идет. Бывают грехи, которые простить нельзя. Помни: святей матери нет ничего.

— Знаю, Старшая Мать, дважды знаю — про вас обеих знаю...

Она снова закрыла глаза:

— Ни о чем не сожалею. Если и есть о чем, так теперь поздно. Жаль только, что тебя рановато покидаю. Крылья твои не окрепли еще, не покалечили бы их. Ты из детства еще не вышел. Впрочем, весь ты из него никогда и не выйдешь... И счастье, и беда твоя в этом. Бог тебе в помощь... Я и сама сегодня — между небом и землей будто. И не устала, кажется, и сил не осталось. Все на сон тянет.

Она опять уснула. Я вышел, прошел по аулу. Уже и слухи всякие про Старшую Мать разбежались. «Видно, ангелы ей про смертный час сообщили», — гадали одни. «Уж не свихнулась ли повитуха-то?» — огорчались другие... Третьи какой-то тайный смысл искали. А что человек, покуда жив, с живыми просто, по-человечески хотел распрощаться — это никому невдомек.

Вечером она сначала сестренку Салису и братишку Ильяса к себе позвала. Потом Салих долго был у нее. Мягкая душа у моего брата Салиха. Слезы только и ждут, чтобы брызнуть. И сейчас он вышел с мокрыми глазами. «Что, хуже стало?» — встревожилась Младшая Мать. «Нет, она у меня прощения просила, — ответил Салих, — если была какая нечаянная обида, прости, говорит...» Даже Бика, сдержанная наша сноха, не сдержалась, вышла от нее всхлипывая.

Последней в гостевую половину ушла Младшая Мать. Пробыла там очень долго. Малыши, ожидаючи, умаялись и заснули. Брат Салих в углу на чурбаке сидит, съежился, время от времени тяжело вздыхает. А мне становится все страшнее. Не вытерпел я, открыл тихонько дверь и вошел в гостевую половину. Лампа-семилинейка притушена, но разглядеть можно. Младшая Мать на голом незастланном полу возле Старшей Матери на коленях стоит. Та ей руку на голову положила, о чем-то говорят шепотом. Доносится голос Младшей Матери:

— Уж сколько лет все кажется, что живу я радостями, взятыми в долг. Иной раз вздрагиваю даже: будто и

дети мне только займы даны. Да ведь так оно и получается. Я их рожала, ты под свое крыло брала, выхаживала и растила. И радовалась я этому, и печалилась. Радовалась, что через детей и меня принимаешь. А почему печалилась, и сказать не могу. Нет, нет... Запуталась я что-то. Другое хотела сказать. А-а... Вот что: я ведь тоже не истукан какой-то, что из-за меня ты душой истерзалась, мучилась, давно поняла. Говорю же: все в долг — и радости, и счастье, и надежды. Порой в висках даже стучит: в долг, в долг, в долг. А как заболела ты, еще горше стало.— Она тихонько заплакала.— Минлеямал-апай! Или грехи отпусти, или сама, своим голосом меня прокляни! Не могу я тебе долг свой вернуть, не в моей это власти.

— И-и, дитя неразумное, ни греха, ни долга за тобой нет. Ничего я тебе в долг не давала. И счастье, и беды у каждого свои. Если помнишь, я ведь сама тебя сватала — в здравом рассудке и памяти.

— Это правда. Сама по воле и рассудку своему сватала. Только ведь одно дело рассудок, иное — сердце. Я тоже долго не раздумывала, по сторонам не оглядывалась, положились на твое благословение и согласилась. А вышло... Не знаю, что больше — душа ли радовалась, совесть ли мучилась. Или прости меня, или прокляни. Так не оставляй. Нельзя...

— Нет на тебе греха,— повторил мягкий голос Старшей Матери.— В моих прошлых муках ты не виновата, судьба виновата — моя судьба. А сейчас никаких у меня страданий нет...

— Минлеямал-апай, пожалуйста,— с мольбой сказала Младшая Мать,— бога ради, избавь меня от сомнений, освободи...

— Будь по-твоему. Освобождаю. Если остался на тебе какой грех, беру на себя... Я тебя сама сватала... Ну иди, не то дети заботятся...

Но Младшая Мать вставать не спешила. Я тихонько выскользнул за дверь.

Посреди ночи возвратился отец. Наутро сайрановская сестра с мужем приехали, за ними Салиха посылали. И другая родня из ближних аулов съехалась. Старшая Мать каждого к себе зазвала, с каждым поговорила и распрощалась. К вечеру этого дня ей стало плохо. Ночью полегчало. А на рассвете она ушла. Когда она умирала, возле нее только отец был. Видно, Старшая Мать так захотела.

Эта смерть и меня наполовину убила. Впору по земле кататься, рыдания душат, но заплакать не могу. Окаменел. Три дня Старшая Мать на наших глазах игру со своей смертью вела, хотела, видно, чтобы свыклись мы, нашу волю укрепить хотела. Чтобы не была неожиданной, не оглушила, не сразила нас ее смерть. Но ошиблась, не угадала. Мы не могли поверить, что она вот так просто, легко распрощается с миром. Не верим и сейчас. Вот она в новом цветастом платье, в новом камзоле, монетами обшитом, белым платком повязавшись, прилегла только. И не устала даже, просто сил нет.

Утром пошел крупный порхающий снег. И валил весь день, не переставая. Асхат и Хамитьян взяли коней из колхозной конюшни, верхом подъехали к нашему дому. Сейчас они по всему аулу самый страшный, самый скорбный клич разнесут. Разъехались по двум сторонам улицы, постояли, взглянули на наш дом и помчались на Нижний конец.

И донеслось поочередно два зова:

— На погребальную молитву!

— На погребальную молитву!

После полудня мы опустили Старшую Мать в могилу. Черная мягкая крыша выросла над ней. А снег все идет и идет. Вот и холм черной земли слился с этим белым миром. И следа могилы уже нет... Но вдруг все переменялось. Повалил черный снег, и черные снежинки к земле тянутся, в небо уносятся, с тихим воем вихрем кружатся. Весь мир во тьму погрузился. Лишь могила Старшей Матери белой горой над черной землей вздымается. Подлетают черные снежинки, на ее верхушку хотят опуститься, но не могут, какая-то сила не пускает, отгоняет их.

Народ уже весь с кладбища ушел. Кто-то взял меня за плечо, потряс. Брат Салих, оказывается.

— Пойдем...

— Куда? Зачем?

Вот так Старшая Мать навсегда покинула нас. Вместе с этой утратой еще и другая мука начала терзать меня. Покуда Старшая Мать была жива, я их с Младшей Матерью, казалось мне, равно любил. Вернее, об этом и не задумывался, любовь свою на доли не делил.

Но когда Старшая Мать оставила этот мир, я к Младшей — к родной матери, которая родила, грудью своей вскормила меня, — вдруг почувствовал холод и отчуждение. Даже избегать ее начал. Она мое горе разделить,

утешить, по голове погладить хочет. Я уклоняюсь, из-под рук ее выскальзываю. Она какие-то ласковые слова говорит. Я не слышу. Душа рвется, а ничего поделать не могу. Что же случилось со мной, что случилось? Неужели Старшая Мать все с собой забрала? Как быть? За все это Младшей Матери в ноги готов упасть, о прощении молить... Только не могу... Ведь мне уже шестнадцать. А сам, когда один останусь, плачу, удержаться не в силах. Это не я, детство мое, которое за камзол Старшей Матери держалось, плачет. И не скоро ему выплакаться...

Время брало свое. Как говорила Старшая Мать, блуждавшая душа к своему гнезду вернулась. Вернулась — и надвое разделилась. Одна половина памятью и верностью стала, вторая — жизнью и надеждой. Так каждой матери своя доля вышла — память и жизнь. И я одной душой, поделенной надвое, начал жить. Так и живу.

НАСИП УДАЧЛИВАЯ РУКА

Вот уже и с войны много лет миновало. Миру покой пришел, стране достаток. Раны телесные затянулись, душевные унялись. Несчастный с горем, сирота с сиротством, безногий с хромотой, безрукий с пустым рукавом своим свыкаются понемногу. А что делать, надо привыкать. Мы, кто из боя живыми вернулись, снова, как в детстве, сблизились, теснее стали жить. Общая судьба, которую мы пронесли по единственному шаткому мосту, от смерти к жизни протянувшись, снова у одного очага собрала нас. Даже мужчины, которые в юности из-за девушек чуть не ножи скрещивали, о кровной вражде своей забыли, к одному огню прибиваются, из одной чашки готовы есть. С теми, кто на чужбину уехал, вестями обмениваемся, приветы шлем. И все же одного мы, ровесники, боимся — переклички. Знаем, там, где когда-то густой лес шумел, редкие деревья стоят. Один ровесник отзовется, четверо — нет. Про лес я не зря вспомнил. Был возле аула когда-то могучий дубняк. За четыре долгие военные зимы его весь извели. Лишь одинокие печальные дубы то там, то здесь высятся. Самые огромные, самые могучие остались. Видно, женщинам и детям свалить их было не под силу.

Порою и чудо случается: или без вести пропавший — весточку пришлет, или уже отпели и похоронили кого, погибшим считали — сам домой приходит. Потому у ожидающих все еще не уймется в сердце надежда, ноет и ноет...

В год, когда помер было уже, да ожил Круглый Талип, вернулся в аул давно похороненный Насип Удачливая Рука. Мы встретились. Не будь этой встречи, мой рассказ о нем был бы, наверное, короток: «У Насипа рука легкая, это все знают. Что тут еще прибавишь?» А прибавить, оказывается, было что.

Узнав, что вернулся Насип, я тут же отправился в дом Шарафетдина Усатого — так отца Насипа прозывали. Всего-то и богатства у Шарафетдина было — вот эти черные, на ежонка похожие усы. Сколько я помню, вокруг двора плетня, на дворе скота у него не было, но усы он весь свой век берег, обихаживал, заботился о них. Сначала усы черными были, потом побелели, затем понемногу и желтыми стали. Была у Шарафетдина странная привычка: домочадцев своих он не по именам, а по прозвищам, самым придуманным, звал. Насип — Пес, средний — Помело, младший — Ухо, жена — Артистка. Ямлиха-енге на артистку совсем не похожа. Есть, правда, одна странность: идет себе, шагает и вдруг, из-за парализованной ноги, вкось пойдет или встанет и на месте немного потопчется. Вот и все, чем на артистку, может, похожа, Других талантов вроде и нет. А муж вон как ее высоко ставил — артисткой называл... Хоть Ямлиха-енге Насипу и мачехой приходилась, но его не обижала, мягкой была. А Шарафетдин крутой был, злющий. Никому житья не давал, особенно старшему сыну. Из руки стакана не выпускал, с языка мат не сходил. Он все время где-то на стороне бродил, чем-то промышлял. Плотничал, кажется. В короткие же свои наезды весь дом вверх дном переворачивал, всю улицу покоя лишал.

Кажется, случилось это в первые годы, как мы в колхоз вступили. Долго ходил где-то Шарафетдин и вернулся на сей раз с порядочной, по слухам, добычей. Вернулся и в самую горячую страду, пьяный, матерясь, из конца в конец улицы пошел шляться.

В сумерках после работы собрались на нашей заваulinке соседи, говорили о чем-то, когда, шатаясь, кроя на все корки японского царя, подошел Шарафетдин. Он, надрызгается когда, всегда так, прежде чем прицепиться к

кому-нибудь, начинает японского царя ругать, причем через слово на другое похабщину льет.

— Да я их всех в кучу — отца и деда его, японца старого... Всю родню его... весь род японский. Плевал я на царя японского. Да не то что пастуха Нуретдина, я даже и Казну-Исхака за него не отдам, чтоб мать его псы голодные задрали....

— Ты все-таки полегче, Шарафетдин, дети здесь, — сказал мой отец, — и женщины могут услышать.

— Пусть слышат! Что еще бабам нужно? — пригладил он ладонью усы. — Пусть слышат!

— На этом хватит, Шарафетдин, — еще раз предостерег отец.

— А ты что здесь сидишь, мне приказываешь, сын старый? Имеешь право? — раздулся тот. — Тебя что, японским царем поставили, что ли? Прочь, курица ташкентская! Да я твоего японского...

— Давно ты у меня в печенках сидишь! — сказал шестидесятипятилетний мой отец, вскочил легко и, размахнувшись, свалил Шарафетдина с ног. Тот упал навзничь. Долго лежал. Потом на четвереньки поднялся, головой помотал, в себя пришел. Встал на ноги, исподлобья, пристально смотрел на отца. Вот сейчас он на него бросится. Ну, жди драки. Шагнул вперед, откинулся немного. Но замахиваться не спешил.

— Хай-хай, агай! Тебя и впрямь царем можно поставить, — покачал он головой. — Ай-хай, агай, учинил же ты представление...

Повернулся и прямо, не шатаясь, пошел к своему дому. Уже отойдя порядочное расстояние, запел:

В косах милой паренек
Ленточку погладит —
После ходит, как хмельной,
С радостью не сладит.

Ба! Оказывается, он и такие красивые слова знает! Как-то к лицу даже.

После этого скверная его брань долетать до нас долетала, но сам пьяным возле нашего дома не ходил.

А Насип, не найдя удачливым своим рукам признания в родном доме, в родных краях, еще мальчиком исчез из аула. Случилось это в год, когда мы в город калачи есть ходили. Пошел он утром на поле возле большака просо полоть — и пропал. Пробовали искать. Ни на земле, ни в воде тела Насипова не нашли. Некому было

по нему рыдать, некому тосковать. К тому времени, как подошло просо жать, его уже забыли.

Прошло два года, и Насип, в галифе, в желтых тапочках, вернулся в аул. Но больше всех поразила нас военная фуражка с зеленым верхом. Асхат, только увидел, сказал: «Овод — зелена голова». Фуражка из рук в руки переходила, и малыши, и взрослые крутили ее, рассматривали, на голову примеряли. Шагидулле Насип со всей щедростью сказал: «Хочешь — бери, ни капли не жалко». Но вожак отдал обратно. «Одну фуражку на всех не напаялишь, себе оставь». Где ходил, что видел, Насип никому толком не рассказал. Только поняли мы, что после долгих мытарств попал он в приют, учился там. Узнали также, что фуражку с зеленым верхом подарил ему один командир. А за какие геройства, не разъяснил — «Так просто...» К осени он опять исчез. Теперь его и искать не стали. «Проголодается скотина — к своей кормушке вернется», — сказал его отец и выругался. Что из рта Шарафетдинова вышло, того собака и обнюхивать даже не станет.

На сей раз наш бродяга долго вестей не давал. Не то семь, не то восемь лет пропадал. Но однажды, в самой середине лета, с двумя огромными желтыми чемоданами в руках, в черном костюме-тройке, в белых с дырочками ботинках, в черной фетровой шляпе на голове, с зеленым галстуком на шее, вошел Насип в аул. Сам весь из себя картинка! Соседи говорили, что один чемодан одеждой для отца, мачехи и младших братьев был набит, а второй — гостинцами. Так и было, наверное. В тот же день Шарафетдин, во все новое с головы до ног вырядившись, на улицу вышел. «Не напрасны, выходит, были мои старания. Привил-таки сыну добро, на пользу мое воспитание пошло. Толк из парня вышел...» — похвастал седусый уже Шарафетдин, новый на себе пиджак с лица и с подкладки показал. А чтобы и новые блестящие калоши заметили, потер их с визгом друг о друга.

А что второй чемодан грецкими орехами, урюком, изюмом, разными-разными конфетами, красными пряниками, сушеным черносливом был набит, я и сам видел. Насип раскрыл чемодан, поставил его на хике и начал стариков, старух и детвору малую, всех, кто заходил проведать, оделять гостинцем. Весть о щедром госте разлетелась быстро. Ребятишки со всей улицы заполнили избу Шарафетдина.

Насип удачливой своей рукой помногу забирал в горсть, каждому в протянутую ладошку ли, в раскрытый ли подол сыпал яства. Приходили и уходили. Потом начали появляться какие-то странные мальчишки: лица сажей измазаны, на голове отцовские шапки нахлобучены. Это что за артисты? Откуда пришли?

— Агай, агай,— разоблачил их один из братишек Насипа,— вон этот мальчик, который шапку надел, ну, который сажей лицо намазал, он уже один раз получил гостинец.

— Сам получил, так отцовская шапка не получала,— рассмеялся Удачливая Рука.— Снимайте с головы, ребята.

Те быстро выполнили приказание. В шапки еще ягод или орехов капнуло. Находчивость маленьких плутов понравилась Насипу. Мальчишки тут же смылись.

Много же народу, как выяснилось вдруг, по Насипу скучало, в тоске невыносимой ожидало. До самой ночи люди шли. И как только терпели без него? Для стариков и самовар со стола не сходил. «Вот ведь, назначенная пища зуб выбьет, а войдет,— сказал старик Мансур, валяя твердый урюк в беззубом рту.— С утра губы чесались, вот и вышло — к гостинцу. Пускай и бабушке достанется...» — и старик высыпал горсть изюма в карман своего бешмета.

Но гостеприимство Насипа на этом не кончилось. Через несколько дней собрал он всех своих ровесников с нашей улицы, парней и девушек, с которыми вместе рос, и пир закатил. В то время в молодежных застольях вино пить обычая не было. Но всякого угощения Насип вдоволь подал. Весь вечер шумели, ели, пели, плясали. Гармонь Шагидуллы и прибаутки Асхата сменяли друг друга. В первый раз это было и в последний, когда мы, ровесники, все вместе собрались, беззаботно веселились. И все благодаря Насипу...

Но сами мы по отношению к нему черную неблагодарность выказали, черствость и неуважение. Никто из нас в свой черед издалека вернувшегося гостя к себе не позвал, в красный угол не посадил, не угощал, почтения не оказал. Разгульную щедрость Насипа, вероятно, за чудачество сочли, юродству какому-то приписали. Да, кажется, так и было. Наелись, напились до отвала, а сами исподтишка поддразнивали его. Потому что в тесных наших умишках, узких объятиях все это не умещалось.

Он-то, может, почестей да угощений от нас и не ждал. Но вспомню, стыдно перед ним до сих пор.

Как мы поняли тогда, Насип окончил где-то педагогический техникум и в Средней Азии учит детей. Погулял он с месяц примерно в ауле, черный свой костюм-тройку продавцу Зайнушу за полцены продал и уехал обратно в Среднюю Азию. В этот раз не таился, перед отъездом соседей, друзей-ровесников, всех обошел, со всеми попрощался. Братишки его до поезда проводили. Поклажи немного было. Пустые желтые чемоданы Ямлихе-енге остались, один пухом куриным набила, в другой ссыпала лук.

...Хай-хай, сколько времени миновало! Лет двадцать, наверное. И вот снова я ступаю на порог дома Шарафетдина. Я пришел повидаться с Насипом. Старик уже давно в могиле. Жил-куролесил, покуда усы не пожелтели, потом встал посреди улицы, за дурость свою перед всем народом покаялся и умер. Впрочем, после покаяния умер не сразу, порядком намучился, поболел. А отошел Шарафетдин некрасиво — упал головой в грязную лохань возле печки и захлебнулся.

Насип встретил меня радостно.

— Вот еще один, который из преисподней сбежал! О твоих делах я слышал. Молодец, Пупок, не поддался! — он сипло рассмеялся. Всю жизнь у Насипа голос сиплый был. В детстве он в прорубь упал, так навсегда и сел голос. Его бесцветное лицо еще больше пожухло, крепко побелели виски, но узкие серые глаза все такие же — ни тени в них, ни облачка. Словно в этой жизни только и лилось в них — светлые радости да негасимое счастье. Улыбчивые беззаботные детские глаза на его изможденном лице двумя светлыми островками кажутся.

Он протянул руки поздороваться. Вместо двух ладоней я две круглые толстые лепешки пожал. Все пальцы будто кто-то тщательно, очень усердно под самые корешки ножницами выстриг. Только на какой-то из двух рук один-единственный мизинец остался, из-под ножниц, видно, увернулся. Я содрогнулся — то ли от жалости, то ли от отвращения. Но, захваченный радостью встречи, Насип этого не заметил. А может, добрая эта душа и увечья своего не чувствует? Позабыл, бедняга.

— Вот ведь, а? — довольно увесистая «лепешка» хлопнула меня по спине. — Родная пища домой потянула. Так заскучал, помереть впору было. Валлахи!

— Как дела? Посмотреть, так выглядишь хорошо,— соврал я.

— Жаловаться не могу,— сказал он, сияя безвинными своими глазами.— Жив остался, здоровье есть. Руки-ноги целы, можно сказать. Вот пальцев, правда, не хватает... Да ведь мне золотых колец не носить. Вон лошадь — с самого рождения без пальцев живет. Еще как живет! А детей я не руками учу, учу языком, разумом своим.

Да, это Удачливая Рука — Насип. Весь, как есть. Как и тогда, двадцать лет назад, черная тройка-костюм на нем. Но рукава пиджака на этот раз сильно потерты. И зеленый галстук блестит, порядком уже засалился. И ворот белой рубашки загрязнился. Мой испытующий взгляд он на полпути перехватил:

— Рубашка-то на смену найдется. А костюма у меня и в самую богатую пору больше одного не заводилось. Я не жадный. Даже счастье — мне двух не надо. Одного бы вдоволь, я бы не надорвался...— И он, внимание ли мое хотел отвести, так ли просто, уцелевшим своим мизинцем на левой руке (да, на левой) погладил орден Красного Знамени на груди.

Постой-ка, и почему это я вдруг решил, что он «бедняжка»? Жалеть его, утешать — это ли не бестактность, не жестокость? Он и не прибедняется, и ранами своими не кичится. Увечьем своим не торгует.

Но в этом бренном мире бывает, что и красотой, и уродством торгуют. В начале сентября 1944 года как-то целый день бродил я по недавно взятому нами румынскому городу Констанце. Ходил не спеша, смотрел беззаботно. Я впервые на чужой земле, кругом иная жизнь, иные нравы. Водил меня полицейский, который довольно сносно говорил по-русски. Он и город, и людей хорошо знает. Две встречи разбредили тогда мне душу, по-особому остались в памяти. На одной из главных улиц встретила нас девушка, на диво красивая, на диво пригожая. Глядеть не наглядеться. Полицейский вдруг схватил ее за рукав, остановил. Игриво за подбородок взял, по плечу погладил, за щеку ущипнул. Сказал что-то, засмеялся развязно. Я смотрю, и удивлен, и огорошен. Совершенной ее красоте дивлюсь, наглостью стража порядка, тем, как он с такой красотой бесцеремонен, поражен.

Когда девушка уходила, полицейский сказал по-русски: «Иди, работай» — и шлепнул ее по задку. Тут уже я вовсе глазам своим не поверил. Но восхищения сдержать не смог, сказал:

— Какая красивая... За один взгляд умереть можно.

— Продается... Не целиком, но по частям, на время — продается. Только дорого очень, — сказал мой спутник спокойно.

— Как это — продается? Ведь так красива...

— Потому и дорого, что красива... Я этих «куколок» весь тариф знаю.

И сразу день потускнел, пасмурным стал. Как грустно, а?

Потом мы попали на площадь, полную народа. Посреди площади ослик надрывается. Мы пробились поближе. Возле ослика, запряженного в длинную арбу, стоит человек в высокой мохнатой шапке и дергает его за уши. Ослик кричит. На арбе лежал голый младенец — мальчик лет трех. Огромная раздувшаяся голова, крохотное тельце, вместо рук и ног — куцые обрубки. Я отшатнулся: вначале показалось, что одна голова, сама по себе, отдельно лежит. Возле ребенка жестяная чашка стоит. Осел кричит. Порой в чашку со звоном медные гроши падают. Горький смысл этого зрелища и без слов ясен: отец уродство своего ребенка по частям в розницу продает.

При виде этого даже бравый полицейский сник.

— До чего нищета не доведет...

Так я в один день с продажной красотой и продажным уродством повстречался. А кто из них более жалок, и не знаю. Оба, наверное... Оба равно жалки.

Беспалые Насиповы руки уже не кажутся мне увечными. Не красивые и не уродливые — просто такие, как есть. И к настроению хозяина я уже подладился.

Ямлиха-енге чаю приготовила. Откуда-то «сургучная головка» появилась. Насип быстро зажал коленями бутылку и, хлопнув снизу круглой ладонью по дну, ловко вышиб пробку. Разлил по стаканам. Очень ровно, справедливо разлил.

— Видишь, на первейшее дело руки годятся. А остальное — проще простого... — он сипло рассмеялся, затем вдруг вытянул обе «лепешки» перед собой. — Сколько

лет я никому не мог доказать, что удачливы вот эти мои руки. Все-таки ведь доказал однажды.

Опрокинули по стакану, и настроение Насипа и того выше поднялось.

— Без пальцев остался, но доказал,— опять завел он речь о том же.— Я ведь с детства... Мальчишкой еще был, чуял, что есть в моих руках какой-то секрет. Только вы меня изводили, все никак не верили. Эхма! — Он опять с бульканьем разлил водку по стаканам.— Давай, пусть четная будет.

— А все же где это ты ногти вместе с пальцами ухитрился состричь? — подлаживаясь под его тон, спросил я.

— Если услышишь, что у Насипа большая бомба в руке взорвалась, так знай, врут. Лучше сам все расскажу.— Он пробку обратно в бутылку заткнул.— Чтоб не искушала, когда хозяин рассказывает, стояла смирно и слушала. Вот так.

На лице у него румянец выступил. Значит, два стакана не без пользы прошли. Только глаза немного потускнели.

— Тогда слушай. Отморозил я эти пальцы.

— Как?

— Да так вот. Но дело свое они сделали. Пальцы мои, как доблестные воины, пали.

Он продолжил рассказ:

— Я в артиллерии связистом был, между КП и огневыми позициями с катушками бегал. Была зима сорок третьего. Ранним утром в трескучий мороз вспыхнул бой. Наши орудия спрятались в лесочке и оттуда по их позициям палят. Командир полка сам по телефону командует. Ну и голос! Луженая у мужика была глотка. Вдруг вдали по белому снегу черные точки задвигались. Точки эти увеличиваются, увеличиваются... Танки! Что ж, это знакомо. Скоро они огнем плеваться начнут. «Давайте, давайте, ну же, суньтесь же! Вот сейчас, как копны, вспыхнете!» Я это про себя переднему танку так говорю. И артиллерия их, до этого стрелявшая вяло, на скороговорку перешла. День ясный, грохот в воздухе не глохнет. Вся земля от грома трясется. И вдруг подполковник в ярости трубку швырнул: «Нет связи! Линия оборвалась! Соединить!» Младший сержант Скворцов тут же вдоль кабеля побежал. А мы смотрим. Метров триста — четырехста до полосы обстрела целым и невредимым пробежал. А потом взрывы запрыгали. Он бежит, падает, сно-



ва вскакивает и бежит. А снаряды все чаще и чаще ложатся. Видно, и танки стрелять начали. Раз два еще показался Скворцов, но упал и больше не поднялся. А связи нет. «Разрешите,— говорю,— мне!» — «Не разрешаю! Ты иди!» — приказал подполковник рядовому Шиханову. Шиханов прямо по следам Скворцова и побежал.

На половине пути — взрыв, обволокло его дымом. Так и исчез, в дыму растворился. А связи все нет. «Разрешите,— говорю опять,— товарищ подполковник! У меня рука везучая!» Разгневанный был командир, а тут расхохотался: «Ну, коли везучая, иди!» И я по той же дорожке побежал. Ни взрывов снарядов, ни воя мин, ни свиста пуль — ничего не слышу. Не мне они сейчас предназначены. Кроме протянувшегося по снегу телефонного кабеля — ничего не вижу, ничего на свете нет. И не пригибался, и не падал. Меня удача моя бережет. Бегу и бегу. Возле закопченной ямы большое скрюченное тело увидел. Скворцов. Веселый был парень. Вечером только, завернувшись в маскхалат, цыганку представлял, пел и плясал. Теперь лежит. Я не остановился. На обратном пути вынесу. Шиханова вроде не заметил, не помню. Знай бегу. Бегу и молю шепотом: «Только не уходи, удача... только не уходи». Не покинула меня удача. Нашел место, где мина кабель порвала, скинул варежки и принялся за дело. Сначала оба конца к аппарату присоединил, проверил. КП вызвал — работает, батарею вызвал — работает. Тогда соединил концы провода, изолянтной замотал. А мороз руки жжет. Только сейчас заметил. За мучился, варежек найти не могу. Я их вгорячах далеко в сторону отбросил. Шагнул было я за ними шага на три в сторону и обмяк. Только помню, что падал я долго, не спеша. Меня взрывом контузило, потом узнал. Наши в наступление перешли, а я остался лежать. Но удача, видно, не ушла, тут в головах и сидела: кто-то наткнулся на меня, догадался, что живой. Но пока лежал, пальцы начисто отмерзли. Зато из-за моих удачливых рук сколько вражьих танков наши уничтожили! За девять моих пальцев сполна расплатились. На следующий день подполковник в медсанбат сам пришел. «И впрямь, говорит, твои руки везучие, ефрейтор. Спасибо тебе! В самый тяжелый миг ты полк, который, можно сказать, оглох и ослеп, от беды спас,— и добавил еще: — Такое геройство, говорит, не забывается». Честное слово, так и сказал.

— И не забыли... — И я показал на его орден.

— Этот? Нет, этот я раньше получил, за Ржев...

— А за последнее дело что дали?

— Не дали. Может, и дали что, да я не получил. Меня в тыл отправили.

— И не хлопотал потом?

— Как это? Ходить, просить: я, дескать, когда обя-

занности свои исполнял, пальцы отморозил; нет ли мне за это какой-нибудь награды?

— Другие же просят.

— А я — не другие. На мою долю самая большая награда прилась — жизнь. А что Скворцов получил? Двадцать лет ему было. А Шиханов? Девятнадцать лет. Каюсь, хотел как-то раз похлопотать, но этих двоих стыдно стало. И сейчас вижу, как большое львиное тело Скворцова скрюченное лежит. А я с цыплячьей своей статью до сих пор по земле хожу.

— Выходит, что мы, кто жив остался, перед павшими в таком долгу, что и не расплатиться.

— Так и есть, браток... Всю жизнь долг отдавать придется. Отдавать живым, значит, друг другу.

И этого человека я совсем недавно жалел про себя. Как же принизил его своей жалостью! Он же из крылатого рода! Не цыпленок, а знатной породы птица!

Почему Насип так твердо, без капли сомнения, верил в удачу своих рук, я понял только сейчас. Ему от своих рук ни корысти никакой, ни славы, ни наград, ни богатства не нужно. Всю жизнь он этими своими руками старался кому-то хоть малое добро сделать, радость доставить, надеялся в труде, в играх, в промыслах удачу принести. И однажды, потеряв пальцы, он доказал всем живительность своих рук. Теперь уж он в их волшебной силе никогда не засомневается. Потому что рука — служанка души. Что душа повелит — то она исполнит. У таких же, как Насип, — в особенности.

Насип зубами вытянул пробку из бутылки. Оставшуюся водку поровну разлил по стаканам.

— В каждом смертном все время Приличие и Вожделение борются, — степенно сказал хозяин. — Мы же только по две выпили, лишь спор их подогрели. Давай по третьей отправим — Вожделению навредим, Приличию подсобим.

Мы чокнулись и, нанеся Вожделению крепкий урон, подбодрили Приличие.

— Вот так, браток, — хлопнув ладонью о ладонь, сказал Насип. Что именно «вот так», не пояснил.

И я не спросил. Впрочем, и так все было ясно. В каждом человеке есть главный стержень, его духовному миру опора. И, по-моему, самая крепкая, самая надежная опора, самый твердый, никаким бедам-невзгодам не поддающийся стержень — это вера в чудо. Той верой живет

Насип, и что бы он ни говорил, его право, его правда.

Ямлиха-енге то и дело к столу подходила, чай подновляла, яствами, что на столе были, потчевала. У нее и походка совсем другая стала. И вкось не уходит, и на месте не притоптывает, прямо ступает, не спеша плывет. Потому что никто на нее не рычит, страху не нагоняет.

— Наверное, не слышали еще,— сказала Ямлиха-енге,— Круглый Талип на смертную перину лег. Неужели в такую красивую пору отойдет? Зашли бы к нему, попрощались, к добру зачтется, человек-то не какой-нибудь, святая душа.

— Когда лег-то?

— Дней семь — десять примерно. Схватился, говорят, рукой за сердце и рухнул.

Эта весть протрезвила меня. В ту зиму, когда Самигуллу самосудом убили, с головы круглая шапчонка скатилась, красная кровь Талипа на белый снег пролилась. После того он свою гладкую голову уже не так прятал. А потом уже по каждому поводу шапку стал снимать, блестящий купол свой на свет выставлять. Якобы сказал ему кто-то: «Лысина — признак учености, печать ума». А ученость и ум, коли они есть, какой резон скрывать? Качества непостыдные. А самокатное колесо, которое он мне подарил? Как подняло оно тогда мой авторитет перед всеми нашими мальчишками! Все свое достоинство готовы были отдать, только бы пустить это самое колесо вниз по улице. Но они его бесплатно катали. Я не то что владелец коньков Шайхаттар, за наживой не гнался, благодарность пожинал.

Что в одном «спасибо» столько силы, что оно от тысячи бед избавит, я тогда, кажется, понимал лучше.

Есть такая поучительная история. Давным-давно, в незапамятные времена, заблудился в безводной пустыне один богатый караван. От жажды не то что люди, уже верблюды начали умирать. Но, на счастье, повстречался им какой-то путник. Тот знал дорогу и вывел караван к воде. Спасшись от гибели, предводитель каравана, говорят, так сказал: «О путник! Услугу ты оказал нам большую, но все же не настолько она велика, чтобы сказать за нее тебе спасибо. Ты нас всего лишь от гибели спас,

И за это твое благодеяние спасибо все же много будет. Не обессудь, вон мои навьюченные сокровищами верблюды стоят, выбирай любого. На каждом столько богатства, что тебе на всю жизнь хватит».

Благодарности цену древние знали. А сколько ее на меня из-за Талипова самокатного колеса излилось?

Сообщила Ямлиха-енге эту невеселую новость и вот такие пробудила воспоминания.

Насип почему-то пустую бутылку снова пробкой заткнул. Вздохнул:

— А ведь в калашный-то праздник он закваску положил. Мне, дураку, и хватило. Дескать, всех мальчишек калачами накормлю... Особой закваски человек был, Талип-агай,— сказал он, будто сам с собой говорил.

Вот так вдруг иные заботы, иная печаль захватили нас. Мы пошли попрощаться с Круглым Талипом. По пути к гнусавому Валетдину заглянули. Войну он в Берлине закончил, с орденом Славы на груди вернулся. Но геройских подвигов его, о которых он рассказывал, и на десять орденов хватило бы, еще и лишку осталось. На счет того, чтобы преувеличить, Валетдин и Талипу не уступит. С ним, решили мы, и с отходящим общий язык скорее найдем. И не ошиблись.

«И ОТ СМЕРТИ ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО»

Сбылись-таки слова Талипа. Тогда еще, когда мы со Старшей Матерью приносили ему козьи шкуры, он сказал: «Дай срок, я еще так разбогатею да разжирею...» Срок настал. Разжиреть не разжирел Талип, но разжился. Сыновья его, кто жив остался, с фронта вернулись, малыши подросли. Одни трактор оседлали, другие за руль машины уселись. А третьи взяли кнут длинный и пошли стадо пасти. И сами свою жизнь справно сладили, и к отцу с помощью да с почтением. Под железной крышей с высоким крыльцом поставил себе Талип пятистенник. Ставни зеленым, крышу красным выкрасил Талип, но, как другие, на улицу забор не городил, низкую решетку только навел. «У меня все на виду, что во мне, то и на мне. А что на дворе, то и на миру пусть будет»,— сказал он, когда изгородь ставил. Скота, птицы, живности разной умножилось, одежды всякой справил. Лыси на его шляпой обзавелась, да такой, что век не видела — фетровой. Только вот благоверная его недолго в этом

изобилии пожила — две зимы назад сошла в могилу. А теперь, говорят, и сам с жизнью прощается — жена-старуха к себе позвала.

Встретила нас сноха, жена какого-то из сыновей Талипа. В гостевой половине на железной кровати с блестящей спинкой, утонув в перине, лежал умирающий. Такая жара на улице, дунь — и воздух пламенем займется, а он навалил на себя толстое стеганое одеяло. Плохи, видать, дела. Человека сначала вот так могильный холод забирает. Из-под одеяла только гладкий затылок торчит, лицом он к окну отвернулся.

Сноха положила на три стула три плоские подушки, подвинула к нам. Только когда мы уселись, сказала:

— Отец, о здоровье твоём справиться пришли, и городские гости есть...

Ни звука, только шевельнулся чуть-чуть.

— Мочи нет, так молчи, Талип-агай, — сказал Валетдин. — А мы посидим, на тебя посмотрим, как твоё львиное сердце бьётся, послушаем.

Простонал коротко. Значит, жив ещё лев. С трудом повернул голову, открыл один глаз, но ни слова не молвил. Насип нагнулся и положил свою круглую лапу ему на лоб — удачливая рука больному в исцеление. Но Талип отклонил голову. Нам только и осталось, что сидеть и молчать. Наши голоса до слуха отбывающей в рай души уже не доходили.

— Вот так, язык есть, а слов лишился. Вторая уже неделя пошла, — сказала сноха, — только иной раз откликнется разве...

Обо что-то стукнувшись в передней комнате, что-то сбив, ввалился Фархетдин, мулла-самозванец, самородный, так сказать, мулла.

Этот известный в округе человек через четыре колена да шесть поколений мне зятем приходится. Не осталось, наверное, ремесел и промыслов, какими бы Фархетдин за свою жизнь не промышлял. Как я его помню, он покалеченную скотину покупал, резал ее и тем приторговывал. Когда он на своей лядащей лошаденке с криком «Мясо-требуха! Мясо-потроха!» проезжал по улице, мы, мелкая ребятня, свою игру затевали. Тянули вслед за ним тележки и кричали: «Мясо-требуха! Мясо-потроха!»

Эту торговлю зять оставил, принялся тряпки, кости, рога, копыта, лом железный собирать. Под старость промыслы свои он менял совсем часто: ведра, кумганы лу-



дил, паял, самовары чинил, дуги гнул, из ивовых прутьев гусиные гнезда ладил, кирпичи делал, арканы плел, при случае по утопшим, в буране заблудившимся, с горя помешавшимся складывал он жалобные байты — за мздой не гонялся, что заказчик даст, тем и доволен был. На это, последнее, его ремесло спрос особенно в войну поднялся, оно и понятно.

Все на свете переделал Фархетдин, только чтобы ногой в борозду не ступить. Сам, наверное, думал про себя: умно живу, хитро живу, легко, ненакладно. Сказал бы, почем эта хитрость, да ладно уж...

Как война кончилась, зять наш, коли в Уфу наезжал, меня не обижал, порога моего не обходил. Но, признаться, не так уж и досаждал, в год раза три приходил, не больше. И каждый раз, как поедим-попьем, в веселую его голову одна хитрая уловка приходила:

— Тетка твоя, говорю, самоварную трубу велела купить, да вот не рассчитал я малость... — начинал он.

— А почем эта самоварная труба?

— Ей цена твердая — двадцать два рубля пятьдесят копеек. Пятьдесят-то копеек я и сам добавить могу.

Деньги тогда еще не поменяли. Когда же деньги поменяли, самоварная труба сначала два рубля сорок копеек стоила, потом до двух семидесяти подскочила. Но я с этим вздорожанием не считался, тетку свою ни разу без самоварной трубы не оставил.

Бывает, только зять начнет:

— Когда уходил, тетка твоя от ворот кричала, привези, говорит... — не успеет договорить, я уже в карман лезу.

— А нынче почем самоварные трубы идут?

— Какая получше да покрепче — теперь по два восемьдесят семь.

— На, возьми ту, какая за три, пусть тетя обрадуется...

— Знамо, обрадуется.

Но однажды, наполовину шутя, я сказал:

— С твоими-то руками — взял бы да сделал сам.

— Материала нет. Руки не доходят. И дешевле так получается, — веско ответил гость. С тех пор я ему таких глупых советов не давал.

И вот недавно этот семидесяти ремеслам искусный мастер ударился в любительщину — духовный сан на себя принял. Никто его не выбирал, никто не назначал. По своей воле взвалил он на себя тяжкое бремя — быть в ответе за совесть, веру, грехи и благонравие множества людей. Мужество и решимость, с какими он вступил на новое поприще, были основаны на одном — полном его невежестве в религиозных вопросах. Знал когда-то в детстве два-три обрывка молитв, да и те, пожив среди русских, позабыл. Он это мне сам однажды во время возлия-

ния обронил, когда речь о боге зашла. Видать, теперь вспомнил. Так ведь человек он памятливым, усердным.

Еще в дверях хазрет-любитель протянул:

— Ассалям-алейкум!.. — и кивнул нам. — Вам тоже.

На этом его интерес к нам иссяк. Высокий свой сан он нес с достоинством. Фархетдин присел на кровать к больному, прочитал молитву и приступил к делу.

— Ровесник, — подергал он безмолвно лежавшего Талипа за одеяло. — Эй, ровесник! Волю создателя нашего не угадаешь. Если того-сего... отбывать собираешься, без прощальной молитвы, говорю, не отбывай. Давай прочту тебе молитву.

Талип, не размыкая глаз, повернул голову. Фархетдин истолковал это за согласие и тут же завел громко:

— Агуза биллахи минашайтан раззим бисмилла рахман рахи-им...

Талип выпростал руку из-под одеяла и слабо махнул. Тот продолжал читать молитву. Тогда Талип, не размыкая глаз, сначала кулак, потом кукиш показал. Тот при виде столь странного деяния полумертвого уже человека еще прибавил усердия. Этот два кукиша сунул. Тот с натуги уже по-козлиному заблеял. У Талипа разлетелись веки, и, вытаращив глаза, он заорал:

— Хватит, говорю, отступник! Дай помереть спокойно...

Мулла оборвал молитву, но сдался не сразу:

— Суда божьего не угадаешь...

— Ты не угадаешь, так я угадаю. Приговор вынесен. Фирман-указ в пути. Часа только жду.

Мы очень удивились, что тихий, всегда и со всеми — и с малым и старым — приветливый Талип вдруг заговорил так резко и неучтиво. Но тут же потеплело на душе. Коли кукиш сложил и духовное лицо «отступником» обложил, значит, надежда еще есть.

Валетдин, глядя на присмирившего «хазрета», кивнул на дверь. Тот понял. Сметка все-таки осталась. «Воля твоя, ровесник», — пробормотал он и направился к двери. Сноха вышла проводить. В горнице остались мы четверо.

— Стало быть, Талип-агай, ты с этим миром рассчитаться решил, — сказал Валетдин.

— Хватит уже, братцы, — мягко сказал он. — Пищу свою доел, годы свои дожил. Мэру надо знать.

— И завещание оставил, благословение дал? — все допытывался Валетдин.

— Завещания нет. Мир в моих заветах не нуждается, он заветами великих умов живет,— сказал Талип, приоткрыв один глаз.— А благословение? Я людей, когда еще телом крепкий и в твердой памяти был, благословил.

— Неужто тебе больше нечего сказать? Есть у тебя последнее слово?

Талип молчал долго. Потом перевернулся на спину, открыл оба глаза и с такой грустью, с такой мольбой посмотрел — у меня мурашки по телу прошли.

— Есть. Просьба есть у меня.

— Говори свою просьбу, агай. Все исполним,— обещал Насип.

Больной вздохнул глубоко.

— На моих поминках женщины будут плакать. Утешьте их.

— Кто? Какие женщины, агай?

— Женщины, которых я любил, да они меня не любили. От позднего раскаяния плакать будут. Скажите им, что, уходя, я простил их. Тем и утешьте. Пусть не плачут.

— Утешим, агай, утешим,— дали мы свое твердое слово.

— Спасибо... И еще... Другие женщины будут плакать. От чувства, что последнего лишились. Те, которые меня любили, да я их не полюбил. Утешьте их. Скажите, что, уходя, каялся в своей бессердечности, и горьким было мое позднее раскаяние. Я сам плакал. Пусть не плачут.

— Утешим, агай, валлахи, утешим,— поклялись мы.

— Спасибо, почтенные. Я верю...

Насип одиноким своим мизинцем почесал лоб. Потом спросил:

— А что же третьим сказать?

— Каким третьим?

— Которые тебя любили, и ты их любил?

— А-а!.. Этих не утешайте. Пусть плачут. Вот они-то и должны горькими слезами плакать.— Талип прикрыл глаза и быстро открыл. Глубокая печаль была в его взгляде.— Много мечтал, много привирал, братцы, порой мечту с выдумкой путал я в этой жизни. Но когда уже могила на меня рот разинула, не совру: таких не было. Нет, не выпало мне на долю, любя, любимым быть.

И стеклянный дворец, возведенный мечтою Талипа, от неуместного вопроса Насипа разлетелся вдребезги. Даже звон в ушах прозвенел — дзин-нь!..

Долго сидели молча. Талип, уткнув очи в потолок, тихо лежал. Валетдин самый старший из гостей, снова связал концы оборвавшейся беседы:

— Рановато в путь трогаешься, Талип-агай, рановато... Вот и нового каменного моста через Дёму не увидишь.

— Мост? — умирающий приподнял голову. Знал Валетдин, куда целил. Уже много лет Круглый Талип мечтал каменный мост через Дёму построить, на каждом сборище, на каждом собрании клич бросал, народ уговаривал.

— Кто строит?

— Государство. На днях только решение вышло, — беззастенчиво врал Валетдин. — За год должны построить. Каменный, и ледорезы стальные. По твоему желанию, по твоим замыслам будет мост. Видишь, государство твои мечты приняло и в жизнь их претворяет. А ты, вместо того чтобы в новых сапогах с подковками по новому мосту первым пройти, в яму норовишь залезть. Не хорошо, Талип-агай. Кто же теперь по мосту первым пройдет? Казна-Исхак со своим ремнем, что ли? За что Исхаку такой почет?

— Еще чего, Исхаку... Подоткни-ка подушку. — Я подоткнул, он лег повыше. — Вы им скажите, пусть ледорезы из стали не делают. Бесхозяйственность это. И бетонные сойдут. В стране и без того нужда в стали большая.

— Скажем.

— Исхак, говоришь... а? Вот ведь кому мир-то останется, а?..

— Останется, коли оставляют... — без капли сочувствия, без тени сострадания согласился Валетдин.

— Ну, ладно, мост, он и есть мост, — вставил слово и я. — Талип-агай и по каменным, и по чугунным мостам хаживал. Бывалому человеку это не диковина. Вон, электрические столбы на Казангуловское взгорье уже залезли, вот-вот в аул спустят. Уйдет Талип-агай, так и не увидит, как у него в доме солнце вспыхнет. Вот что жалко.

— Первая лампа, конечно, и по закону, и по обычаю, и по справедливости в этом доме должна вспыхнуть. Вот тут большую, с бычий пузырь, повесим, а там — поменьше, — и Валетдин пальцем наметил места на потолке, где висеть лампочкам.

— Подними подушку выше!

На сей раз подсобил Насип. Больной сел и отвалился на спинку кровати.

— Я ведь этот мир еще при лучине увидел. Электричество, ребята, это свет божий. Да, деревья-то на Казангуле я приметил, только вот плодов мне уже не достанется.

— М-да, станется, что и не достанется...

— Ты чего это, Валетдин, на все, как дятел, стучишь: станется... останется... не достанется?

— Так ведь я тебе поддакиваю!

— А ты думаешь, твое поддакивание мне маслом по сердцу ложится? — у Талипа выступил пот на лице. Он глубоко вздохнул.

Вздохнул и Валетдин.

— Нет, товарищи, все это пустяки — и мост, и электричество. Неодушевленные они, так сказать, предметы. Одну вот душу живую жаль, сердце обрывается — в печали-одиночестве дни свои тянула, теперь совсем сиротой останется.

— Кто это? — Талип уставился на Валетдина.

— Как кто? Ак-Йондоз, конечно.

— Не туда хватил, — отрезал Талип. — Для смеха сказал — так не смешно, всерьез если — ни в какие ворота не лезет. Ак-Йондоз — как вера. А веру почитать надо.

На этот раз Валетдин и впрямь не туда хватил. Я поспешил ему на выручку.

— Не понял ты, Талип-агай. Есть, оказывается, у Ак-Йондоз старшая сестра. Овдовела недавно и с верховьев Дёмы к нам жить переехала, — выложил я весть, которую давеча от Младшей Матери слышал. — На работу гожа и лицом пригожа, на сестру, как слеза на слезу, похожа — вот как говорят.

— Неужто так похожа?

— Говорю же, как слеза на слезу.

— Да если одним хоть ноготочком на Ак-Йондоз похожа — из ангельского, значит, рода. Как зовут?

— Ай-Йондоз, — недолго думая, бухнул я.

— С именем перегнули маленько. Хотя не сама же себе имя выбирала. — И Талип вздохнул. — Сказать по совести, всю жизнь я на Ак-Йондоз не мог налюбоваться. На сестру бы посмотреть...

— Как не посмотреть, конечно, посмотришь. Вот на ноги встанешь...

— У-уф-ф! Видно, не встать уже мне...

— Чтоб твои жалобы ветром развеяло, Талип-агай. Кто же перед сабантуем о болезнях думает? — Валетдин теперь совсем в другую сторону понесло. — Будет еще пляска — майданам тряска. Вот на сабантуе толпа большая тебя окружила, и посередине ты: ветром веешь, вихрем вьешься, перышком реешь, вприсядку несешься. Смотрит народ, шумит, ликует, в ладоши хлопает, фуражки, шляпы, тюбетейки в небо летят. Ак-Йондоз, Ай-Йондоз и прочие звезды стоят в восхищенье, глазками в тебя постреливают. А ты еще красивее, еще горячее, еще зазорнее отплясываешь. Эхма, ну и отхватываешь! И сдержаться не можешь, сам себе подпеваешь:

Верхом на коне — что за мужчина!
Кинжал на ремне — что за мужчина!
В пляске пройдетя — хайт-хайт!
Площадь прогнется — хайт-хайт!

Талип приподнялся. Он и вправду первым в ауле был плясуном. Никто его переплясать не мог. Да и сейчас, пожалуй, никому не уступит.

А Валетдин знай свое ведет:

— Все женщины на майдане томятся, ждут: «Вот бы меня на танец вызвал... Вот бы меня пригласил». А ты уже давно приметил, давно знаешь, кого на танец вызовешь. И, дробно простучав через весь майдан, останавливаешься прямо перед ней, перед самой...

— Сноха! — крепеньким голосом позвал Талип.

Она вбежала тут же.

— Что, свекрушка? — спросила, печалась.

— Гости пришли, сноха, самые нужные гости, самые дорогие. Есть, наверное, у тебя бражка, черпни-ка ее побольше.

Сноха у Талипа, видать, ловкая да хваткая. И глазом моргнуть не успели, на столе большая зеленая кастрюля встала. Утопший в браге ковш у кастрюли край прикусил, словно конь удила. Узорчатые чашки кругом выстроились. Валетдин во все четыре налил ковшом браги.

— Ну, за сабантуй, коли так, — сказал наш кравчий. Одну чашку протянул хозяину.

Тот потянулся было, но передумал:

— Пищи, которой не отведаешь, касаться грех,— сказал он.— Давайте, начинайте.

Бражка легко пилась, да плотно ложилась. От первой же чашки по жилам тепло пробежало. После второй и третьей сердце встрепенулось. Талип смотрит и блаженствует, то и дело потчует. Мы уже и забыли, с чем в этот дом пришли. Четвертая чашка и песню с собой привела. Валетдин, гнусава, затянул через нос:

Как на ветке два листочка,
Были вместе мы всегда...

На полпути подхватил и Насип:

А прибавилось годочков —
Разлетелись кто куда...

Я не пою. Голоса нет. Сижу и слушаю только. Еще поднялись чашки, еще опустились. Песня совсем уже с привязи сорвалась. Через открытое окно на весь аул разносится. Валетдин, хоть и гнусавый, но певучий. Песня и впрямь завораживающая, особенно когда на протяжную мелодию поют:

Не налюбуюсь тобой наяву я,
Приди же в горячий мой сон...

— Эх, мандолину бы сюда! — воскликнул Насип.— Сам бы плясал...

И пальцами, которых не было, по струнам несуществующей мандолины ударил. Я вздрогнул. Я никогда не видел, чтобы он играл, но в тот раз, когда разбогатевшим вернулся, очень красивая была у него мандолина. Насип несколько раз порывался пуститься в пляс, но Валетдин воли ему не давал, за рукав придерживал. Как-никак мы прощаться пришли. Человек, можно сказать, одной ногой уже в могиле стоит. Приличие надо сохранять.

Когда мы за третью кастрюлю принялись, Талип, свесив ноги в новеньких серых валенках, уже на краю кровати сидел. Беседа шла о войне, о фронтовых приключениях, о том, какой храбрый наш солдат и какой дурак германский. Талип и сам на первой германской страсть сколько из винтовки попалил да портянок износил. О том, как он в гвардии служил, вся округа знает. Вот и сейчас вспыхнул в нем гвардейский запал:

— Нет, Валетдин, ты так не говори, языком немца не изничтожай. Не он безмозглый, а мы хитрее. Не он труслив, а мы храбрее. Германца с мусором не выметешь, Валетдин. Его победив, я гвардейцем стал. Ты гвардеец, он гвардеец, и Насип тоже гвардеец. Кто на зайца вышел, тот еще не батыр. Медведя свалил — вот батыр!

— Гвардия, вперед! — крикнул Насип, воздев руку с одиноким мизинцем.

Тут уже беседа совсем разладилась. Мы трое, обнявшись, встали посреди комнаты. Потом уже все как во сне было, однако половину последней песни, которую Валетдин с Насипом пропели, стоя перед Талипом, я запомнил:

И от смерти есть лекарство —
От любви лекарства нет!

И еще помню, как Талип кричал нам с крыльца вслед:

— Ай, *фартовые* же вы ребята! Посидеть только с вами — и то целой жизни стоит!

Когда мы вышли от Талипа, на улице уже собралась толпа. То ли смеются, то ли плачут.

Черная фирман-повестка еще десять лет где-то блуждала, пока Талипа нашла. За это время и электрическую лампу первой в его избе Валетдин сам зажег. И на горячую пляску Талипа народ на майданах дивился. И на Маргубе (имя-то вот какое оказалось), на старшей сестре Ак-Йондоз, пытались его женить. Но, видно, душа не потянулась, даже ноготком сестра с Ак-Йондоз не схожа оказалась... Так, одинокий, и до последней своей межи дошагал.

...А мост через Дёму до сих пор все строится. В чьих-то мыслях строится, мечтах и надеждах.

На том и мир держится...

НАС «УВЕКОВЕЧИВАЮТ»

Очень напористым оказался этот приехавший из города фотограф. Настоял-таки, притащил нас с Младшей Матерью на самый высокий холм за аулом и усадил на большой плоский камень.

— Вот сейчас к собственной вашей славе еще и здешнюю красоту подбавим и на всю страну разнесем. Куда ведь ни глянь, одно блаженство! Само просится, чтоб увековечили, умоляет прямо. И увековечим! Великий был человек, который цветное фото выдумал. Цветное фото, оно красоту, прихлебывая, пьет,— деловито снуя, говорил он.

Мы это место Захолмьем зовем. Поднимись сюда, на самую верхушку, и обведи взглядом вокруг себя: все четыре стороны света будут у тебя под ногами. Потому кляшевцы, только с колыбели сползут да на ноги встанут, сразу собственными глазами видят, насколько земля обширна. Направо глянешь, лежащую в сиянии Дёму видишь и за ней зеленые взгорья; прямо посмотришь, поля Арова потянутся, а там уже сайрановские уремы всплывут; налево взор кинешь, долины Барсуана, енгальчевские леса к себе позовут; а назад вдруг оглянешься, белый город на белой горе сверкнет — Уфа сияет. Это в солнечный день. В ненастье же и земля будто с лица спала, тяжело дышит. Словно дичится тебя. А в ясный день сама к тебе рвется, в объятия твои входит. Как и сказал уже: белый свет Кляшевым начинается, к Кляшеву и возвращается. Это мы собственными глазами видим — и когда растем, и когда умираем.

Лето еще в самом начале. И марево ясного дня еще не тускнит. Зеленъ земли — только зеленая, синь небесная — только синяя.

— Вы сидите, говорите, свое думайте, свое вспоминайте,— сказал фотограф.— А я свое делать буду. На меня внимания не обращайтесь.

Как это — не обращать внимания? Не муха же — человек. Да и от мухи, коли на то пошло, так просто не отмахнешься. Младшая Мать словно и впрямь суеотящегося рядом человека не замечает. Словно мать-орлица, сидит спокойно на вершине своих девяноста годов. Неторопливо поведя головой, она охватывает взглядом излучины, дороги, холмы, лощины, леса, поля родной земли, сводит воедино. Что ж, она покойна. Все на своем месте. Стало быть, мир этот она передает мне целым, как ей достался. Она легонько похлопывает меня по спине, это означает: «Теперь все поручаю тебе». И всегда так было, работу ли какую поручала, за нуждой ли какой посылала, она всегда меня вот так по спине похлопывала:



«Иди, исполняй». Это она когда-то еще от Старшей Матери переняла...

Давны-ым-давно, когда нас трое было — когда еще Старшая Мать вон за ту каменную ограду не переселилась, — я душу свою на доли не делил. Но в тот день, когда на белую землю выпал черный снег, душа с тре-

ском надвое распалась. И только много потом наново срослась. Но стежка осталась. Стать сыном одной лишь Младшей Матери я так и не смог. Она же, хоть и чуяла это, не обиды своей не выдавала. Наоборот, при каждом случае Старшую Мать с любовью и почтением вспоминала — мне в утешение.

Года три-четыре назад она мне такое вот слово сказала: «До своих немалых годов дожила, а человека великодушней и мудрей, чем твоя Старшая Мать, не знала. Так, видать, никогда и не пойму: почему твой отец сердцем ее не принял? Знала бы заранее, какой она человек, нипочем бы за твоего отца не пошла». Эти слова Младшей Матери я принял как позволение. И начал писать эту книгу. Значит, все доброе, что скажу о ее сопернице и наперснице, ее не разобидит. Прежде, в годах помоложе, она очень обидчива, очень чувствительна была. Слеза на кончике ресницы только и висела.

Но чем больше бед, тем крепче становилось терпение. Сначала Старшая Мать ушла, навсегда ее на свое место определив, забот прибавила. Недолго прошло, и моего Самого Старшего брата Муртазу в уличной драке насмерть забили. В печали и терпении пережила это горе Младшая Мать. Потом война. Мой Старший брат Салих и я, а затем и младшенький Ильяс ушли на фронт. Брат Салих вернулся с тяжелыми ранами, и, только война кончилась, эти раны унесли его. В ту же пору оставил нас и отец. И каждая кончина прошла через единственное сердце Младшей Матери. Да, росли горести, но вровень с ними росла и стойкость.

Взгляд Младшей Матери дошел до ограды кладбища и застыл. Да и как не застыть? Уже четвертое поколение ее родового дерева побеги пустило. А высохших корней, поломанных ветвей сколько! Десять из ее тринадцати детей лежат под зеленой травой за этим каменным забором... Младшая Мать молчит. Наверное, в воспоминания ушла. Вот она, вскинув подбородок, взглядом показала на мост через узенький Назыяз:

— Все время я тебя теряла... Первый раз, ты еще грудным был, возвращались мы из Кара-Якупа, из гостей, и я тебя возле этого моста обронила. Задремала, видать, а сани по скату скользнули, накренились, ты, завернутый в одеяльце, и вывалился. Только уже возле дома, когда в ворота въезжали, заметили, что тебя нет. Повернули и обратно поехали. Хорошо, ночь лунная была. Ты далеко

от дороги откатился. И даже не проснулся. От Старшей Матери этот случай укрыли... На косовицу возьму — в лесу потеряешься, на жатву возьму — во ржи заплутаешься. На чишминском сабантуе за балаганщиками увязался и потерялся. Чуть оперился, совсем, с головой уже стал пропадать. Про войну и не говорю — то без вести пропал, то похоронная на тебя приходила... И сейчас, бывает, во сне тебя теряю. Теряю и в страхе просыпаюсь.

Я не успокаиваю ее. И обещать, что больше пропадать не стану, тоже не могу. Дорога-то еще не кончилась.

Когда она разговорится, я не встречаю — сама свяжет, сама нанижет. Да, связала и дальше повела.

— А вон когда из той лощины на эту сторону поднималась, в первый раз с твоим отцом лицом к лицу сошлись. Была я тогда вдовой тридцати лет. В те времена мы каждой весной всей улицей ивовое корье ходили драть. Валикей-бей за каждую связку по пятнадцать — двадцать копеек давал. Мы и на том рады. И вот здесь на склоне верхом на вороном жеребце догнал меня твой отец. Я его годом раньше на жатве у Ильяса-муэдзина видела. Но тогда и словом не перемолвились. А сейчас он неслыханную дерзость проявил. Я так вся и обмерла — и от страха, и от восхищения. Он проскакал чуть дальше и, резко осадив коня, среди бела дня перед всеми женщинами приказал мне:

— Вазифа, отстань-ка немного. Поговорить надо!

Сказал он повелительно, но голос был мягкий. Я, растерявшись, на своих товарок поглядела. Ямал, которая среди нас считалась самой бойкой, засмеялась:

— А что, оставайся. Небось не съест.

Я не остановилась, так и шла с подругами. А отец твой — будто каменный, застыл со своим конем, не шелохнется даже. Прошла я немного, и ноги стали отказывать, дыхание сжалось, сердце в висках колотится. Склон передо мной отвесной скалой взметнулся. Идти не могу. Связка ивового корья на плечо давит, к земле жмет. Стала. Стук копыт тут же догнал меня.

— Дай ношу, на седло положу.

Я заупрямилась еще: сама, говорю.

— Дай! — снова приказал он. — Поговорить надо. А как мне говорить, когда ты с ношей? — он нагнулся, снял бремя с моего плеча и положил на луку седла.

Первый раз такого властного мужчину вижу, но властность эта меня не принижает. Но все же растерялась, рассудок рассыпается. Только его круглую, тронутую сединой бороду и вижу. Сколько же ему лет?

Так, не начиная разговора, долго шли.

— Я и голоса твоего еще не слышал. А душа давно уже тебя знает, — сказал он тихо. — А ты меня, мою жизнь, мой нрав, наверное, знаешь. В одном ауле живем. Сейчас весна. Лето думай. Осенью, коли дашь знать, что согласна, пошлю сватов. А она, с которой я жизнь прожил, свое согласие дала. Опять скажу: не затем одним все это, что мне молодая жена нужна, ты в душу мою вошла. — Он усмехнулся. — Скажу, что любовь, да стыдно в мои-то годы. Сорок девять мне.

Я и рта не раскрыла. И радостно и стыдно. Да если бы и не застыдилась, что бы сказала? Так верхом да пешком дошли до Губернаторской.

— Вязанку я во двор твоим старикам закину, — сказал он.

— Нет, спасибо. Сама донесу.

Он не настаивал. Ношу свою я за спину не закинула, на плечо положила — плечо распрямилось, словно не ивовое корье на нем, а лебединый пух. К земле не гнет, в небо тянет... А твой отец круто завернул коня и поскакал обратно. Недолго прошло, и Старшая Мать через верного человека свое благословение прислала...

Фотограф и справа зайдет, и слева, и спереди на корточки присядет, а то и вовсе на траве растянется — и щелк да щелк своим аппаратом щелкает. Уж этого Младшая Мать без внимания оставить не могла, тут же платок на голове поправила, складки на подоле праздничного платья ладонью разгладила.

— С отцом твоим, покойным, ни разу на карточку не снялись, так жалко... — сказала она словно про себя.

Фотограф, как и обещал, с разговорами не надоедал. Но все же помытарил нас изрядно. И так и эдак стоять заставил, туда-сюда пройтись зелел. Но, коли у человека работа такая, мы не роптали.



— За то, что землю нашу увековечил, спасибо, сынок,— сказала ему Младшая Мать.— А жизнь человека... твой ли один щелк, мой ли девяносто лет — все одно...

Фотограф землю нашу и нас самих «обессмертил» и пошел своей дорогой.

А мы с Младшей Матерью по узкой пыльной тропинке пошли вниз. По ней мы когда-то, каждый в свое время, в свой черед, бегали босиком. Мы пошли к Мукушеву роднику. Захотелось вдруг зачерпнуть в ладонь и глотнуть его студеной воды. Не от жажды, а просто, говорю же, захотелось. Может, вот так вдвоем и не придем сюда больше... Неведомо.

А две пары ножек, оставив в пыли маленькие, как дубовые листочки, следы, уже пробежали вниз к роднику. Нашлись, значит, и нас попроворней...

ЧЕРНЫЕ УГЛИ НА БЕЛОМ СНЕГУ

Однажды утром Младшая Мать, которой уже на десятый десяток пошло, сидела притихшая, опечаленная чем-то. Когда же я спросил, здорова ли она, ответила «здорова» и даже улыбнулась. Но все равно вид был у нее невеселый. Я стал допытываться, и она сказала:

— Я сегодня на заре плакала.

— Отчего?

— Да так... По старости-дурости, наверное...

К материнским слезам равнодушным не останешься, особенно если матери за девяносто, а сыну под шестьдесят.

Я снова и снова спрашивал:

— Может, обидели? Или болезнь затаила?

— Я жалеючи плакала.

— Кого?

— Кудрявую босоногую девочку. Восемь лет ей всего.

— Чья девочка?

— ...Не было в доме спичек очаг разжечь, и ярым морозным утром дала мать девочке совок в руки и отправила к соседям за горячими углями. В одном платье, босиком, выскочила она из дома. Вот уже и обратно бежала, да возле самого порога поскользнулась она и упала. Все угли так и разлетелись из совка. Будто черные горячие слезы прожгли белый снег. И девочка как сидела, так и заплакала горько. Голые пятки ко льду пристыли. Этой девочкой я была. Проснулась сегодня на рассвете и от жалости к тому ребенку заплакала. Плачу, удержаться не могу. Если бы можно было, в самые теплые свои одеж-

ды ее одела, самыми вкусными своими яствами угостила. Если бы можно было... Да нет, невозможно. Плачь, убивайся, невозможно... Вот оттого, что ничего уже не поделаешь, я и плакала...

Вот ведь как. И счастливое, и несчастливое детство наше еще долгие-долгие годы следует за нами. А вернее, так и живет в душе, не уходит.

Про Младшую Мать говорю — больше восьмидесяти лет прошло, а она о своем детстве, о том, которое босиком по снегу бежало, плачет. Не ребячество ли? Наверное, ребячество. А в ребячестве — чистота.

...И от рассыпавшихся угольков белый снег черным не станет...

1972—1976, 1978



КОНЯ ДИКТАТОРУ!

ФАРС В ДВУХ ЧАСТЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Диктатор.

Портрет.

Би-Маза — министр красоты и целомудрия.

Колченогий — министр патриотизма и правосудия, без имени.

Художник — не великий, безликий.

Стряпуха.

Подметальщик.

Попугай.

Тутыя — дрессировщица попугаев.

Золотой коготок

Медный клюв

Одноглазый

Однорукий

Необученный

Телохранитель.

Ведьма.

} ее воспитанники.

} оборванцы.

ПРОЛОГ

Диктатор. Он толст, приземист, на голове феска с кисточкой. Узкие брюки, на ботинках большие шпоры.

Диктатор. На этом острове живут я и остальные. Я — владыка, Диктатор. Должность такая. Остальные — так себе, кто угодно. Когда я родился, я был красным, как красное солнышко поутру. Родился и начал говорить красные слова. Это и сейчас помню. Стыд и срам! Потом я белый свет перемутил и все цвета перемешал — сам несколько раз линял и снова перекрашивался. Теперь я не красный, не белый, не черный. Теперь я всех цветов выше. Теперь я *(поднимает палец)* Диктатор! *(Снимает феску и гладит лысину.)* Хы! Все сбылось. Остров оседлал. Осталось оседлать коня. И вместе с конем стать памятником. Только коня надо бы помирней, чтоб не сбросил. Ведь на нем мне придется сидеть целую вечность. Я покуда удаляюсь. Пешком. Пусть и остальные поговорят. Дозволяю. Демократия! Хы! *(Ушел.)*

С другой стороны выходит Би-Маза. Она в белой кофте, красной косынке, брюках с широкими штанинами, в деревянных башмаках. Таскает с собой складную трибуну.

Би-Маза. Я — Би-Маза, министр красоты и целомудрия. О себе говорить не люблю. Не люблю — и все же говорю. *(Быстро устанавливает трибуну.)* Говорю! Потому что страна хочет, народ просит, целомудрие приказывает. Не люблю — но говорю, потому что вы любите, страна любит, народ любит, да и сама люблю. Что у вас есть, жалкие, ничтожные, горемычные? Хоть что-нибудь есть у вас? А у меня — мой народ! У меня — я сама! Одни на свое высокое место из солдатских казарм карабкаются. *(Красивый жест в сторону ушедшего Диктатора.)* А другие с ясного поднебесья нисходят. Вот я сама... Кем я была! Эх! *(Щелкает пальцами.)* До чего докатилась! Министр красоты и целомудрия, видите ли! Велика честь! Пустым словам этого обормота *(тот же красивый жест в*

сторону Диктатора) поверила и по собственному желанию из рая ушла. Из самого рая! Была любимой женой всего острова, а стала — любовницей одного толстого остолопа. *(Хлопает по трибуне.)* Хватит, Би-Маза, довольно! Кто сам по своей воле из рая ушел, того обратно уже не пускают. Свою заурядную должность ты должна высоко вознести. Да здравствует красота! Да здравствует целомудрие! *(Патетически уходит, но тотчас возвращается, собирает трибуну и теперь уже уходит вместе со своим имуществом.)*

Прихрамывая, входит Колченогий с палкой-выбивалкой в руках. Он худ, долговяз, в одежде подражает Диктатору, но феска без кисточки, брюки чуть уже, шпора только на одном ботинке.

Колченогий. Я — министр патриотизма и правосудия. Министр! Имени у меня пока что нет. Родом я с другого острова. За клевету на тот, прежний мой, остров меня оттуда изгнали, а на границе отобрали имя. Теперь я здесь по найму министром патриотизма и правосудия работаю. И доказал, что этот остров — самый великий, самый древний, самый сытый, в общем, самый-самый... Когда доказал, у Диктатора под феской голова закружилась. «Человечество еще колеса не придумало, — сказал я, — когда ваши предки уже колесную мазь изобрели. Какое предвидение, какая прозорливость! Вот откуда берет начало твоя великая мудрость!» А вдобавок — палка! *(Показывает палку.)* Эта палка-выбивалка с развилкой на одном конце и медной шишкой на другом. Ею из диктаторского кителя я блох и пыль выбиваю. И опять я доказал, что три тысячи триста тридцать три года назад, когда хан Фин-Фу из династии Фу-Фу Вселенную сотрясал, из его кителя этой самой палкой золотую пыль выбивали. «А теперь она из тебя пыль выбивает, — сказал я. — От нее твоя мощь, твоя надменность, твой престиж». «Ты кто?» — спросил Диктатор. «Пророк, — ответил я. — Ищу отечество». «Вот, — сказал он и ткнул себя пальцем в грудь, — твое отечество, будешь моим, моего Диктаторства первым патриотом. Министром патриотизма и правосудия. А то никому веры нет: полон остров нигилистов, туда-сюда так и шмыгают». Сказал и заплакал. Потом спросил: «Ну, как патриотствовать будешь, гражданство примешь или по найму!» «По найму», — сказал я. Взял и нанялся. Всего я достиг. Все у меня есть. Только вот имени нет. А человек без имени — не человек, а сплошное «Эй!». Только и слышишь: «Эй, Колченогий!»,

«Эй, министр!» Но вот что я выдумал: устрою дуэт попугаев, чтобы они пели славу Диктатору. Диктатор не выдержит, заплачет и — глотая слезы — даст мне имя... Впрочем, заплачет или не заплачет. Как говорили древние римляне, хоть они против нас и сущие молокососы, «Тудуторо моторо», в переводе — «Третьего не дано».

С разных сторон выходят люди, пытаюсь представить себя.

Стряпуха. Я — Стряпуха, кормилица и поилица... Я...

Колченогий машет рукой. Стряпуха исчезает.

Подметальщик (*с метлой в руках*). Я — Подметальщик, мир от мусора очищаю... Я...

Колченогий машет рукой, тот исчезает. Кокетничая и жеманничая, выходит Тутыя. В руках клетка с двумя попугаями.

Тутыя (*что-то напевая*). Я дрессировщица попугаев Тутыя. Вызывали?

Колченогий. Вызовем. (*Машет рукой.*)

Тутыя исчезает. Появляется худой, длинноволосый, с очень большим носом Художник.

Художник. Я — свободный Художник... Я!.. Я!..

Колченогий. Полно врать, болтун. Художник свободным не бывает. (*Машет рукой.*)

Художник исчезает. Появляются еще несколько человек. Но, ничего не успев сказать, исчезают.

(*Смотрит на часы.*) Все! На этом демократия закрывается. Являться — только по вызову, отвечать — только на вопрос.

Появляется Ведьма с метлой. Колченогий делает жест рукой.

Ведьма. Что, что размахался? На ведьму?!

Свет гаснет.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Гостиная в резиденции Диктатора. Одна стена убрана фиговыми листочками, другая — лавровыми. В центре — большая клетка с Попугаем. В углу перед маленьким телевизором, чуть не уткнувшись в экран, сидит Диктатор. У окна, за которым синее море, сидит Би-Мазя. Она что-то быстро вяжет, при этом непрерывно курит.

Диктатор. Хы... Околпачила, чертова старуха! (*Ощупывает феску, поймав кисточку, немного успокаивается.*) Я ей метлу дал. И какую метлу! Одним махом

весь остров очистила, знатная метла!.. (*Би-Мазе.*) Не дымила бы ты.

Б и - М а з а (*и ухом не повела*). Не нравится — не нюхай.

Д и к т а т о р. Вон, пожалуйста. (*Жест в окно.*) Ни одного ядовитого цветка, ни одной либеральной колючки на острове не осталось. Ни сучка, ни задоринки. Гладко. (*Снимает феску и гладит лысину.*) А что она мне подсунула? Ящик! Дескать, чего только душа пожелает, все покажет. А моей душе меня самого подавай, на другое и смотреть не хочется.

Б и - М а з а. И даже на меня?

Д и к т а т о р. На тебя? С удовольствием, но в другом месте и в полной темноте.

Б и - М а з а. Пошляк.

Д и к т а т о р (*глядя на экран*). Все тени и тени. Будто я теней не видел. И так одни тени кругом.

Б и - М а з а. И я тоже — тень?

Д и к т а т о р. Ты — как стеклышко. Если бы от табака не закоптилась, насквозь все было бы видно.

Б и - М а з а. Кретин.

Д и к т а т о р. А хороша метла! В умелых, конечно, руках. Махнул раз — все лишние законы вымела, махнул два — права там всякие, махнул три — и всю конституцию в мусорную кучу. Одна демократия осталась, хорошо подметенная. Теперь остров в моем кармане.

Б и - М а з а (*не поднимая головы*). Держи карман шире.

Д и к т а т о р (*вскакивает, вытягивает один карман*). В этот еще целый остров поместится. (*Задумался.*) А что? Почему этот карман у меня должен быть пустым? Почему? (*Подходит к висящей на стене карте, смотрит, делает жест, будто разрезает карту надвое, скручивает половину и сует в карман.*) Идея! Осенило! Но... До поры до времени — военная тайна!

Входит Колченогий.

К о л ч е н о г и й. Тут какое-то ничтожество к тебе явилось, твое Диктаторство. С очень большим носом.

Д и к т а т о р. Нос — это нос. А сам-то он кто?

К о л ч е н о г и й. Великий, говорит, художник.

Д и к т а т о р. Живой?

К о л ч е н о г и й (*оглядывается на дверь*). Был живой.

Д и к т а т о р. Чепуха! Великих живыми не видел. Ни-

кто живой великим быть не может. (*Топает ногой так, что звенят шпоры.*) Кроме меня!

Колченогий (*топает ногой, но ошибается, не той, на которой шпора, пришлось топнуть еще раз*). Кроме тебя!

Диктатор. Заруби себе... на ушах.

Колченогий (*щиплет себя за уши*). Зарубил.

Диктатор. Так какой, говоришь, художник?

Колченогий (*сообразил*). Безликий. Я уже говорил: безликий. А нос все же... (*решиительно*) великий.

Диктатор (*снисходительно*). Носам это дозволяется. Издай там указ по своему министерству.

Би-Маза (*на мгновение оторвалась от своего вязания*). Носы — по моему министерству.

Диктатор. Этот... Ну этот, безликий, чего он пришел?

Колченогий. Твоего Диктаторства парадный мундир нарисовал, показать хочет.

Диктатор. Мундир? Натурмот, значит.

Би-Маза. Не натурмот, а на-тюр-морт. Казарма!

Диктатор. Мундир, говоришь? Пустой мундир?

Колченогий. Не совсем. Он твое Диктаторство в него засунул.

Диктатор. Патрет, значит. Давай.

Попугай. Давай, давай!

Входит Художник. Он тащит закрытый полотнищем большой портрет.

Диктатор (*внимательно осматривает нос*). Зачем такой большой?

Художник. Был — просто так, а теперь есть зачем.

Диктатор (*зажав нос Художника, пытается расшатать его*). Крепко сидит. Настоящий. А то ходят тут всякие. Один говорит, ум у него большой, другой — душа. Врут, а не поймашь. Нос достовернее, чем ум. Его хоть в руках подержать можно. (*Еще раз трогает Художника за нос.*) Какой, говоришь, от такого носа прок?

Художник. Когда руки не справляются, он мне рисовать помогает. Любой цвет по запаху узнает.

Диктатор. Хы... А каким цветом я пахну?

Художник (*нюхает*). Чем-то ослепительным.

Би-Маза. Понюхай как следует.

Художник. Чуть поглубже — фиолетовым, еще глубже — желтым, еще...

Диктатор (*кулаком затыкает ему рот*). Нос хорош длинный, а язык короткий. Да и нос... хорош ли? (*Долго, теперь уже с сомнением, смотрит на нос.*) Эй, министр красоты и целомудрия! Нормам нашего острова такой нос соответствует?

Би-Мазз. Вполне. Для носов норма еще не установлена. Этот возьмем за основу.

Диктатор. А целомудрие наше не пострадает?

Би-Мазз. Нисколько.

Диктатор (*Художнику*). Твое счастье. Не то пришлось бы укоротить.

Художник. Не только носа, головы для вас не жаль, о, радугой пахнувший Диктатор! Одно досадно: без головы великие произведения с вашим светлым образом создавать будет трудно.

Попугай. Не тру-удно! Легче, легче, легче!

Диктатор (*взволнован до слез*). Вот где верность, вот где преданность!.. Все слышали?

Колченогий. И видим и слышим, твое Диктаторство. Все по твоим предначертаниям делаем, как ты учил.

Би-Мазз. Лизоблюд.

Колченогий. Пусть лизоблюд, пусть блюдолиз, я только горжусь этим. Я Лизоблюд с большой буквы. И мое усердие я отдаю только двоим (*патетический жест в сторону Диктатора*): моему любимому твоему Диктаторству и (*такой же жест к небу*) господу богу. А в остальном я аскет.

Диктатор (*растроганным взглядом окидывает его тощую фигуру*). Спасибо, верный соратник! Опираясь на тебя, я буду править мудро, справедливо — и так целую вечность.

Художник. И даже полторы вечности! (*Сдергивает полотнище с портрета.*)

На портрете удивительно красивый, статный, с умным взором человек. Только феска и шпоры — как у Диктатора.

Вот, твое Диктаторство, ваш образ — вечный и бессмертный.

Диктатор подходит поближе. Недоверчиво ощупывает портрет. Трогает феску, шпоры.

Диктатор (*бормочет*). Феска — моя, шпоры — тоже мои. (*Резко.*) А доказательства? Чем ты докажешь, что портрет — вечен?

Художник. О, тут и доказывать не надо. Видите (*показывает на портрет*), какая на кителе пуговица? Эта пуговица с кителя того самого хана Фин-Фу, который три тысячи триста тридцать три года назад Вселенную сотрясал. Если она три тысячи триста тридцать три года здесь сидела, просидит и еще. На вашем мундире — пуговица вечности. Вы — вечны!

Диктатор (*Колченогому*). Не врет? Ханская?

Колченогий. Подлинная. Когда Фин-Фу из династии Фу-Фу первый раз сел на престол, у него на кителе точно такая пуговица была.

Диктатор (*Художнику*). Пуговицу крепко пришил?

Художник. Крепко.

Диктатор. Тогда — одобряю.

Художник. Взгляните же, взгляните на свой вечный и бессмертный образ!

Колченогий. Лоб твой — лоб философа, а взор — взор пророка, а нос — нос полководца. Все твои подвиги на этом лице написаны. Сколько ума, сколько прозорливости, сколько прыти в нем!

Художник. А кудри? Это кудри амура, рассылающего стрелы любви. Золотые кудри! А рот, уши, брови! Нет, не могу я их описать, язык немеет, слов не найду.

Колченогий. И нет таких слов. Ибо с начала мироздания не было такого рта, таких ушей, таких бровей, такой пуговицы!

Портрет (*высовывает голову из рамы*). Уф! Даже краска от удовольствия потекла.

Художник заталкивает его обратно в раму, — тот опять высывается. Художник тычет его кулаком в лоб.

Ты чего растолкался? На кого руку занес, мазила? Вы тут все плясать передо мной должны, подонки несчастные!

Диктатор (*важно выступает вперед*). Кто подонок?

Портрет (*показывает на каждого подбородком*). Ты, и ты, и ты, и вон та... Эй, возле окна, и ты тоже.

Би-Маза, единственная из всех, улыбается ему.

Диктатор. И я?!

Портрет. Ты первейший подонок и есть. Раскрой-ка глаза, посмотри: кто ты и кто я?

Диктатор. Кто я?

Портрет. Ты — поскребыш, горемыка, идиот! Полжизни в казармах нужники чистил, потом на улицу вышел, на всех углах глотку драл. В сорок цветов перекрашивался. Врал, продавал, покупал, резал, убивал. (*Передразнивает.*) «Красное солнышко»!

Диктатор. Я — какой есть, такой есть. А ты — мое отражение, моя тень. Ты — выдумка, самозванец. Халва, из дерьма приготовленная!

Портрет (*злорадно*). А кто дерьмо-то? Ты и есть дерьмо. Меня-то ведь из тебя приготовили.

Диктатор (*снимает феску, трет лысину*). Выходит, так. Не поспоришь... (*Вдруг взбеленился.*) Нет, поспорю! Я — Диктатор!

Попугай. Дик-та-тор-р!!

Портрет (*топает ногой, звенит шпорой*). Молчать, ничтожество!

Колченогий (*тоже топает*). Молчать!

Портрет. Блоха! Придавил ногтем — и нет тебя. А я — вечный. Ты даже одной пуговицы на моем мундире не стоишь, медная твоя голова! Лоб мой — лоб мудреца, взор мой — взор пророка, нос мой — нос полководца. Все мои подвиги на лице написаны. А на твоей гнусной роже только глупость, невежество, трусость. Ни волоска под феской не осталось — все парша съела. Чесотка, чихотка, короста, вша и парша!

Диктатор (*увлечен виртуозностью брани*). Сразу видно — из казармы. (*Взрывается.*) Повесить! Нет-нет, вешать нельзя! Зарезать, сжечь, растоптать!

Портрет. Понюхал бы ты мой кукиш, только рук вытащить не могу.

Колченогий и Художник в ужасе, не знают, что им делать.

Художник. Твое!.. Мое!.. Наше!.. Давайте я вам песню спою: «Солнце просыпается, небо разгорается!»

Би-Маза. Полаются — сладятся.

Диктатор (*обижен*). Как же, сладимся! Сейчас, разбежался. Он у меня на первом же костре сгорит. Пусть все мои слюни высохнут, если на его пепел не плюну.

Портрет. А я на тебя самого, на плешивую голову — тьфу, тьфу, тьфу! Ха-ха-ха!

Художник выхватывает кисть и замазывает Портрету рот. Тот моментально замолкает.

Диктатор. Ха-ха-ха!

В запале Художник замазывает рот и ему.

Колченогий. Что ты делаешь, мазила?

Художник замазывает рот и Колченогому. В ужасе он хочет убежать, но возвращается обратно.

Би-М а з а (*встает, снова садится, продолжает вязать*). Великий миг тишины переживает Вселенная. Слышно даже, как в голове мысль зашуршала. (*Трогает лоб.*) Вот, пожалуйста! (*Мотает головой, чтобы заглушить шуршание мысли.*)

Художник. Страшно!

Би-М а з а. Что страшно?

Художник. Все страшно! Владыка притих — страшно, мысль зашуршала — еще страшней.

Попугай. Чепуха-ха-ха!

Художник в растерянности сдергивает с головы Би-Мазы красный платок и подносит ко рту Портрета.

Художник. Повинишься, покаешься и перед его Диктаторским лицом землю будешь мести — верну тебе язык. Ну, каешься?

Портрет кивает. Художник вытирает ему рот.

Портрет (*с места в карьер*). О самый великий из великих, диктатор из диктаторов! Лоб твой — лоб философа, взор твой — взор пророка, нос твой — нос полководца. Все твои подвиги — и прошлые, и будущие, и те, что совершаешь вот сейчас, — на твоём лице сияют. На языке твоём — слова милосердия и прощения. Помилуй меня, бестолочь нахальную.

Художник (*Диктатору*). Помилуйте его — и вам я тоже язык верну.

Диктатор кивает. Художник вытирает рот и ему.

Портрет. Я — ничтожество, я — плевок, на полу растертый...

Диктатор. Ладно, ты совсем уж себя по полу не растирай. Все же ты не чей-нибудь, а мой портрет.

Портрет. Я не тебя, я себя растираю, себя казню.

Диктатор. Ну-ну, возьми себя в руки, ты же мужчина и мой портрет. Хы! (*Растроганно и назидательно.*) Самая чистая, самая непорочная, самая надежная вещь на свете — раскаявшийся грешник. Оба моих глаза — видите? — затопили слезы. Но это не слезы жалости. Это слезы гордости и восхищения. Я восхищаюсь тобой, мой прекрасный портрет и мудрый образ. В какое великое,

в какое поучительное время мы живем! Одно покаяние — и ты уже чист от тысячи грехов, от тысячи злодеяний. Режь, души, грабь, предавай, но только в нужный миг покайся и зарекись. И все твои грехи со звоном слетят с тебя. И снова ты почтенный, уважаемый, готовый на новые подвиги человек. Вот вам пример — мой гениальный портрет. Дай-ка прижму я тебя к моей всепрощающей груди. (*Обнимает Портрет и плачет навзрыд.*)

Колченогий с замазанным ртом крутится вокруг Художника. Тот, взволнованный до глубины души, не замечает его. Би-Маза вскакивает с места.

Б и - М а з а (*отбросив вязанье*). Долой мелочи быта! (*Сооружает трибуну.*) О, этот миг! Я не люблю говорить о себе, но приходится, потому что не сказать нельзя. В эту минуту я — потрясенный свидетель великого события! На моих увлажненных слезами глазах обнялись политика и искусство, суровая реальность и высокая мечта. Наш Диктатор, обняв свой портрет, плачет от чистого сердца. Плачь! Плачь!

Колченогий аплодирует.

П о п у г а й. Бр-раво! Бр-раво!

Художник замечает наконец Колченогого и вытирает ему рот.

К о л ч е н о г и й (*тут же присоединяется к Попугаю*). Бр-раво, бр-раво! Упоительные слезы нашего Диктатора каплями счастья усладили землю. Это незабываемая страница в истории нашего патриотизма. (*Кричит в дверь.*) Эй, писарь, запиши, а то забудется!

Д и к т а т о р (*подходит к Художнику, берет его за нос*). Талантлив твой нос. Береги его. Ради меня береги. Эй, этот... министр патриотизма! Строго-настрого накажи, чтобы там на улице мои молодчики не отрезали невзначай. Отныне этот нос взят под особую охрану.

Б и - М а з а. Нос — по моему ведомству. Государство позаботится.

Д и к т а т о р. Ну, безликий, нос твой великий (*гладит его по носу*), каковы творческие планы?

Х у д о ж н и к. О, твое Диктаторство! Нет ничего, кроме планов. Все мое состояние — я сам и мои планы. (*Поворачивается то в одну, то в другую сторону, показывает, какой он. Вдохновенно.*) Сначала я создам галерею ваших портретов. Тысячу портретов! Десять тысяч! Сто тысяч! Разные позы, разные виды, разные эпохи. Только ты, наше, твое Диктаторство, один и тот же. Здесь ты

смеешься, там ты плачешь, здесь ты думаешь, а там, наоборот, не думаешь, или — спишь, стреляешь, ешь, туда идешь, куда и хан Фин-Фу пешком ходил, оттуда возвращаешься... ты пьяный, ты трезвый, ты в припадке гнева, ты в припадке справедливости, ты верхом, ты пешком, ты в мундире, ты без мундира, ты, извините, в чем мать родила.

Диктатор (*упоенно слушая и принимая соответствующие позы*). Пусть так и будет. Мне от моего народа скрывать нечего. Утверждаю! За работу! Министры! Для Художника ничего не жалеть — ни кистей, ни красок. И еще. Проявим щедрость. Художнику ежедневно выдавать три, нет, две горсти риса. Какая у министров норма?

Колченогий. Смотря у кого. От полутора горстей до двух.

Диктатор. Хы... Проявим безграничную щедрость: выдавать Художнику по одной полной — полной! — горсти риса ежесуточно. (*Художнику.*) Больше нельзя. Не то желудок избалуется. «Чем плоть тощей, тем дух мощней» — это мои слова. (*Показывает в окно, где синее море.*) Зато воды можешь пить — сколько влезет.

Художник. Сегодня мой дух расцвел, как тысяча цветков. Я теперь, о великий, твоими портретами весь мир завалю. (*Подходит к продолжающей вязать Би-Мазе.*) И ваше прекрасное лицо, собла... совершенные формы, стройные ноги я сто, я тысячу раз нарисую.

Би-Мазе. Кстати, ноги у меня кривые.

Художник. Пусть это вас не беспокоит. Видим, кривые, рисуем прямые, видим бельмастого — рисуем глазастого. Все в наших руках. И не думайте и не сомневайтесь. Так вас воспою всеми цветами радуги — бог позавидует. А потом и детей ваших, круглых и румяных, нарисую.

Би-Мазе. У меня нет детей.

Художник. Нет, так будут. Вы такая молодая, такая изобильная...

Би-Мазе. От кого будут-то? От этого брюхатого, что ли? Или от этого сухоногого? А может, от Попугая?

Художник поводит плечами: не там, дескать, ищешь.

Попугай. Нет! Нет! Я не блудник! Не прелюбодей. Я отец семейства, у меня дети уже есть!

Диктатор (*напыщенно*). Мои дети — весь народ. Я — всему острову отец. А быть отцом какой-нибудь соп-

ливой двойни или тройни — ниже моего достоинства. Колченогий. Да-да! Женщин порожними оставлять — это новая форма патриотизма. Блистательный пример этому дает наш Диктатор. И без того люди, словно комары, плодятся...

Диктатор. Как мухи.

Колченогий. Как мухи размножаются.

Диктатор (*топает ногой, звенит шпорой*). Размножение прекратить!

Колченогий (*тоже топает, но опять не той ногой, где шпора, поэтому топает еще раз*). Прекратить!

Би-Маза (*уходит во внутренние покои, в дверях оборачивается*). Ме-ри-ны!

Следом, потирая руки, направляется Художник.

Диктатор. Ку-уда?

Художник. На работу.

Диктатор показывает на другую дверь. Художник поворачивается и идет туда, куда хочет его хозяин.

Диктатор (*беззлобно*). Марш! Министры! Вот что, выкажем беспримерную щедрость: выдавать Художнику по полгорсти риса ежедневно. По половине! Хы! За работу. Художник! А этого (*показывает на Портрет*) на смолу посади, чтоб крепко сидел. И все сто тысяч наших портретов на смолу сажай. И рты сразу замазывай. Эй, министры, Художнику смолы выдавать без ограничения! Успешной работы. Нос береги.

Художник берет Портрет и уходит. Колченогий спешит следом. На острове полный порядок, жизнь развивается, большими скачками вперед несется. Кругом гладко. (*Снимает феску, гладит лысину*) Ни сучка, ни задоринки. Теперь можно и вздремнуть... (*Засыпает.*)

Через сцену с большим мечом на плече проходит Телохранитель. Входит Ведьма, волочит за собой истрепанную метлу.

Ведьма. Ты, лысый недоносок! Кого одурачить вздумал? Меня, Ведьму! Да мне, когда я из материнской утробы на свет появилась, уже тысяча лет было! «Волшебная метла! И скачет и летает». Как же, летает! Чтоб я на нее верхом села? Да я лучше пешком пойду. Только и годится, что нужники чистить. На, чисти свой нужник! (*Ставит в угол метлу и берет телевизор.*) Вот выйду на пенсию, сама буду смотреть.

Свет гаснет и снова зажигается. Колченогий стоит перед большим зеркалом.

Колченогий. Не будь я некрасивым, был бы гораздо красивее... Впрочем, мой несравненный ум все заменяет. Только моей глупости заменить не может. Глупость вообще ничем не заменишь. (*Задумывается.*) Фу! Как погружусь в свои глубокие думы — вынырнуть не могу...

Стуча деревянными башмаками, вбегает Стряпуха. Колченогий поворачивается к ней.

Стряпуха. Молился, кажись? Уж домолился, коли начал.

Колченогий. Мы по-готовому не молимся. Мы с Диктатором каждый день новую молитву придумываем.

Стряпуха. Я не про молитву. Про палку-выбивалку хотела сказать.

Колченогий. А что про нее говорить? Я утром железный сундук открыл...

Стряпуха. Открыл.

Колченогий. Палку-выбивалку достал...

Стряпуха. Достал.

Колченогий. Тебе прямо в руки дал...

Стряпуха. Дал.

Колченогий. Дал, так держи.

Стряпуха. Держала.

Колченогий. И что же?

Стряпуха. Сам же сказал: «Возьми китель этого самого...»

Колченогий. Сколько можно повторять: Дик-та-то-ра!

Стряпуха. Диктатора. Возьми этот китель и иди ты с ним подальше, сказал. Поднимись, сказал, на самую высокую башню, там, сказал, выбей хорошенько, чтобы, сказал, благодатная его пыль на всю страну разлетелась. Я китель свернула, под мышку сунула, палку-выбивалку взяла и потихоньку на Зеленую башню влезла. (*Нараспев.*) Со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку — очень высокая башня!

Колченогий (*терпение уже на исходе*). Быстрее ползи! Быстрее!

Стряпуха (*тараторит*). Я китель свернула, под мышку сунула, палку взяла и пошла себе потихоньку... Нет, быстро-быстро на Зеленую башню побежала. (*Тараторит еще быстрее.*) Со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку — очень

уж высокая башня! Со ступеньки на ступеньку...

Колченогий. Через три ступеньки прыгай!

Стряпуха. Уф, допрыгала уже. (*Снова говорит нараспев.*) Повесила я китель на перекладину и начала выбивать. Хлоп да хлоп палкой, хлоп да хлоп, хлоп да хлоп, хлоп да хлоп... (*Под взглядом Колченогого сникает. Но все же продолжает.*) Мда, хлоп да хлоп, значит, выбиваю, а сама думаю: а что, если бы сейчас был сам этот... ну как его...

Колченогий (*устало*). Диктатор.

Стряпуха. Что было бы, думаю, если бы Диктатор сам сейчас внутри кителя сидел?

Колченогий. Пыли больше вышло бы, недотепа!

Стряпуха. Тебе лучше знать. А я все хлоп да хлоп, все хлоп да хлоп. А китель фыр да фыр, фыр да фыр, только фиолетовая, потом желтая, потом синяя, под конец красная пыль один раз фыркнула. Красная, значит, в самых потрохах сидела, оттуда фыркнула.

Колченогий. Ну ладно, ладно, хватит! Значит, целебная пыль всем по справедливости досталась — всю страну благодать накрыла?

Стряпуха. Насчет благодати не знаю. Но пыли все одинаково наглотались.

Колченогий. Очень хорошо!

Стряпуха. Нет, не очень. Палка пропала.

Колченогий (*с размаху садится на пол*). Как «пропала»?!

Стряпуха. Улетела. Последний раз я замахнулась, а она из рук вырвалась и улетела.

Колченогий (*немного успокаиваясь*). Не на Вузию же улетела. Ищи!

Стряпуха. Весь день искала. Подметальщик улиц, водонос, свинопас — все вместе искали. Нигде нет!

Колченогий (*кричит*). Гибель! Катастрофа! Ты государство под корень рубишь. (*Спокойно.*) Диктатор тебя повесит.

Стряпуха. Я — Стряпуха. А значит — кормилица и поилица. Меня повесит — сам с голоду помрет. И ты ноги протянешь. А эта, которая табак курит, и подавно.

Колченогий. Наш Диктатор голода не боится. Наоборот, он сытости боится. Пора бы запомнить.

Стряпуха. Может, и боится, а сам жареного поросенка в один присест съедает. Еще урчит от удовольствия при этом, потому что вкусно.

Колченогий (*хмуро*). Это не он, это поросенок урчит. (*Мечтательная пауза.*) А если бы и урчал! Его урчание слаще пения.

Стряпуха. Что верно, то верно. Как он поет, я слышала. Пусть уж лучше урчит.

Колченогий. Ну как я перед Диктатором предстану?

Стряпуха. Скажи, пусть новую палку закажут.

Колченогий. Новую палку! Метла хороша новая, а палка старая. Пора бы знать!

Стряпуха. Пора, пора...

Колченогий. Так мне и надо: Фин-Фу и Фу-Фу каких-то выдумал! Нет, никак не могу я взлеты своего могучего ума удержать! И все мои беды от ума. Впрочем... (*Стряпухе.*) Иди, шею хорошенько вымой, скоро в раю будешь. Впрочем... Повинную голову меч не сечет, Пойду повинюсь. (*Выходит, свесив голову.*)

Свет гаснет. Потом зажигается. Диктатор сидит и с большим интересом смотрит в угол, где прежде стоял телевизор. Но там, кроме метлы, теперь ничего нет. За спиной Диктатора, свесив голову, стоит Колченогий. Некоторая пауза. Наконец Диктатор замечает, что перед ним не телевизор, а метла.

Диктатор (*метле*). Хы... Вернулась, значит. Хвалю. Теперь стой здесь и охраняй покой государства. Ты есть — и я спокоен. (*Метла шевельнулась, хочет что-то сказать.*) Не надо слов. Я тебя и без слов понимаю. Ведь ты мне идейный брат, а я тебе — идейный отец. Я тебя то ли продал, то ли потерял, уже не помню. А ты вернулась, ценю верность.

Колченогий (*склоняет голову еще ниже*). Наше любимое твое Диктаторство!

Диктатор. А?

Колченогий. Лучше бы я с известием о своей смерти пришел и тебя на собственные свои поминки пригласил. В тысячу раз было бы легче. Отруби мне голову своей милосердной саблей.

Диктатор (*сварливо*). Руби да руби. А сам голову ниже колен свесил. Сабля только прямую шею рубит. Для склоненной шеи топор нужен.

Колченогий. Нет топора. Ни одного не осталось.

Диктатор. Как нет? Куда подевались?

Колченогий. По твоему приказанию все топоры на миллион шил перековали.

Диктатор. На шила? Сам приказал? А зачем?

Колченогий. Воробьям глаза выкалывать. Ты тогда клич бросил: «Всем воробьям выколоть глаза!»

Диктатор (*поражен*). А... зачем?

Колченогий. Чтобы они рис не могли увидеть.

Диктатор. Хы... Вроде припоминаю. А теперь обратно из миллиона шил один топор выковать! (*Поднимает палец.*) Большой топор!

Во время этого разговора в глубине сцены проходит Телохранитель.

Колченогий (*вздыхает*). Большой топор!.. Но, твое Диктаторство, я умоляю, на коленях умоляю. (*Становится на колени, кладет голову на пол.*)

Диктатор. Умоляй.

Колченогий. Вот эту преданную тебе голову пусть не топор, а твоя алмазная сабля отрубит. Сподоблюсь ли я такому счастью?

Диктатор. Сподобишься. Моя цель — всех моих подданных делать счастливыми. Когда желаешь сподобиться?

Колченогий. Сегодня, сейчас! Ужасная весть. Лучше бы я пришел и сказал, что ты умер, и тебя на собственные твои поминки пригласил, в миллион раз было бы мне легче.

Диктатор (*ничего не понял*). Встань, верный мой соратник. Я жив и здоров.

Колченогий. Нет, твое Диктаторство, на пощаду не надеюсь. Большую потерю понесло наше общество. От хана Фин-Фу дошедшая палка-выбивалка сегодня в семь часов тридцать шесть минут пятьдесят секунд...

Диктатор (*содрогнувшись*). Погибла?

Колченогий. Пропала.

Диктатор. Как — пропала?

Колченогий. Без вести пропала. Стряпуха на Зеленой башне из твоего кителя золотую пыль выбивала и, утратив всякую бдительность, упустила из рук.

Диктатор. Умысел?

Колченогий. Устанавливается.

Диктатор. Искали?

Колченогий. Искали, но не нашли.

Диктатор (*схватившись за голову*). О, дорогая палка! Бедная, бедная выбивалка! (*Тихо плачет.*) После смерти отца это самая тяжелая моя потеря. Но свое горе я переношу мужественно, стойко, дух мой крепок как никогда. О, мои сограждане, видите ли вы, как я тверд в

этот трагический час, как я мудр? Учитесь у меня! Берите с меня пример! Будьте, как я.

Колченогий (*стоя навытяжку, со слезами на глазах*). Учимся. Берем. Будем.

Диктатор. Большое горе и большого уважения требует. Объявляется великий траур. Три дня: чужих послов не принимать, чужих судов не выпускать, мертвых не хоронить, детей — не рожать!

Колченогий. Не принимать. Не выпускать. Не хоронить. Не рожать.

Диктатор. А кто указ нарушит — смертная казнь.

Колченогий. Просто и милосердно.

Диктатор. Сейчас указ напишем.

Колченогий. Эй, писарь, запиши, а то забудется!

Диктатор. «Указ тридцать девять тысяч тридцать девять. Параграф первый. Мой счастливый народ! Великое горе постигло меня и тебя: от хана Фин-Фу доставшаяся палка-выбивалка с рогатиной на одном конце и с медной шишкой на другом конце (*снимает феску и гладит лысину*), слава и символ моего Диктаторства, — пропала без вести. Параграф второй. Всем гражданам приказываю: искать днем — с огнем, ночью — на ощупь. И найти. Параграф третий. Кто найдет, тому награда: половина острова».

Колченогий. Половина?

Диктатор. Четверть острова.

Колченогий. Четверть?

Диктатор. Жадина, скряга, скупердяй! (*Торжественно.*) Осьмушка острова.

Колченогий. Твое Диктаторство! Зачем писать, чего осьмушка. К чему педантизм? Ты же солдат. Осьмушка — и осьмушка! А чего осьмушка — твой государственный ум потом подскажет.

Диктатор. Правильно. Я солдат. Ненавижу этот, ну...

Колченогий. Педантизм.

Диктатор. Вот-вот. «Кто найдет, тому награда: осьмушка». Да, осьмушки за глаза довольно. Теперь параграф четвертый.

Колченогий. Писарь! Параграф четвертый.

Диктатор (*мягко, проникновенно*). «Параграф четвертый. Если за три дня не найдется, половину моих сограждан зарезать, половину — повесить. Сказано — сделано».

За спиной Диктатора проходит Телохранитель, на одном плече — меч, на другом — веревка.

Колченогий (*несколько обеспокоен*). А вдруг палка не найдется?

Диктатор. Как не найдется? Вот еще! Я же указ издал. А указ исполняться должен. Или так, или эдак. Как там эти древние молокососы говорили?

Колченогий. «Тудуторо моторо» — «Третьего не дано».

Диктатор (*внезапно воодушевляясь*). Стукни по указу большой печатью и разнеси по всему острову. (*Топает ногой.*) Чтоб я и глазом моргнуть не успел. Я моргаю. Закрываю глаза.

Свет гаснет.

Открываю глаза.

Свет зажигается.

Колченогий. Готово.

Выплескивая свою ярость, входит Би-Маза. В руках у нее листок бумаги.

Би-Маза. Эт-то-что-та-кое-е?!

Диктатор. Указ.

Би-Маза. Почему? Почему все великие события происходят за моей спиной? Кто я? Министр красоты и целомудрия или государственная постель? Кто я?

Колченогий. Красота и целомудрие — вот истинные достоинства любой постели.

Би-Маза. Тебя не спросили, тощий лизоблюд! Вся страна знает, одна я ничего не знаю. Хоть садись и помирай со стыда. А я-то, будто верная жена, тихая домохозяйка, сижу кiset ему для табака вышиваю.

Диктатор. Я табак не курю.

Би-Маза. Подумаешь, пуп земли! Ты не куришь, другие курят. Вот Художник, например...

Диктатор (*Колченогому*). Хы!.. Сколько мы этому Художнику риса даем?

Колченогий. Полгорсти.

Диктатор. Эдак он и с жиру взбеситься может. Он — наша гордость, наше достояние. Полгорсти, а? (*Качает головой.*) Надо поберечь его. Четверть горсти — в самый раз будет.

Би-Маза. Ты, убожество! Он — художник, человек чувства! Он и без зернышка риса, на одном вдохновении год проживет.

Диктатор (*посмеиваясь*). Прожить-то проживет...

Би-Мазз (*принимается раскладывать свою трибуну*). Долой мелкие дразги! Долой мышиную возню самолюбий! В трагический час мы должны собраться, соединиться, сплотиться и сжаться в один тяжелый кулак, в одну разящую дубину! Сыщиков, соглядатаев по всему острову рассыпать! Пусть друг за другом подглядывают и подслушивают, пусть вынюхивают и доносят. Одурачить, взбесить, распалить, натравить!

Неожиданная пауза.

Я о себе говорить не люблю. Не люблю — но говорю. Потому что не сказать уже нельзя. Это не я говорю, мой опыт говорит. В «Цветнике нераскрывшихся бутонов», а по-военному говоря, в бардаке — недомолвкам здесь места нет, — так вот, в «Бардаке нераскрывшихся бутонов» мы против любой напасти выступали дружно, плечом к плечу, боролись и побеждали. (*Вздыхает.*) Вот уж где порядок был...

Диктатор (*вспыхнув, потрясает кулаками*). В набат! Поднять остров на дыбы! Чрезвычайное военное положение! (*Спокойно.*) Оказывается, чем десять умных министров, лучше одну шальную бабу...

Колченогий. ...одну жену...

Диктатор. ...одну жену иметь. До какого хочешь положения доведет. (*Смотрит на ноги Колченогого.*) Разрешаю и на вторую ногу шпору надеть. Приказываю даже. При военном положении всем в ногу топать надо. (*Би-Маззе.*) И ты тоже.

Би-Мазз. Что — и я тоже?

Диктатор. Шпору нацепи. На острове военное положение.

Быют в набат. Свет гаснет.

На краю свалки зборванцы — Необученный и Однорукий — играют в карты.

Однорукий. Ты почему не жульничаешь? Почему не плутуешь? Так из тебя никогда порядочного жулика не получится.

Необученный. Да жульничаю я!

Однорукий (*поднимает сброшенную карту, показывает*). Что ж я, слепой, что ли? И вот это ты называешь жульничеством? Разве так в карты играют! Разве так передергивают? (*Бьет его по голове.*) Размазня! Только профессию позоришь!

Необученный (*хлопает картой*). Да что я, не стараюсь, что ли? Нет у меня таланта.

Однорукий. Талант, талант! Никакого таланта и вовсе нет, в природе не существует. Есть только расторопность, прилежание и любовь к своему делу. А ты все без души делаешь, без азарта жульничаешь. Для проформы только. Молодой, а уже формалист.

Необученный (*с обидой*). Коли на то пошло, и ты жуликом не родился. Коли на то пошло!

Однорукий. Добрые люди из меня человека сделали, теперь я тебя человеком сделать пытаюсь. (*Смотрит на карту, которую выложил Необученный.*) Опять правильно пошел, бессовестный!

Необученный. Ну что ты мучаешь меня? Будто я сегодня Тихий океан выиграть должен.

Однорукий. Куда уж тебе, кишка тонка! (*Хлопает картой.*) Эх, бывают же пройдохи! С одним я когда-то вместе в казарме жил. Замухрышкой-шестеркой, бывало, козырного туза так припечатает,—охнуть не успеешь. Только сам при этом ослабится и крикнет: «Хы!» Сколько жульничал, а глаза целы остались и руки на месте. А мне вот оттяпали...

Необученный (*подняв кверху палец*). На кого намекаешь?

Однорукий. Много будешь знать, карта идти не будет.

Необученный. Ты-то вон сколько знаешь, а карта тебе идет. Гору Фудзияму выиграл? Выиграл. Ананасную плантацию нашего Диктатора ты у меня выиграл? Выиграл. Самое большое стадо слонов в Африке выиграл? Выиграл. Все на свете выиграл. Весь свет теперь наш. (*Вздыхает.*) Только вот три дня уже зернышка риса во рту не было. Наверное, рот раскрыть—так потроха видать. (*Открывает рот.*) Видать?

Однорукий (*заглядывает*). Видать. Даже, на чем сидишь, вижу. Туза под себя спрятал. Молодец, хоть чему-то научился.

Необученный (*польщен и смущен, делится сокровенным*). Когда поешь вволю, так хорошо на душе.

Однорукий. Когда поешь, и есть меньше хочется. Давай ломоть хлеба на кон поставим! (*Показывает на несуществующий кусок хлеба.*) Вот этот.

Необученный. Только чур, кто бы ни выиграл — пополам.

Входит Одноглазый Оборванец, в руке — бумага.

А вот и третий!

Одноглазый. Вы тут картами шлепаете, а в мире ужасные события. Слушайте указ Диктатора, господа!

Однорукый. Это кто «господа»? Мы, что ли?

Одноглазый. Мы и есть. Мы — сливки общества, мы — цвет эпохи. Мы и есть господа!

Однорукый. Дай-ка бумагу. (*Берет, возвращает*). Не пойдет.

Необученный. И чего это Диктатор указы на такой толстой бумаге пишет?

Однорукый. Чтобы на это... на курево не пустили. Говорю же, такого пройдоху еще поискать! Читай.

Одноглазый (*залезает на кучу мусора и важно читает*). «Указ тридцать девять тысяч тридцать девять. Параграф первый. Мой счастливый народ! Великое горе постигло меня и тебя: от хана Фин-Фу доставшаяся палка-выбивалка с рогатиной на одном конце и с медной шишкой на другом конце, слава и символ моего Диктаторства,—пропала без вести. Параграф второй. Всем гражданам приказываю: искать днем — с огнем, ночью — на ощупь. И найти. Параграф третий. Кто найдет, тому награда: осьмушка». Тут одно слово выпало. «Параграф четвертый. Если за три дня не найдется, половину моих сограждан — зарезать, половину — повесить. Сказано — сделано». Подпись. Круглая печать. (*Застывает подобно Диктатору*).

Однорукый (*после паузы*). Слушаю и удивляюсь. Один ведь единственный глаз, а как быстро ты все прочитал. А если бы тебе два глаза! Уши бы слушать не поспевали.

Дальнейший разговор идет в любезном до приторности тоне.

Одноглазый. За комплимент, разумеется, спасибо, уважаемый. Но все равно ты безмозглый.

Однорукый. Это почему же, достопочтенный оборванец?

Одноглазый. Потому что слушал ты этот указ, как осел молитву. И глубокий его смысл в твое мелкое сознание так и не проник.

Однорукый. Но позволю себе заметить, уважаемый, слюны у меня еще достаточно, так что плевал я на твой... на диктаторский указ. Ни на что другое он не годится — бумага жесткая, царапаться будет. А сказать по

секрету, при нынешней голодухе нам и мягкая бумага уже давно без надобности.

Одноглазый. Какое невежество. Если ты наплюешь, если я наплюю, если этот молокосос начнет плевать...

Однорукий. Будешь зудеть, и на тебя плюну.

Одноглазый (*настроение его явно портится, с укоризной*). На меня, на седого одноглазого беркута плюнешь?

Взаимная любезность растаяла как дым.

Однорукий (*плюет*). На тебя! На тебя! В последний твой глаз плюю! Тьфу!

Одноглазый. А я твою последнюю руку оторву! (*Но вниз слезать не спешит.*)

Однорукий (*сдерживает его с кучи и ловко отвешивает две оплеухи.*) На, оторви! На, оторви!

Одноглазый. Я! Я! Я себя даже словом коснуться не позволю! Ты еще моего происхождения не знаешь!

Однорукий. Из дерьма твое происхождение! (*Бьет Одноглазого.*)

Тот и ответить не может, драться не мастер. Необученный разнимает их.

Необученный. Жулики, мошенники, дяденьки! Нашли время ссориться! Ведь если палка не найдется, нас тоже повесят, зарежут! Так в указе сказано.

Однорукий. В каком указе? Где?

Одноглазый. Вот здесь. (*Снова залезает на кучу и читает напыщенно.*) «Указ тридцать девять тысяч тридцать девять. Мой счастливый народ!..» Так... Так... Вот. «Параграф третий. Кто найдет, тому награда—осьмушка. Параграф четвертый. Если через три дня не найдется, половину моих сограждан (*показывает на Необученного*) — зарезать, половину (*показывает на Однорукого*) — повесить».

Однорукий. Мда... Мы ведь тоже сограждане. Так бы с самого начала и читал. А то гонишь куда-то, а толка нет.

Одноглазый. Нет, почтенный, опять вы бессовестно врете!

Необученный. Дяденьки, давайте без шума, без крика тихо-мирно все обговорим. Это ведь не в карты играть, тут мозгами шевелить надо.

Однорукий. Вся жизнь — карточная игра. Только надо знать, когда карту передернуть.

Необученный. А если не найдется палка?

Однорукий. Не найдется — самим найти.

Одноглазый. Конечно! Только мы, сливки общества, цвет эпохи...

Однорукий. ...свалки и помойных ям.

Одноглазый (*морщится, но соглашается*). Да. И только нам под силу найти палку-выбивалку! И тогда осьмушка — наша!

Необученный. А чего осьмушка-то? Может, чая...

Одноглазый. Пессимист ты, и к тому же — нигилист. (*Сокрушенно.*) А ведь такой еще молодой!.. Нет, наш Диктатор осьмушкой чая мелочиться не станет. Самое малое — осьмушка земного шара. Самое малое!

Необученный. Эх, нам бы осьмушку земного шара — хоть бы раз досыта наелись!

Свет гаснет — и снова зажигается. На сцене Колченогий.

Колченогий. Бьют часы истории. Великое мгновение настало. (*В ужасе вертит головой.*) На острове — военное положение! Вот сейчас-то, когда весь остров кипит и булькает, как котел без риса, надо бы ошарашить Диктатора. Да так, чтобы он заплакал и мне имя дал. «Когда свистят стрелы, мимозы молчат». Кто это сказал? Никто не сказал. Это я сказал. Как, значит, я говорю? (*Чешет голову.*) «Стрела свистит, а попугай поет». И откуда в мою маленькую голову такие мудрые мысли залетают? (*Подражая Диктатору.*) Хы!.. Тутыя!

Что-то напевая, в пух и прах разряженная, входит Тутыя. В руках у нее клетка с дрессированными попугаями: Золотой Коготок и Медный Ключ.

Тутыя. Вызывали?

Колченогий. Вызывали.

Тутыя (*оглядывает комнату*). Неприглядненько тут у вас. (*Проходит и садится в большое кресло.*)

Колченогий (*показывает на маленькую деревянную скамейку возле двери*). Вон туда сядь, удобнее будет.

Тутыя. Не беспокойтесь, мне и здесь удобно.

Колченогий. Хорошего помаленьку. Пересядь к дверям. Или стоя слушай.

Тутыя (*пересаживается*). Подумаешь, провалится твое кресло!

Колченогий. Не по тебе это место. Чином не вышла.

Тутыя (*затараторила*). Как не вышла? Как не вышла? Вот еще! Я всем вышла! (*Покрутилась, показала себя.*)

Колченогий. Уж не знаю, чему ты своих попугаев можешь обучить.

Тутыя. Уччу! Уч-чу!

Колченогий. Чему учишь?

Тутыя. Всему. Они прежде на свадьбах пели. Но с тех пор как свадьбу разоблачили как вузионистский обряд, они под моим руководством перековываются. Я их в духе нашего островного патриотизма воспитываю. Мы теперь (*кивает на своих питомцев*) свой гражданский долг глубоко осознаем. Все изречения нашего Диктатора наизуток знаем, всегда повторяем.

Колченогий (*вдохновляясь*). Повторяйте, повторяйте! Хлеба не просите, жилища не просите, одежды не просите — только его слова повторяйте. Его слова — и насытят, и обогреют, и срам прикроют. А вы какие изречения повторяете?

Тутыя (*одному из попугаев*). Ну-ка, Золотой Коготок!

Золотой Коготок (*вяло*). Повесить! Зарезать! Сказано — сделано!

Тутыя. Теперь ты, Медный Клюв.

Медный Клюв (*вяло*). Повесить! Зарезать! Сказано — сделано.

Колченогий. Хорошо. Очень хорошо. Просто, не притязательно, с солдатской прямотой. А сколько за этой внешней суровостью неистраченной доброты. (*От непрошеной слезы его голос дрожит.*) Нет, так могло сказать только великое и простое сердце нашего Диктатора! Да, нужно обогреть это большое сердце, обласкать его. И только песня может сделать это! Только песня! Ты же знаешь... Нет, ты не знаешь, один я знаю: стоит нашему Диктатору услышать тесню, как из его глаз веером летят слезы — от ненависти к врагам и от любви к себе. Положит голову вот сюда (*показывает на свое плечо*) и плачет. О, эти слезы! Одна из них мне подбородок обожгла и вот здесь родинку — святую метку —

навечно оставила. Песня нужна! Песня! Пусть твои попугаи научатся ее дуэтом петь.

Тутыя. Научатся. А какую песню?

Колченогий. «Какую песню! Какую песню!» Попугайская твоя голова! На нашем острове одна только песня и есть.

Тутыя. А-а!

Колченогий. «А-а!» Вот именно — «а-а»! Иди и приступай к обучению. Три дня сроку. Будет дуэт — озолочу, а не будет... Как говорили древние, но против нас сопливые римляне: «Тудуторо моторо!» Понятно?

Золотой Коготок (*уныло*). Повесить. Зарезать. Третьего не дано.

Медный Клюв (*уныло*). Зарезать. Повесить. Третьего не дано.

Колченогий. Верно, догадливые птицы: третьего не дано!

З а н а в е с

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Диктатор, спотыкаясь о прицепленную к поясу длинную саблю, ходит взад-вперед. Би-Маза что-то вяжет, на одном башмаке шпора. Колченогий, уже при двух шпорах, стоит навывтяжку.

Диктатор. Хы!.. И ничего?

Колченогий. Ничего. Весь остров, как ты приказал, днем с огнем, ночью на ощупь обшарили, общупали, обыскали. Все шпионы, сыщики, соглядатаи и доносчики с ног сбились. Видишь, один только я твердо на ногах стою. (*Гордо откидывает голову и чуть не опрокидывается*).

Би-Маза (*пожимает плечами*). Хвастун колченогий! Уму непостижимо: как хромой — то непременно хвастун.

Бьют часы.

Диктатор. Еще пятнадцать минут и будет трое суток. Что ж, пора и за работу. Сказано — сделано. Но!.. Но в целях государственной необходимости проявим милосердие. Милосердие! Из десяти (*показывает десять пальцев*) одного (*один палец*) — повесить, из пяти (*пять пальцев*) одному (*один палец*) — отрубить голову. (*В некотором раздумье смотрит на этот единственный палец, жалеет, что мало получается. Неохотно.*) Сказано — сде-

лано. Разом всех уничтожить — мы же не дикари какие-нибудь.

Колченогий. Нет, не дикари.

Диктатор (*оживляется, усмехается*). Зато, кто жив останется, сразу себя счастливым почувствует.

Колченогий. Сразу!

Диктатор (*смотрит то на четыре пальца, то на девять пальцев*). Вот сколько народу я от смерти спас и счастливыми сделал. Мой долг — делать своих подданных счастливыми. (*Смотрит на один палец.*) Даже такой ценой. (*Зрелище собственного обреченного пальца приводит его в состояние жалостливого смятения.*) Ах, дети мои, дети мои! Какой палец ни укуси — все больно. Но ради светлого будущего чем не пожертвуешь!

По сцене проходит Телохранитель. Тишина. Слышится что-то похожее на песню, это поют Оборванцы:

«Хорошо — это холод,
Плохо — это тепло.
Хорошо — это голод.
Сытость — страшное зло.
Хорошо — это речи.
Прочь — ученье и труд!
Наши верные плечи
Всю державу несут.
Солнце поднимается, небо разгорается.
Славу Солнцу поют три верных оборванца».

С улицы доносится шум перепалки.

Голос Одноглазого. Пустите нас! Мы само наше Солнце хотим увидеть!

Диктатор. Кто там?

Голос. Оборванцы!

Диктатор. Пусть войдут. Ко мне всякий оборванец может войти — демократия! Только не всякий выйдет. Впустите.

С песней, печатая шаг, строем входят Оборванцы.

Все трое (*поют*).

«Хорошо — это речи.
Прочь — ученье и труд!
Наши верные плечи
Всю державу несут».

Одноглазый. Стой! Смирно! Твое Диктаторство!..

Диктатор (*поднимает руку*). Какая энергия! Какая дисциплина! Какой духовный подъем! Ах, дети, дети! Я восхищен. Вот с кого надо брать пример всем этим свиноголосым нигилистам. А они хлеба просят. Нахалы. Ну-ка, спойте еще раз.

Оборванцы поют еще раз. Вконец растроганный Диктатор достает большой, с полотенце, платок, вытирает глаза и лысину. Часы бьют восемь.

Колченогий. Восемь. Уже на секунду запаздываем.

Диктатор. Ну, приступим. Помните: одна жертва (*показывает, как отрубают голову*) — четыре счастливых, одна жертва (*показывает, как вешают*) — девять счастливых. Сказано — сделано. (*Показывает на оборванцев.*) Этим молодцов первыми пропустите — они в раю лучшие места успеют захватить.

Через всю сцену проходит Телохранитель. Оборванцы в ужасе.

Одноглазый (*становясь на колени*). Солнце ты наше, луна и звезды!

Диктатор. Сказал «Солнце» — и достаточно.

Одноглазый. О Незакатный! Радостная весть!

Необученный. Очень радостная!

Однорукий. Палка-выбивалка! Вот она! (*Достает из-под лохмотьев палку.*)

Одноглазый. Ваш приказ исполнен!

Диктатор. Какая еще палка?

Необученный. С шишкой и развилкой.

Одноглазый. С медной шишечкой, с изящной развилочкой.

Диктатор. Выходит, поголовное счастье покуда откладывается... Хы!

Колченогий (*машет палкой*). Да здравствует Диктатор! Мы победили!

Попугай. Ур-ра!

Одноглазый. Обещанную осьмушку... Осьмушку... (*Достает из прорехи в лохмотьях указ, заглядывает.*) Тут слово одно выпало. Давай обещанную награду, и мы пойдем. Мы люди занятые, деловые, нам некогда.

Диктатор (*Колченогому*). Выдай им осьмушку «спасибо».

Однорукий. За «спасибо», конечно, благодарим. Только «спасибо» сыт не будешь. Мы ведь рот откроем, не то что потроха — белый свет насквозь виден. Таковую

скважину не осьмушкой — и целым «спасибо» не заткнешь.

Диктатор. Зато мое «спасибо» настроение поднимает. А высокий дух лучше сытого желудка. В тысячу раз. Как там в песне поется?

Все трое (*выстраиваются и поют*).

«Хорошо — это холод,
Плохо — это тепло.
Хорошо — это голод,
Сытость — страшное зло!»

Диктатор хлопает в ладоши, к нему присоединяется Колченогий.

Диктатор. Вот она, моя осьмушка! Как она вас воодушевила! С такими молодцами я теперь весь свет завоюю!

Би-Мазз. Вяжешь, вяжешь — все без толку, петля соскочит — и вся вязка расползается. Сволочь! Легче целую интригу связать, чем один чулок.

На реплики Би-Мазы, как и на реплики Попугая, никто не реагирует.

Диктатор. Что палка нашлась, я доволен. Это самое... глубоко удовлетворен. (*Берет палку в руки.*) Ну, вернулась, непоседа! (*Грозит пальцем стоящей в углу метле.*) У, бродяги! (*Крутит палку.*) Голова медная, и развилка — как положено... Только... Неосанистая какая-то, присущего мне исторического величия не излучает.

Колченогий. Как не излучает? (*Щурит глаза, показывает, как ослеплен.*) Излучает!

Диктатор. Сомневаюсь.

Одноглазый. Излучает! Излучает! По излучению только и нашли. Вот шишка, как твоя голова, сверкает. Если феску надеть, совсем, как ты, будет.

Диктатор. Нет, я сомневаюсь.

Необученный. Оба рожка на рогатине, словно твои ноги — короткие и кривые.

Диктатор. Сомневаюсь, сомневаюсь.

Одноглазый. Меж двух рожков еще и маленький отросточек есть.

Последнее замечание пробуждает наконец какой-то интерес к разговору у Би-Мазы.

Диктатор (*сухо*). Вот потому и сомневаюсь. Эй, позовите сюда Стряпуху! Коли она признает палку — я безжалостно подавлю свое сомнение.

Колченогий и оборванцы растеряны. Би-Маза, нещадно дымя, снова погружается в свое вязание. Диктатор, спотыкаясь о саблю, расхаживает взад-вперед.

Б и - М а з а. Художник говорит: «Я не формалист, мне содержание подавай. Но как, говорит, ваши пышные формы увижу, мне на любое содержание наплевать». Художники — они все видят, зря не скажут.

П о п у г а й. Р-расстройство!

Входит Стряпуха. Диктатор показывает ей палку. Та сразу открывает рот.

Д и к т а т о р (*опасаясь ее длинных речей*). Стоп! Отвечай только на вопрос. Наша?

Стряпуха (*тщательно осматривает*). В этой совесть есть. Наша бессовестная была.

Д и к т а т о р. Хы!

О д н о г л а з ы й (*встает на колени*). Ошибка! Прости, твое Диктаторство! Напутали! Настоящая-то, оказывается, у меня за пазухой! Ту мы по пути случайно подобрали. (*Протягивает палку.*)

Д и к т а т о р (*берет палку, передает Стряпухе*). Наша?

Стряпуха (*долго осматривает*). Нет, эта скромница, а наша бесстыдница была.

Д и к т а т о р. Хы!

О д н о г л а з ы й. Опять прости, твое Диктаторство! Мы вот этих двоих (*показывает на Колченогого и Стряпуху*) испытать хотели. На сообразительность, так сказать, проверить. Нарочно им фальшивые палки подсунули — так, пошутить, тебя посмешить.

Д и к т а т о р. Ах, вы, бездельники! А ты где глаз-то потерял?

О д н о г л а з ы й. Когда в очко играли, пальцем выткнули. Чтобы, значит, в чужие карты не заглядывал. Не беда. Когда у тебя оба глаза целы, мне и одного достаточно.

Д и к т а т о р. С лихвой даже. Я тоже, когда еще в казармах жил, одному прощелыге пальцем глаз выткнул. В молодости — ох и веселым я был...

О д н о г л а з ы й. Тогда, значит... Выходит, помнишь меня, твое Диктаторство! Ах, ну и память, ну что за память! Дай-ка я тебя разок... (*Хочет его обнять.*)

Д и к т а т о р (*сухо*). Нет, не помню. Если всех помнить, кому я глаза выткнул, облысеть можно. (*Снимает феску и гладит лысину.*)

Одноглазый. Хорошо, хорошо! Я — не я! Меня ты не помнишь, не признаешь. Но уж эту палку (*вынимает из-за пазухи третью палку*) признаешь? Клянусь — настоящая, могу даже пуговицу на кителе Фин-Фу поцеловать. Ну, признаешь?

Диктатор (*берет, крутит*). Вроде признать можно. (*Стряпухе.*) Наша, что ли?

Стряпуха. Нет. Эта умница, а наша была — дура бесноватая. Все эти палки честный благородный мастер делал.

Диктатор. Какой мастер?

Стряпуха. Порядочный, видать, человек.

Диктатор (*сквозь зубы*). Кто сделал? Кто из вас порядочный? (*Необученному.*) Ты порядочный?

Необученный. Зачем обижаете, ваше Диктаторство, я жулик, шулер. Правда, необученный пока. Ничего еще мне не оторвали, ничего не выткнули.

Диктатор (*Однорукому*). Ты — порядочный?

Однорукий. Еще чего! Я грабитель, убийца и дебошир. Еще до того, как ты наверху уселся, мне за воровство руку оттяпали. Вот я кто!

Диктатор (*Одноглазому*). Выходит, ты порядочный.

Одноглазый. Побойся бога, твое Диктаторство! Я соглядатай, доносчик, подстрекатель, сутенер и аферист! Подлец, гад мерзопакостный! На самого себя и взглянуть не могу, тут же тошнит.

Диктатор. Хы! (*Собирает палки.*) А эти, выходит, хан Фин-Фу сам сделал?

Однорукий. Да что там крутить! Мы попросили, вот мастер Дарман и сделал.

Диктатор. Не мастер он — обманщик, диверсант, вредитель!

Необученный. Он не обманщик, мы сами его обманули. Даже за работу не заплатили.

Диктатор. Обманщики! Все вы обманщики и казнокрады!

Попугай. Пр-равильно! Пр-равильно!

Диктатор (*Колченогому*). Подделка палок-выби-валок у нас чем карается?

Колченогий. По статье девять тысяч семьсот три. (*Задумывается.*) Да, значит, этот проступок приравнивается к изготовлению фальшивых монет.

Диктатор. И карается?

Колченогий. Связением... связением... нет, связыванием рук за спиной и в таком виде повешением.

Диктатор. Как-как?

Колченогий. Да вывернуть негодяям руки за спину и вздернуть куда повыше!

Однорукий. Меня этот закон не касается! У меня всего одна рука!

Колченогий. А у кого одна рука, гласит закон, того надлежит повесить за ноги.

Одноглазый. Молодец закон!

Диктатор. Мой приговор самым справедливым, самым безжалостным указом закрепить.

Оборванцы в полной панике.

Колченогий. Эй, писарь, запиши, а то забудется!

Диктатор. Параграф первый. Изготовителя фальшивых палок-выбивалок мастера Дармана за обе преступные руки, вывернув их за спину, на семь дней... нет, и трех дней хватит... на три дня повесить на городской площади.

Колченогий. Какое милосердие! Только на три дня!

Диктатор. Параграф второй. За распространение фальшивых палок трех оборванцев повесить на три часа.

Оборванцы несколько оживляются.

За шею.

Колченогий. Только на три часа! Какое милосердие!

Оборванцы падают.

Диктатор (*пошевельив одного из них ногой*). Но, принимая во внимание личные качества оборванцев, помиловать и зачислить в мой штат. Сказано — сделано. (*Мягко.*) Это — люди свои, серьезные, основательные. Надежные люди. С такими людьми я и коня украсть готов. Нет, даже земной шар укатить не побоюсь. Встать и запеть!

Оборванцы (*вскакивают и запевают*).

«Да здравствуют речи!
Прочь — ученье и труд!
Наши верные плечи
Всю державу несут».

Колченогий. Ать-два! Ать-два!

Оборванцы и Колченогий уходят.

Диктатор. Фу, чуть не забыл! А палки-то нет все равно! Выходит, можнс и осчастливить: из пяти — четверых, из десяти — девятерых.

Би-Маза (*отбрасывает вязанье, вскакивает*). Поймай! У тебя одна забота: повесить, зарезать, осчастливить! Нет чтобы хоть раз хорошенько подумать, да так, чтобы плешь под феской взмокла!

Диктатор. Думать? А зачем же я министров кормлю?

Би-Маза. Кормишь — слушай. (*Сооружает трибуну и сразу переходит на крик.*) Что такое палка? Палка — это честь государства, мощь государства и опора государства. Так кто украл нашу честь, мощь и опору? Ву-зи-о-нис-ты!!! Это их коварные происки!

Диктатор. Умысел?

Би-Маза. Умысел? Война! Вот набросятся на наш остров, спустят тебе штаны и этой палкой (*орет*), медной шишечкой, а то и развилочкой... тебе заднюю грамоту и пропишут. (*Замахивается и делает вид, что бьет.*)

Диктатор при каждом взмахе подпрыгивает на месте.

Вот так, вот так, вот так! Ну, дошло?

Диктатор. Еще бы не дошло. Чуть-чуть под себя...

Би-Маза. А что надо делать?

Диктатор. Штаны крепче держать.

Би-Маза. Болван! Надо самим войну из-за палки начать. Первыми! Сегодня же! Сейчас же!

Диктатор. Хы! Палкой дерутся. Но чтоб из-за палки драться...

Би-Маза. Из-за чего же тогда дерутся?

Диктатор. А это министр патриотизма знает. (*Кричит.*) Эй, министр!

Входит Колченогий. Би-Маза снова усаживается за вязанье.

Из-за чего люди воюют?

Колченогий. Люди? Ну, люди, они... Во-первых, из-за женщин, во-вторых, из-за земли.

Диктатор. Ну, женщин я всех давно покорил. Война, выходит, из-за земли будет. Принеси-ка земной шар сюда.

Колченогий (*приносит большой глобус*). Какую сторону изволишь?

Диктатор. Нашу. Мы где?

Колченогий. Вот. Видишь остров, на луну в первой четверти похож — это мы.

Диктатор. А вузионисты где?

Колченогий. А вот остров, на луну в третьей четверти похож — Вузия.

Диктатор. Почему они — три четверти, а мы — только четверть? Почему, черт побери!

Колченогий. Об этом я, твое Диктаторство, в глубокие раздумья погружался.

Диктатор. Ну и?..

Колченогий. Один раз так глубоко задумался, что задохнуться стал, думал: все, не вынырнуть уже.

Диктатор. Ну и?..

Колченогий. Вынырнул. И не с пустыми руками даже: одну догадку вынес.

Диктатор. Какую?

Колченогий. Оказывается, семнадцать тысяч шестьсот девяносто семь лет назад... (*Задумывается.*) Нет, девяносто восемь лет назад — я это в прошлом году нырял — вузионисты три четверти нашего острова отломали и к себе утащили. Вот посмотри: если два острова вместе сложить — точь-в-точь совпадут, полная луна получится.

Диктатор. Ух, землекрады! Гегемонисты! Вузионисты! Я вас проучу! Я вам пропишу заднюю грамоту! Сейчас же начать войну! Врага разгромить! Три четверти обратно притащить и на место прилепить!

Колченогий. Война-то войной, твое Диктаторство, но ведь в тот голодный год они с нами хлебом поделились, от смерти спасли.

Диктатор. Нечего было спасать. Себе, значит, на голову. Позабыли, видать, что сытый пес на хозяина бросается.

Колченогий. А когда у нас огонь кончился, огнем поделились.

Диктатор. Нечего было делиться.

Колченогий. Мы сами попросили.

Диктатор. Мало ли, что мы попросим! (*Топает ногой.*) Видишь, какие они добрые, отзывчивые!

Колченогий (*тоже топает*). Мало ли, что мы попросим!

Диктатор. Итак, решено: напасть первыми. На агрессора всегда надо нападать первыми. Нападаем, по-

беждаем и уничтожаем. И по случаю победы ликуем три дня, нет, пять дней, десять дней ликуем! На всем пути моего следования расстилаем ковры и осыпаем меня цветами, без остановки кричим «ура» и поем «Солнце просыпается, небо разгорается».

Колченогий. О, торжество победы, как ты сладостно! *(Обнимает глобус.)* Как ты опьяняешь! Да здравствует Диктатор!

Диктатор *(министрам)*. Тебе и тебе разрешаю нацепить сабли... только поменьше. *(Мечтательно.)* Да-а!.. И хорошо бы — на белом коне! Только чтоб смирный был.

Колченогий. Победную речь ты, твое Диктаторство, произнесешь, стоя в стременах.

Диктатор. А лошадь с седла не сбросит?

Колченогий. Я сам ее за повод держать буду.

Диктатор *(снимает феску, гладит лысину)*. Ну хорошо, с чего начнем?

Би-Мазз *(отбрасывает вязанье, вскакивает)*. С книг! Перво-наперво сжечь книги. Там, в этих книгах, — мысли, память и надежда. В костер их! Они — заклятые враги. Мысль — враг, память — враг, надежда — враг! Хочешь начать войну — о чести забудь, о совести забудь, о милосердии забудь. Была рука, что когда-то на помощь к тебе протянулась, отруби эту руку и забудь. И чтоб все забыли! Если во рту вкус хлеба остался, которым с тобой, голодным, поделился друг, сплюнь и забудь. И чтоб все забыли! Костры! На каждом углу, на каждой площади, в каждом храме — костры! Память — в костер! Надежду — в костер! Мысль — в костер! Чтоб от пламени небо ослепло!

За окном поднимаются отблески пламени. По сцене проходит Телохранитель.

Скрипки — в огонь, флейты — в огонь, игрушки — в огонь, куклы — в огонь! *(Внезапно замолкает. Спокойно.)* А там и начинай войну.

Диктатор. Согласен. Еще что нужно?

Би-Мазз. Марш. Грозный военный марш. Чтобы слышав его, враг бросил оружие и пустился наутек. Раз, два, три! Раз, два, три!

Отсвет пламени усиливается.

Горит, горит! Мои молодчики огнем пишут историю! На, гори! *(Бросает несколько книг за окно.)* Гори, гори! Марш нужен, такой, чтоб земля дрожала! Марш! Марш!

Диктатор. Согласен! А кто нужен, чтобы маршировать?

Би-Мазз. Это — не моя забота. У тебя другие министры есть. (*Садится, начинает быстро-быстро вязать.*)

Диктатор. Кто нужен, говорю?

Колченогий (*очнувшись*). А?.. Солдаты.

Диктатор. А солдату что нужно?

Колченогий. Каша. Табак...

Диктатор (*топает ногой*). Дурак! Оружие нужно!

Колченогий (*топает ногой*). Да! Дурак! Оружие нужно!

Диктатор. А кто оружие сделает?

Колченогий. Мастер Дарман сделает.

Диктатор. Пусть сделает. Много сделает. Отдай приказ.

Колченогий. Приказать-то можно... Только руки у него заняты.

Диктатор. Чем заняты?

Колченогий. Он за руки подвешенный висит.

Диктатор. Хы! Ничего другого не нашли, за что повесить!

Колченогий. А солдат откуда возьмем?

Диктатор. Пусть тоже кто-нибудь сделает.

Колченогий. Кто?

Диктатор. Кто? (*Смотрит на Би-Мазу, на себя, на Колченогого.*) Кто, говоришь? Тут головой поработать надо. (*Садится, снимает феску, гладит голову, начинает думать.*)

Свет гаснет.

Свет зажигается. Колченогий, позванивая шпорами, ходит взад-вперед. На поясе — сабля.

Колченогий. Подумаешь, солдаты, подумаешь, марш. Как запоют два попугая дуэтом — тут тебе и марш, тут тебе и гимн. Тутыя-я!

Входит Тутыя со своими Воспитанниками. Хотела было пройти к креслу, но вовремя остановилась.

Тутыя. Здесь я! Озолотить позвал, наверное?

Колченогий. Готова песня?

Тутыя. А награда? Готова награда — готова и песня.

Колченогий. Пусть споют. Из наших рук награда не уйдет.

Тутыя (*дрессированным попугаям*). Ну-ка, душеньки, сыграйте на тонких струнах дяденьки-министра. Вы

не смотрите, что он министр, у него тоже, говорят, сердце есть. Ну же, не стесняйтесь.

Медный Ключ. Давай, старушка, начинай.

Золотой Коготок. Ты начинай, старик.

Медный Ключ. У тебя голос лучше, старушка. И смолоду лучше был.

Золотой Коготок (*польщена, застеснялась*). И-и, старик, всегда ты так говоришь, медовый твой язык!

Медный Ключ. Ну, не заставляй же упрашивать.

Золотой Коготок. Давай тогда вместе начнем.

Медный Ключ. И-и, начали!

Дрессированные Попугаи (*поют вместе*).

«Солнце просыпается, небо разгорается!

Небо разгорается, солнце просыпается!

Солнце просыпается, небо разгорается!»

Колченогий. Годится. Звучит. Но — темп, темп, темп! Железный шаг нужен. Ать-два! Ать-два! Ать-два!

Тутыя. Повторяем! И-и начали!

Дрессированные Попугаи (*несколько быстрее*).

«Солнце просыпается, небо разгорается!

Небо разгорается, солнце просыпается!»

Попугай (*из клетки*). Дурачье! Попугаи! Хоть бы немного постыдились одно и то же без толку трещать — в ваши-то годы!

Песня смолкает.

Колченогий (*доволен*). Хорошо, бодрит! Будет лучшим украшением великого торжества. Оттачивай, шлифуй, совершенствуй этот дуэт. И жди вызова.

Тутыя. Ты про подарок говорил... Может, коли уж встретились, сразу и рассчитаемся?

Колченогий. Подарок от нас никуда не уйдет. Жди. Ожидание награды — уже само по себе награда. (*Обходит, осматривает Тутю.*) Посмотреть, так ты и сама подарочек хоть куда. В этих неустанных государственных заботах порой и богу угодить забываешь. (*Потирает руки.*) Как ты говоришь: «Коли уж встретились»?

Тутыя. Ой, мне стыдно! Я девушка страсть какая скромная, застенчивая и впечатлительная!

Колченогий. Это сразу заметно.

Тутыя. Ах, нет-нет, истинные добродетели в глаза не бросаются.

Колченогий. Да-да, твои тоже не бросаются.
(*Петушком подступает к Тутые.*)

Дрессированные попугаи в ужасе закрывают крыльями глаза. Свет гаснет. Потом зажигается. Диктатор.

Диктатор. Вот! Поработал головой и — пожалуйста! (*Вскакивает, спотыкается о саблю, падает.*) Нашел! (*Поднимается, закидывает саблю назад.*) Нашел! Этот старик, который самого себя в ванной нашел, что он своей старухе крикнул?..

Попугай. Эвр-рика!

Диктатор (*спотыкается, чуть не падает*). Да-да, эврика. Эврика! Вот где теперь земной шар будет — под моим каблуком. (*Топает со звоном.*) Под каблуком! Художник! Где Художник!

С завернутым в холст Портретом входит Художник.

Художник. Вот, твое Диктаторство, твой семьсот семьдесят седьмой, самый удачный мой портрет. Ты — Излучающий свет.

Диктатор. Я? Свет? Зачем?

Художник. Чтобы мир осветить.

Диктатор. Это еще зачем? Тут, понимаешь, военное положение, а он: «Мир осветить!» И без того в мире слишком светло. Ни тебе в разведку, ни тебе на разбой.

Художник. А перед твоим лучезарным лицом, твое Диктаторство, весь мир померкнет, мглой покроется. Такова глубинная идея произведения, его сверхзадача.

Диктатор. А-а... Сильная идея. Ну-ка, покажи.

Художник осторожно разворачивает картину.

Художник. Вот сейчас, твое Диктаторство, ты увидишь свое лицо: одна щека, словно луна, сияет, другая — как солнце. Видишь, даже сквозь чехол сияние пробивается.

Диктатор, увидев нарисованное, поражен. Художник в страхе не может и рта раскрыть. Долгая пауза.

Диктатор. Что это? Луна есть, солнце есть. А где мой умный лоб, зоркие глаза, чуткий нос, настороженные уши? Где мощный мой подбородок?

Художник. Это... это... Я ошибся, я оплошал. Это другая картина, чужой портрет. Нечаянно принес. (*Хочет забрать картину.*)

Диктатор. Нет, постой. Сперва сознайся, чей это портрет?

Художник. Это не портрет, это так, деталь, только деталь.

Диктатор. Чья деталь? Откуда деталь?

Художник. Да как сказать, ничья, так просто... Плод фантазии, зигзаг воображения...

Диктатор. Эй, министр! Колченогий!

Входит Колченогий.

Колченогий. Твое Диктаторство...

Диктатор (*показывая на портрет*). Это что?

Колченогий (*долго всматривается в портрет, то отойдет, то снова прикинется к холсту*). Так... Ясно. Хотя и неловко говорить, но скажу: здесь нашей достопочтенной Би-Мазы голенький кругленький задик нарисован.

Художник падает в обморок. Остальные на него — ноль внимания.

Диктатор. Я сразу увидел, что это не наше лицо. А вот чья это... (*пишет пальцем в воздухе форму опрокинутого сердца*) никак не угадаю.

Колченогий. Говорю же, твоего верного соратника, достопочтенной Би-Мазы.

Диктатор. Доказательства?

Колченогий. Вот сюда, на левую... щечку взгляни, твое Диктаторство. Видишь, пятнышко с ноготок величинной? Родинка. У достопочтенного соратника на том месте тоже родинка есть.

Диктатор (*в восхищении*). Вот у кого память, вот у кого наблюдательность! Нет, не зря я тебя министром патриотизма и правосудия сделал. Я в людях разбираюсь. (*Огорченно.*) А в живописи — ни капли. Сколько лет смотрел, а не запомнил.

Колченогий. Просто у тебя голова тогда другим занята была.

Диктатор. Хы! (*Оглядывается по сторонам.*) А где Художник?

Художник (*приподняв голову*). Я здесь. На краю смерти лежу.

Диктатор (*Колченогому*). Мы сколько ему риса даем?

Колченогий. По щедрому твоему повелению — четверть горсти ежедневно.

Диктатор. А у министра норма какая?

Колченогий. Смотря по министру. В связи с военным положением от горсти до горсти с половиной.

Диктатор. Отныне Художнику... две горсти назначаю! Как военному советнику. Если, конечно, уже дух не испустил.

Художник. Еще держусь, не выпускаю.

Диктатор. Так чего же разлегся, коли не выпускаешь? Встать!

Художник (*поднимается, стоит, качаясь*). Я... такой награды не достоин. Эту щедрость, твое Диктаторство, я принимаю как аванс.

Диктатор. Хы! Я тебе не дядюшка Америка, чтобы авансы раздавать. Дайте ему, что положено — одну горсть.

Колченогий. Ходит тут, вместо лучезарного лика твоего Диктаторства черт знает что рисует, такому и горсти...

Диктатор (*машет рукой*). Да полно тебе! Тоже ведь человек. (*Великодушно.*) Все, о том, что случилось, — больше ни слова. Начинается новая эпоха — эпоха войны и победы. Художник! Слушай! Родине нужны солдаты! Много солдат! Их сделаешь ты! Дивизия нужна, десять дивизий!

Художник (*поплелся к дверям Би-Мазы*). Что ж, может, и осилю.

Диктатор. Тут сила не нужна. Нужны твой нос, помело, картон.

Художник (*понял, что от него требуется*). А-а! Нарисовать! Это можно. (*Распрямляется.*) Я... если я вдохновлюсь и распалюсь, я не десять, а сто, я тысячу дивизий нарисую, армаду нарисую, легион. И каждый солдат с головы до ног, до зубов вооружен, при сабле и шпорах.

Диктатор. Солдатам шпор не положено.

Художник. Ладно, шпоры мы замажем. (*Вдохновенно.*) А когда я нарисую неисчислимое, до зубов вооруженное войско, я вот тут перед тобой встану (*солдатским шагом подходит к Диктатору*) и доложу: «Великий полководец! Непобедимая армада к войне и победе готова. Принимайте!»

Диктатор. Принимаю. Слушайте приказ!

Колченогий. Эй! Писарь, запиши, а то забудется!

Диктатор. Девятьсот девяносто девятый приказ. Параграф первый. Неисчислимому и непобедимому моему войску трижды окружить остров, повернуться лицом к врагу, обратить его в панику и привести в бегство. Па-

параграф второй. Вузионистам предъявить ульти... ульти... ультимат.

Колченогий. Правильнее будет не «ультимат», а «ультиматум».

Диктатор (*с угрозой*). Ты когда-нибудь в мой указ номер один заглядывал? «Не так правильно, как правильно, а так правильно, как я скажу». Предъявить ультимат: в течение семнадцати часов остров Вузию притащить обратно и прилепить на место. А не вернут в срок и на место — всех их зарезать или повесить. Как говорили эти древние, сопливые...

Колченогий. «Тудуторо моторо» — «Третьего не дано».

Диктатор. Во-во, то есть «в плен не брать». Да здравствует победа! Параграф третий. По случаю победы объявить торжества на семь... на семнадцать... на двадцать семь дней! Во время ликования чужих послов не принимать, чужих судов в порты не пускать, мертвых — не хоронить, женщинам — не рожать. Сказано — сделано. (*После паузы.*) А теперь все оставшиеся книги, все бумаги, кроме моих указов, все картины, кроме моих портретов, — бросить в огонь, сжечь и пепел развеять. Да здравствует огонь!

Отблески пламени. Через сцену проходит Телохранитель: в одной руке меч, в другой руке факел, на плече веревка. Свет гаснет.

И вновь — свет на сцене Стряпуха и Подметальщик. Стряпуха держит палку-выбивалку.

Стряпуха. Вот уж спасибо, так спасибо! Наша палка, она самая: бесстыжая, бессовестная, бесноватая. Где нашел?

Подметальщик. Из навоза торчала. Знатная, что ли, вещь?

Стряпуха. Бог знает. Палка, что знатная, что незнатная — все палка. А потерялась, все с ума посходили. (*Шепотом.*) Даже войну собираются начать.

Подметальщик. Непростая, значит, вещь. Должно быть, и награды отвалят. Отвалят, нет?

Стряпуха. Не знаю, кое-чего другого не отвалили бы.

Подметальщик. Скорее бы уж получить, да уйти восвояси. Опять улицы указами завалило, выметать не успеваю.

Стряпуха. Подождем еще.

Подметальщик. Вот так шишкой в дерьме и тор-

чала. Шишку я вытер, было чем вытереть, указов много.

Стряпуха. Ты это правильно сделал.

Звения шпорами, входят Диктатор, Би-Маза, Колченогий. Все трое — в касках.

Диктатор. На бой! На бой! На бой!

Министры. В атаку! На бой! К победе! Ать-два! Ать-два!

Стряпуха. Остановитесь! Не ходите! Остановите войну! Нашлась палка!

Подметальщик. Вот она!

Стряпуха. Настоящая палка. Наша палка, старинная.

Диктатор. Какая еще старинная палка?

Стряпуха. Вот эта. Фин-Фу пропавшая палка.

Би-Маза. Провокация! Диверсия! Мятеж! Это лавутчики, их вузионисты подослали! Никакой палки нет.

Стряпуха. Есть, вот.

Колченогий. Нет. Ее вузионисты украли.

Стряпуха. Посмотрите хорошенько, внимательно посмотрите. Вот медная головка, вот развилка, вот два отростка. Ее Подметальщик в навозе нашел. Ему награда полагается.

Диктатор (*чешет каску, берет палку, показывает министрам*). Признаешь?

Би-Маза. Нет!

Диктатор. Признаешь?

Колченогий. Нет!

Диктатор. Та-ак... Паникеры и провокаторы. (*Министрам.*) Какая за это казнь полагается?

Би-Маза. За то, что слухи распускали,— отрезать язык.

Колченогий. За то, что сами же их слушали,— отрезать уши.

Диктатор. Исполняйте.

Стряпуха. Мне суп на язык надо пробовать. А как я без языка узнаю, посолен суп или нет?

Диктатор. Хы! И то правда. Солить надо в меру, (*Колченогому.*) А что делать?

Колченогий. Объяви языку амнистию, а в отношении ушей — пусть приведут приговор в исполнение. Закон позволяет.

Би-Маза. Закон! Закон! Закон позволяет! Закон указывает! (*Распаляется.*) Шагу ступить не можете — за

хвост закона цепляетесь, либералы гнилые, растяпы мягкосердечные, интеллигенты! Не закон нам, а мы закону должны указывать. Долой всякие законы! Картофельную шелуху буду есть, несолеными помоями запивать, но от высоких своих принципов не отступлюсь. Карать и карать! Амнистии — нет! Амнистия — срам! Амнистия — позор! (*Передохнула, уже мягче.*) В «Цветнике нераскрывшихся бутонов», иначе говоря, в бардаке—я не боюсь этого исконно нашего бесхитростного слова — жила-была девушка, изнеженная, впечатлительная, тонкой и богатой души... это была я. И вот как закалили меня испытания, какой суровой и беспощадной сделала борьба! Я о себе говорить не люблю. Не люблю, но говорю. Потому что я говорю о борьбе, о красоте и величии борьбы. (*Снова распаляется.*) Амнистии нет! Это чуждое, проникшее к нам от вузйонистов слово — в огонь! (*Жест рукой.*)

Вспышка за окном.

Вот так! Закон — туда же! (*Жест рукой.*)

Вспышка.

Вот так! Провокаторскую палку — туда же! (*Бросает.*)

Вспышка.

Вот так! (*С тем же запалом хватает свое вязанье, садится и начинает быстро-быстро вязать.*)

Диктатор (*безмятежно, будто и не слышал всех этих воплей.*) Чуть пища не по мне, у меня сразу в животе урчать начинает. А начнет, не остановишь. Сутки напролет: ур-р да ур-р, ур-р да ур-р. Душа умиляется. А умилилась душа — все, я уже не мое Диктаторство, а размякший кусок мяса в мундире.

Колченогий. Извини, твое Диктаторство, не кусок мяса, а глыба мяса, грудa мяса!

Диктатор. Да, глыба мяса, грудa! (*Задумывается.*) Хы! На чем же мы остановились?

Колченогий. На проблеме урчанья в твоём животе.

Диктатор. С проблемой урчанья или неурчанья в моем животе вся мировая обстановка связана. Урчит — значит, весь мир, тихий и беззаботный, в дрему погружен. А кому выгодно, чтобы мир спал? Все им же — вузйонистам. (*Прислушался к себе.*) Ну вот, пожалуйста. Теперь только война и может успокоить.

Колченогий (*показывает на Стряпуху и Подме-*

тальщика). С рвением и упоением приговора ждут, твое Диктаторство.

Диктатор. Приговора? Суп солить надо в меру. А в остальном — как закон скажет. Без закона нельзя. (*Стряпуче и Подметальщику.*) Идите, дети мои, терпения вам и мужества. Слушайтесь закона, дети. И не слушайте эту неразумную женщину. Она только с виду суровая. А так душа кроткая, чистая — пробы негде ставить.

Проходит Телохранитель. Свет гаснет.
На сцене — Диктатор и Колченогий.

Колченогий. Нарисованные Художником войска построены. Три раза остров окружили.

Диктатор. Это хорошо. Надежно будет. По-военному говоря, три шалона.

Колченогий. Да, три эшелона.

Диктатор (*топает ногой*). Шалона!

Колченогий (*топает ногой*). Шалона! Три шалона!

Диктатор. Вузионистам ульти... ульти...

Колченогий. Ультимат.

Диктатор. Послали?

Колченогий. Послали.

Диктатор. Сколько часов прошло?

Колченогий. Шестьдесят.

Диктатор. А сколько я им дал?

Колченогий. Семнадцать.

Диктатор. Хы!

Колченогий. Вот именно — «Хы!».

Диктатор. Ну-ка, подай мне трубу, которая край земли близко показывает.

Колченогий отвязывает от пояса трубу, дает Диктатору, тот смотрит.

Колченогий. Не так смотришь, твое Диктаторство. Так он никогда сюда не приблизится. Наоборот...

Диктатор (*раздраженно*). Что «наоборот»? Что?

Колченогий. Наоборот: еще дальше уйдет. С другого конца посмотри.

Диктатор (*переворачивает трубу, в испуге даже откидывается*). Вот это хорошая сторона. Эта сторона нам на пользу. Ага! Вон, вон Вузия с места стронулась. Точно, стронулась!

Труба раскачивается.

Сюда идет. Ага, свинячьи головы, вузионисты проклятые, испугались! (*Колченогому.*) Как только Вузия сюда подойдет, весь народ с него вот этой метлой смести в море.

Метла кивает.

Всех!

Колченогий. Труба качается, твое Диктаторство, на мою спину облокотись. (*Подставляет спину.*)

Диктатор. И правда. Теперь не качается. И Вузия сразу остановилась на месте. (*С досадой.*) Зря облокотился. (*Пинком вышибает Колченогого из-под трубы.*) Надо такую трубу, чтобы посмотрел в нее, а Вузия уже совсем здесь, к нашему острову пристала. Немедленно сделать! Приказываю... Кому приказываю? Мастеру Дарману приказываю...

Колченогий. Приказать-то можно, только руки у покойника заняты.

Диктатор. Опять заняты! Чем?

Колченогий. Мы же его на главной площади за руки повесили.

Диктатор. Как? Опять повесили? Опять самовольничаете? (*В отчаянии.*) Ну, что ты будешь делать! Да что же это такое делается! Отвернуться не успеешь, как уже взяли и кого-нибудь повесили!

Колченогий. Да нет, он еще с первого раза висит.

Диктатор. Дармана освободить! Немедленно!

Колченогий. Помер он.

Диктатор. Что, совсем?

Колченогий. Окончательно.

Диктатор. Хы! (*Снимает каску.*)

Следом снимает каску и Колченогий.

Пусть уж тогда довисит, сколько положено. Все. (*Надевает каску.*) Мда, а кто же теперь трубу сделает? Безответственный все же оказался старик. Да, трубу, трубу! Если такую трубу сделать — Вузия прямо сюда, в мой карман нырнет. Загвоздка — в трубе.

Тревожный вопль трубы.

(*Удивился, слушает, прикладывая подзорную трубу к уху то одной, то другой стороной.*) Откуда этот трубный крик?

Колченогий. Из трубы, наверное.

Трубя в трубу, вбегает Одноглазый.

Одноглазый. Боевая тревога! Боевая тревога!
Я своим орлиным глазом увидел, издалека увидел!

Диктатор. Что увидел?

Одноглазый. Вот оттуда, с вузионистской стороны вузионистская туча идет.

Диктатор. Туча? Какая туча?

Одноглазый. Большая, черная, подозрительная, вузионистами засланная.

Диктатор. Доказательства?

Одноглазый. Имеет форму свинячьей головы. Уже два раза громом громыхнула.

Раскат грома. Все трое в страхе валятся на землю.

Диктатор *(на четвереньках)*. Терпение! Выдержка! Хладнокровие! Всех лучников поднять по тревоге! Вперед! В атаку!

Колченогий *(не поднимая головы)*. Да здравствует победа!

Диктатор *(смотрит в трубу)*. Удирает! Улепетывает! Ряды врага в панике! Догнать и разогнать!

Колченогий *(осторожно приподняв голову)*. Твое Диктаторство, ты опять не с той стороны смотришь.

Диктатор. В какую надо, в такую и смотрю. Ты еще будешь меня тактике учить! Эй, лучники, копьеносцы, булавники, сабельники, слушай мою команду!

Вбегает Не обученный с большой катушкой провода, Однорукий — с телефонным аппаратом.

Однорукий. На, вот в эту трубку кричи. *(Подает Диктатору аппарат.)*

Необученный и Однорукий убегают. В одной руке у Диктатора подзорная труба, в другой телефонная трубка, он стоит и наблюдает «поле боя». Одноглазый рядом дует в трубу.

Колченогий. В этот великий исторический момент я должен быть там, на переднем крае, в гуще огня. Разреши, твое Диктаторство, ради тебя я в собственной крови утоплюсь.

Диктатор. Разрешаю.

Колченогий *(растерялся)*. Ты глубоко подумал, твое... твое...

Диктатор. Глубоко.

Колченогий. А... если погибну? Тогда не плачь.

Диктатор. Не заплачу. Ведь я солдат.

Колченогий. Ну, спасибо. Тысячу раз спасибо! *(Убегает.)*

Диктатор. Лучники, копьеносцы, сабельники, булавники! Бегущего в панике врага гнать, догнать, уничтожить и разнести в пух и прах.

На заднем плане проплывают нарисованные Художником солдаты — лучники, копьеносцы, сабельники, булавники.

Лучники, подсыпьте огня! Вверх стреляйте! Копьеносцы, бейте вниз. Вниз бейте. Видите, тень по земле ползет! Коли ее, молоти, режь, рви! Мой штаб разгадал их змеиную тактику! Эй, с булавами! Вам говорю, дубины! Назад не машите, вы весь второй шалон с ног свалили! Вперед машите! Молодцы, молодцы, ребятушки! Двумя шалонами, тремя шалонами переходите в наступление. Вот так, бей по свиному рылу, по пяточку бей! А вы, молодцы, про тень не забывайте! Коли, режь, бей! В хвост ее! Левый фланг, нажми, левый фланг! Ур-ра! Враг отступает!

Попугай. Бр-раво, Диктатор!

Входит Би-Маза, отшвыривает свое вязанье, возбужденно ходит по сцене.

Би-Маза. Итак, война! Итак, победа! Итак, торжества! Митинги! Грандиозный митинг! Согнать всех до самого последнего отребья, хромых, безногих, слепых, всех припадочных и горбатых, всех калек и уродов! Все войска прямо с передовой гнать на митинг! На митинг! (Уходит.)

Вбегает Колченогий.

Колченогий. Историческая победа! Историческая победа! Прописали им заднюю грамоту! Под твоим руководством, твое Диктаторство, мы их полностью расколотшматили. В пух-прах разнесли...

Диктатор. Говори, генерал, говори.

Колченогий. Говорю, говорю... Спасибо! Полный генерал, да? А как генерала зовут? Как зовут? Имя как? Эй, писарь, запиши, запиши...

Диктатор. Никак. Половина генерала. На одно плечо погон пришьешь.

Колченогий (уныло). Никак... На одно плечо... Говорю, говорю...

Диктатор. Докладывай дальше.

Колченогий. Прогнали тучу, вон удирает. Только хвост виден.

Диктатор (*недовольно*). Надо было окружить и сбить.

Колченогий. Мы тебя сбили. Сбили, растерзали, сбросили в море.

Диктатор. Молодцы! Всем войскам объявляю благодарность. Художнику тоже. (*Вдруг орет.*) Ур-ра-а! Ур-ра-а!

Колченогий. Ур-ра-а-а!

Попугай. Слава Диктатору!

С улицы доносятся возгласы «Ура!», «Да здравствует Диктатор!», «Слава Диктатору!»

Диктатор. Что за шум?

Вбегает Необученный.

Необученный. На площади!.. Народ!.. Митинг!.. Тебе!.. Тебя!.. Любящий! Любимый! Тебя! Да здравствует победа!

Диктатор. Ах, дети мои! Ты, сынок, скажи им, сейчас приду, сейчас... Ждите меня, дети мои! (*Рванулся к выходу, споткнулся о саблю, упал.*)

Колченогий и Одноглазый поднимают его.

Хы! Вот бы сейчас и выехать верхом на белом коне! Только лошадь нужна помирнее.

Колченогий (*кричит*). Коня Диктатору! Верхом, стоя в стремях, произнесет он победную речь! Коня Диктатору!

Попугай. Диктаторр-ру коня!

Диктатор. Коня мне. Дайте мне коня. (*Идет к выходу, опять спотыкается.*)

Колченогий и Одноглазый (*подхватывают его. Вместе*). Коня Диктатору!

Одноглазый. Коня Диктатору!

Свет гаснет. Грохот.

Свет В самой середине на возвышении сидит Диктатор. Одна нога в гипсе По-видимому, лошадь, не в пример народу, оказалась не очень смиренной и послушной. Рядом с ним — Портрет. Диктатор обнимает его за раму. С другой стороны стоит Колченогий. У ног Диктатора на скамейке сидит Би-Маза со своим вязаньем. Пониже, на низкой скамейке — Три Оборванца, во рту у каждого сигара, на груди — большая жестяная медаль. Сзади — Телохранитель. В углу метла и Ведьма. Художник рисует «семейный портрет».

Художник. В честь их великой победы (*почтительный жест в сторону Диктатора*) рождается величайшая картина эпохи!

Оборванцы важно кивают.

Называться будет «Диктатор и его соратники».

Колченогий. А по-моему, «Любимый Диктатор и его сподвижники» будет лучше.

Би-Маза. «...и его лизоблюды» — еще лучше будет.

Диктатор. Не будет. Вам всем надо скромности поучиться. Подпись простая: «Дорогой и любимый Диктатор и остальные».

Художник. Да-да. «Дорогой и любимый Диктатор и остальные». Скромная подпись, великая картина. (*Рьяно берется за работу.*) В центре вы, а остальные — вокруг.

Диктатор. Все — на корточках.

Оборванцы садятся на корточки.

Художник. На корточки или на колени остальных. А тебя, твое Диктаторство, я нарисую вот здесь, в самом центре холста на белом коне.

Диктатор. Хы! А если этот сбросит? Так и второй ноги лишиться недолго. Тогда и шпорой не позвенишь. А что за приказ без звона.

Колченогий. В этот раз я еще крепче за повод буду держать.

Диктатор. Не будешь. Ишь! Ты еще Диктатора за ручку води! Да кто тебе позволит!

Колченогий (*топает ногой*). Ишь! Да кто мне позволит!

Диктатор. А вдруг лошадь понесет?

Художник. Не понесет. Я лошадь на смолу посажу, не шелохнется даже.

Диктатор. Разве что так. А то этот дуралей (*показывает на Портрет*) в тот раз холст пропорол и вылез.

Художник. Тогда еще у меня опыта было мало.

Диктатор. Да и Портрет молодой еще был, проказник!

Портрет (*смущенно кашляет*). Первогодок был, щенок сопливый!..

Х у д о ж н и к *(работает)*. Лохмотники, не чешитесь, говорю вам! Вон наш Диктатор, сидит, не шелохнется, будто тумба. А Портрет? Молодой еще, можно сказать, человек, а уже сколько степенства. Берите пример, невежи!

Все застывают. Художник вдруг бежит к Диктатору, садится рядом на корточки, потом бежит к мольберту, делает мазок, снова бежит к Диктатору и опять к мольберту.

Д и к т а т о р. Ты что это разбегался?

Х у д о ж н и к. Я, твое Диктаторство, себя тоже хотел нарисовать.

Д и к т а т о р. Стой там. *(Показывает на место перед мольбертом.)* Станешь великим, тогда и нарисуешь.

Х у д о ж н и к. Так ведь, твое Диктаторство, ты сам говорил, что живые великими не бывают, только мертвые. Кроме тебя, конечно.

Д и к т а т о р. Кроме меня, конечно. Так что сначала туда *(показывает пальцем наверх)*, потом — сюда *(показывает на холст)*.

Х у д о ж н и к. Лучше здесь. *(Показывает на место перед мольбертом.)*

Художник работает. Некоторое время все тихо. Наконец Би-Маза не выдерживает.

Б и - М а з а. Нет, я повешусь, я зарежусь! Уж лучше прямо в мертвецкую — чем в этой скуке сидеть! Победили, видите ли, разгромили! Да если бы знала, я бы ради такой победы, клянусь красотой и целомудрием, и пальцем не шевельнула. Не победа это, а поминки. Эх, если бы в «Цветнике нераскрывшихся бутонов» был этот праздник! Земля бы ходуном ходила! *(Вздыхает.)* Да-а, кто однажды из рая ушел, тому обратной дороги нет, *(Садится, принимается за вязание.)*

Д и к т а т о р. Это спокойствие — между двумя бурями ан... анты... антаракт. Дай срок, нога заживет.

К о л ч е н о г и й. А нам хорошо. А нам радостно! Победа нас на новые подвиги вдохновляет. Так, оборванцы?

Оборванцы, сидя на карточках, усердно, чуть при этом не опрокидываясь, кланяются.

Видишь, твое Диктаторство, как народ от души радуется?

Диктатор (*не поворачивая головы*). Вижу. Спасибо, народ.

Колченогий. Твое Диктаторство! Сегодня мы собрались, чтобы отметить твои героические подвиги, твою великую победу, твои святые раны и твои жестокие страдания. Если разрешишь, сейчас ты увидишь высокое чудо, жемчужину искусства — венец всенародного ликования. Песню, посвященную тебе, хором споют два дрессированных попугая.

Диктатор. Натурмот.

Колченогий. Дуэт. (*Но вовремя вспомнил, замотал головой.*) Да, натурмот. Можно ли?

Диктатор. Разрешаем.

Художник продолжает творить.

Колченогий (*хлопает в ладоши*). Ту-ты-я!

С клеткой в руках входит Тутыя.

Тутыя. Здесь я!

Колченогий. Начинай.

Тутыя (*питомцам*). Ну, душечки мои, умнички мои, сейчас мы красивенько-красивенько песенку для нашего Диктаторчика споем.

Диктатор. Пусть поют. Пусть много поют. До звона в ушах поют.

Колченогий. Озолотим и осыпем.

Тутыя. Пойте же, пойте, деточки мои!

Дрессированные попугаи безмолвствуют.

Ну, не упрямытесь же, душечки мои, не позорьте меня.

Художник (*подходит*). Ну, коллеги, не ударьте же лицом... клювом... хвостом в грязь.

Колченогий. Да кто вы такие, чтоб вас перед самим Диктатором еще уговаривать! Ничтожества носатые! Пойте!

Диктатор. Петь! Я, Диктатор, сам приказываю! Петь!

Дрессированные попугаи молчат.

Тутыя. Ой, погубите вы меня, ой, погубите! Пойте же, пойте! (*Плачет.*)

Диктатор (*с угрозой*). Указ издам!

Колченогий (*топает ногой*). Указ!

Диктатор. Параграф первый. Попугаям... Как зовут?

Тутыя. Тутыя.

Диктатор. Я про тех попугаев спрашиваю.

Тутыя. Медный Клюв и Золотой Коготок.

Диктатор. Медному Клюву и Золотому Коготку приказываю петь натурмот. Параграф второй. А будут упорствовать, указанных двух попугаев зарезать и повесить. Сказано — сделано. Ну, теперь будете петь?

Дрессированные попугаи молчат.

Тутыя. Пойте же, пойте!

Колченогий. Петь, немедленно петь!

Би-Маза (*начинает раскладывать трибуну, потом вдруг отшвыривает ее*). Пойте, сволочи, пойте!

Однорукий (*показывает кулак*). Пой, тварь! Удавлю!

Одноглазый и Необученный (*вместе*). Пойте же, пойте!

Художник. Пойте! Ну, хотите, я вам подпою? «Солнце просыпается, небо...» (*Под взглядом остальных осекается.*) Пойте же! Пойте!

Все, даже Портрет, высунувшийся из рамы, обращены к Попугаям. И с мольбой, угрозой, ненавистью, страхом твердят: «Пойте же, пойте!» И все с нарастанием, кажется, что уже и за окном кричат: «Пойте же, пойте! Пойте!» Внезапная тишина.

Медный Клюв. Заладили, как попугаи! Свою бестолковую песню сами пойте! Медные лбы!

Диктатор. А!.. А!.. Указ! Вы слышали указ?!

Медный Клюв. Плевал я на твой вонючий указ. Тьфу!

Колченогий (*визжит в ужасе*). Эй, писарь, запиши, а то забудется!

Диктатор (*с воем срывается с места*). Не забудется! (*Падает, колотит кулаками по полу.*) Зарезать! Повесить! Распотрошить!

Колченогий. Они — вузионисты. Рас-по-тро-шить!

Все срываются с мест, даже Портрет выскакивает из рамы, и набрасываются на Попугаев. Из середины голпы вылетает разломанная клетка, потом летят перья.

Голос Медного Клюва. Прощай, старушка!

Голос Золотого Коготка. Прощай, старик!

Все медленно расходятся по своим местам. Каждый исподтишка следит за другими. Художник грязной тряпкой вытирает руки, будто снимает с них краску. Необученный смотрит на свои руки с ужасом. Одноглазый прячет их за спину. Однорукий спокойно оттирает руку о грудь. Колченогий, бегая глазами по сторонам, обнюхивает окровавленные пальцы. Тутыя с выражением застывшего рыдания смотрит на свой оттопыренный мизинчик. Би-Маза осыпает себя перьями. Телохранитель и Портрет спокойно встают на свои места. Диктатор все так же лежит на полу, пытается встать. Его никто не замечает.

Попугай. Коня Диктатору! Еще коня!

Диктатор (*колотит кулаками об пол*). Коня мне!
Коня! Коня!

З а н а в е с



ПЕШИЙ МАХМУТ

ПРИТЧА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Махмут Юлбердин — пеший человек

Инсаф Мисбахов — «правда ваша»

Мадина — красивая женщина

Замзагуль — увлечена театром

Шарифа — секретарь

Голоса — доносятся с улицы

Голова — просовывается в окно

Парень — входит в дверь

Названия картин может объявлять Замзагуль, но это на усмотрение режиссера.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЗА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ДО СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ

Скучно обставленная комната. В углу — портновский манекен. Посреди лицом к лицу стоят двое: это Махмут и Мадина. Между ними — чемодан и маленькая сумка. На всем протяжении пьесы действие происходит на первом этаже. И всегда по соседству свадьба. Сейчас тоже. Застолье, должно быть, идет давно, уже порядком разгулялись.

Грубый Голос (*поет*):

Дочку хана, ай-да брат,
В жены взял Хабибмурат.
Бей баклуши, пей вино
Да поплеывай в окно!
Денежки заплачены!..

2-й Голос. Уймись! Голова уже от твоей нескладухи гудит. Ну чего ты орешь?

Голос. Имею право. Чей подарок самый богатый? Мой! Как ты смеешь меня унимать?

2-й Голос. Хам ты. Наглец. Невежа.

Голос. Невеже в карманы золото льется, у вежли... во-го в горсти медный грош трясется. (*Хихикает. Опять поет.*)

Дочку хана, ай-да брат...

Со звоном бьют посуду.

Голоса.— Горько!

— Горько!

— Целуйтесь же!

— Пусть целуются!

Ветер со стуком захлопывает окно. Голоса затихают.

Махмут. Спасибо, ветер. Ты очень кстати закрыл окно.

Мадина. Вот так бы, со стуком, и сердце захлопнуть.

Махмут. А зачем... сердце?

Мадина. Чтоб вон то хамство войти не могло. Так и ломится.

Махмут. Войдет, да ни с чем и выйдет.

Мадина. Если выйдет...

Долгая пауза.

Махмут. Может, не уйдешь, Мадина? Не уходи, а?

Мадина. Ухожу.

Махмут. Даже не сказала, из-за чего. Разве так, без причины, мужей бросают? Три года в ладу и согласии жили...

Мадина. С тобой в ладу, да с собой не в ладу, Махмут.

Махмут. Просто так, без причины?

Мадина. Причина — ты и я. Мы с тобой парой не пришлись.

Махмут. Пожалуй... Наверно... Плохим я мужем оказался.

Мадина. Ты не плохой, ты другой человек. Бескрылый ты, мечты в тебе нет.

Махмут. Мечты нет? У меня нет мечты? Ты же знаешь! Мечтаю институт через два года закончить, вместе с тобой в Москве в Большом театре балет «Лебединое озеро» посмотреть, потом в Венгрию поехать, могиле отца поклониться. Ты же все знаешь! А потом мечтаю полон дом детей вырастить, если ты их мне родишь, конечно...

Мадина. А еще?

Махмут. Там еще мечты... одна за другой. Много!

Мадина. А ты о малом хоть достатке думал, на вершину почета подняться мечтал? Ну хотя бы один раз мечтал?

Махмут. Разве о том, что уже есть, мечтают? Вон какой у нас большо-ой чемодан добра. Не все вошло, еще и осталось. *(Обводит взглядом опустевшую комнату.)* А на вершину почета я уже давно поднялся.

Мадина. Ты? Почета? Это на какую же вершину поднялся человек, а я не вижу?

Махмут *(тычет себе в грудь)*. Человек? Я то есть? Я, Мадина, в свои двадцать четыре года уже мастер... Люди, чтобы у меня пошить, в очередь встают.

Мадина *(вздыхает)*. Значит, еще одной очередью в городе стало больше...

Махмут (*не чувствуя издевки*). Мне даже перед старыми мастерами неудобно.

Мадина. Ах ты бедный, грошик мой медный! Никто еще, на иголку опираясь, на вершину славы не поднялся. (*Внезапно вспыхнув.*) Чтобы туда залезть — зубы нужны! Когти!

Махмут (*все свое*). Может, когда-нибудь и меня, как старика Гофмана, «Золотой иглой» назовут.

Мадина. Ну и называли... Потом?

Махмут. Потом-то? Потом хорошо будет.

Мадина. Ну, прощай, Пеший Махмут! И никогда ты аргамака не оседлаешь. Так и останешься — Пешим Махмутом. (*С сочувствием.*) Вся мерка твоя: вершок вдоль, два поперек... Иди, обниму тебя. (*Перегнувшись через чемодан, обнимает Махмута за шею.*)

Махмут. Не уходи, Мадина. Может, еще возьмешь и изменишься.

Мадина. Ты не изменишься. Вот чего боюсь.

Махмут. Боишься? Меня?

Мадина. Я и сама не понимаю, только чувствую: безмолвный укор висит над головой — совесть твоя. Душу бередит.

Махмут. Может, моя любовь так...

Мадина. Нет, Махмут, любви не боятся... Ну, присядем по обычаю.

Мадина садится на чемодан, Махмут — прямо на пол. Плачет.

Махмут. Из дома выйдешь — но из души не уйдешь, Мадина. (*Кладет руку на сердце.*) Вот здесь горишь, вот здесь болишь... Если в мире приюта не найдешь, измаешься, озябнешь, приходи обратно. Я огня не погашу: всегда очаг гореть будет. Всегда дома буду, всегда буду ждать. На рассвете вернешься — еще лучше. Вместе новый день начнем...

Мадина. Махмут! Пожалей меня! (*Резко встает.*)

Махмут. Я жалею... И солнце уже заходит. (*Медленно встает.*)

Мадина (*обводит взглядом комнату, качает головой, достает платок*). Знать бы, куда сейчас пойду... и куда приду. Прощай все... с чем прожила я три года!

Мадина берет сумку, Махмут поднимает чемодан.

Махмут (*останавливается на пороге*). Останься, Мадина, ведь я люблю тебя...

М а д и н а. Может, и любишь... А какая польза от твоей любви?

М а х м у т. Польза? От любви? Я как-то не думал. Может, и нет пользы, от любви-то...

Выходят. Когда открывают дверь, снова распахивается окно, врывается шум свадьбы. Снова та же песня.

Ангелочка, ай да брат,
В жены взял Хабибмурат!
Ангелочек — первый сорт,
Что ни делай — с рук сойдет!
Денежки заплачены!..

В открытое окно просовывается Г о л о в а: это второй голос, который давеча унимал поющего.

Г о л о в а. Соседи! Эй, соседи, говорю! Свадьба у нас, самый разгул. Пойдемте... Ба, куда же они подевались? Окна, двери настежь, свет горит, а сами — тю-тю! (*Свистит.*) Со-се-ди! Сосе-ди! Где вы?

Г о л о с а.— Горько!

— Горько!

— Поцелуйтесь!

— Пусть целуются!

— Це-ло-вать-ся!

Г о л о в а. «Целуйтесь» да «целуйтесь»! На всю жизнь сразу, что ли? А на потом что останется? (*Исчезает.*)

С в е т г а с н е т.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Утро. Пошивочное ателье «Дятел». Еще никого нет. Вдоль стен стоят манекены в самых разных одеждах. Входит З а м з а г у л ь, приемщица заказов. Сняв широкополую соломенную шляпу, кланяется, приветствуя манекены. Все они одеты, как театральные персонажи.

З а м з а г у л ь. Доброе утро, сиятельные манекены, то есть дамы и господа! Как ночевали? Фу!.. Воздух — хоть утюг вешай. (*Открывает окно. Обращаясь к каждому, обходит манекены.*) А ты все ждешь, бедняжка Чио-Чио-сан? Опять не пришел твой капитан? Очень уж бурное было море, слышала?.. Будь терпеливой, вот такой, как я. (*Обнимает ее.*) Леди Макбет. Бесстыдница! Хоть грудь прикрой! (*Прикрывает ей грудь.*) Кокетка! Дон-Жуан, и тот застеснялся, в угол отвернулся. (*Оглядывает Дон-Жуана с ног до головы.*) Это еще что такое? Опять в грязи по колено вернулся? Опять где-то всю ночь тас-

кался? «Исправлюсь, исправлюсь!» Сколько веков уже слышим мы эти клятвы? Каждую свою клятву по десять... нет, по сто раз нарушаешь. Все, кавалер, терпение иссякло! Я на тебя в суд подам. (*Поднимает палец.*) То-ва-ри-щес-кий! Из-за таких, как ты, такие, как Чио-Чио-сан, горькими слезами плачут. Ты все наше ателье «Дятел» позоришь. Стыд и срам! Голубушка, Наташа Ростова! Хоть бы ты его приструнила! (*Проходит дальше.*) О! А это кто? Так ведь это дедушка Ажмагул из «Похищения девушки» Мустая Карима. Здравствуй, дедушка Ажмагул! Ты как сюда, в классические образы, затесался? Молодец, дедушка, не растерялся, пролез. Скучать не будешь, я вчера Галяуи-Зайца из «Тальян-гармони» Габдуллы Ахметшина вырядила. Теперь вас много будет. Национальные костюмы начнем шить. (*Еще взмах рукой.*) Привет и вам, остальные герои! (*Садится за стол.*) Если этот косоглазый Байтура опять маломальски стоящей роли не даст, возьму и вот с ними (*показывает на манекены*) сама театр поставлю. Сама режиссер, сама артист, сама художник, сама — Замзагуль Гульзаманова. Слышишь, косоглазый Байтура? (*Манекенам.*) А вы чего молчите? Думаете, не получится? (*Грустно.*) Конечно, не получится... (*Пауза.*) Байтура! Байтура-агай! Байтура Турекеевич! Дай мне роль — одну только, маленькую!.. Даже не ради меня самой. Потому что перед Абдулхаком похвасталась. Байтура же Турекеевич, говорю!..

Входит Инсаф. Лет пятидесяти пяти, высокий, плотный, медлительный.

Инсаф. Вот так, дочка, зовешь одного — приходит другой. Я Мисбахов. (*Оглядывается по сторонам.*) Теперь манекенов стало больше. А раньше было меньше.

Замзагуль. Богатеем.

Инсаф (*протягивает руку*). Инсаф Мисбахович Мисбахов. Здравствуйте.

Замзагуль. Здравствуйте. (*Внимательно смотрит на него.*) А вы, дядечка, случайно, не немец?

Инсаф. Почему немец, почему не грек?

Замзагуль. У немцев был великий композитор Бах. И этот самый Бах как раз посередке вашей фамилии оказался.

Инсаф (*сам себе*). Мисбахов. Действительно... Великий композитор, говорите? (*Смеется.*) Великий, а меж двух слогов уместился... Бах. Мисбахов.

З а м з а г у л ь. Бедняжка...

И н с а ф. Кто?

З а м з а г у л ь. Бах. Другого места не нашел.

И н с а ф. Правда ваша... А может, и в каждом человеке свой Бах сидит?

З а м з а г у л ь. Нераспознанным талантом он называется. (*Показывает на себя.*)

И н с а ф. Баха пока оставим. У него своя музыка, у нас своя...

З а м з а г у л ь (*предлагает сесть*). В таком случае, сыграйте сидя.

И н с а ф (*садится*). Ровно двадцать пять лет назад в вашем ателье один молоденький портной мне костюм на свадьбу сшил. Черный костюм. Здесь он еще?

З а м з а г у л ь. Костюм?

И н с а ф. Нет, тот молодой портной... Рука у него легкой оказалась. Счастливо прожил. Уже серебряная свадьба скоро. Новый костюм нужен.

З а м з а г у л ь. А как его зовут?

И н с а ф. Забыл. Довольно рослый, довольно худощавый, кажется...

З а м з а г у л ь. Я ведь тогда здесь не работала, Инсаф-агай.

И н с а ф. Действительно, вы же еще совсем ребенок. Сколько вам лет?

З а м з а г у л ь. Восемнадцать исполнилось.

И н с а ф. Да-да, правда ваша... Столько лет прошло. Рука у него легкой оказалась. Новая одежда или счастье приносит, или счастье уносит. Нам — принесла. А вы знаете, что такое счастье?

З а м з а г у л ь. Знаю!

И н с а ф. Вы знаете, что такое счастье? Вы? Счастье?!

З а м з а г у л ь. Вот и знаю. Любовь. «Любовь, свободно век кочуя...» (*Поясняет.*) «Кармен».

И н с а ф. Если кочует — тогда это не любовь, это ветер.

З а м з а г у л ь. «Вею, как веют ветры, расту, как растут цветы...» Народная песня.

И н с а ф (*вспоминает*). Кажется, одна нога хромила — то ли правая, то ли левая.

З а м з а г у л ь (*забавляется*). У кого? У Кармен?

И н с а ф. У портного. Кажется, правая.

З а м з а г у л ь. Вы ясно скажите — правая или левая?

И н с а ф. Кажется, левая.

З а м з а г у л ь *(улыбается)*. Ладно, все равно хромой.

И н с а ф. Вы чему улыбаетесь?

З а м з а г у л ь. Так просто.

И н с а ф. Так просто и дурачок не засмеется. А вы умная, симпатичная.

З а м з а г у л ь *(улыбается)*. Спасибо.

И н с а ф. За что спасибо?

З а м з а г у л ь. Ни за что. Просто так.

И н с а ф. Просто так спасибо не говорят, просто так ничего не делают.

З а м з а г у л ь. Эх, товарищ! Так просто не знают, что делают. Даже... даже врут. Вон косоглазый Байтура...

И н с а ф *(чему-то своему)*. Правда ваша... Да-да...

З а м з а г у л ь. Вы тоже этого Байтуру знаете?

И н с а ф. Нет, не знаю. *(Пауза.)* Я про портного... Очень уж у него ресницы длинные были. Жалею я таких. Чем длиннее ресницы, тем жизнь короче. Я и вас жалею...

З а м з а г у л ь. У меня ресницы накладные. Я роль красавицы буду играть.

И н с а ф. Где?

З а м з а г у л ь. Здесь, у нас... в народном театре.

И н с а ф. Правда ваша. Мы все играем.

З а м з а г у л ь. Выходит, и вы артист?

И н с а ф. Нет. Я свадьбу играть буду. Серебряную свадьбу. У того портного рука легкой оказалась. Счастливо прожили... Новая одежда или счастье приносит...

З а м з а г у л ь. Или счастье уносит.

И н с а ф. Правда ваша. А вы откуда знаете?

З а м з а г у л ь. Исходя из опыта...

Пауза.

И н с а ф. А волосы, кажется, кудрявые...

З а м з а г у л ь *(прыскает от смеха)*. Тоже скажете...

И н с а ф. Ты со мной без смеха немного поговори. У кого бы спросить, чтобы все точно разузнать?

З а м з а г у л ь *(догадалась)*. У меня спросить, у меня!

И н с а ф. Значит, он есть?

З а м з а г у л ь. Есть! Такой портной есть, только вместо кудрей *(вздыхает)* одни воспоминания остались,

И н с а ф. Здесь и работает?

З а м з а г у л ь. И здесь. И не здесь.

И н с а ф. Как же это? Я не понимаю. Работает или нет?

З а м з а г у л ь. Как вам сказать. Приходит раз в неделю. В субботу. Или в воскресенье.

И н с а ф. Видать, в будни в другом месте работает, где повыгодней. Жить-то каждому надо.

З а м з а г у л ь (*улыбается*). Место есть, насчет выгоды не знаю.

И н с а ф. Да-да. А как же нам...

З а м з а г у л ь. Инсаф Мисбахович! Вы мне понравились. Вы человек мягкий. Очень к месту и «да-да» и «правда ваша» можете сказать. К тому же оба мы с вами играть собираемся. Я тому портному скажу, попрошу за вас. Он меня послушается. Такого-то числа, во столько-то часов будьте здесь.

И н с а ф. Вот спасибо, дочка!

З а м з а г у л ь. А материал чей?

И н с а ф. В прошлый раз он из своего шил. Счастливо мы прожили.

З а м з а г у л ь. Тогда выберем материал. (*Долгий резкий звонок.*) Рабочий день начался. А работников что-то не видать.

Свет гаснет.

СНИМАЮТ МЕРКУ

То же самое помещение. Сцена разделена надвое. По одну сторону — комната с манекенами, по другую — часть пошивочной. Ночь. В углу в кресле сидит М а х м у т. Портной лыс — волосы только на висках, но вида своего еще не потерял. Он в жилетке, на шее висит сантиметр. Осторожно открыв дверь, входит И н с а ф, Махмута замечает не сразу.

И н с а ф. Можно ли?

М а х м у т (*медленно поднимает голову*). Можно. (*Смотрит на часы.*) Девять часов. Вероятно, это вы и есть.

И н с а ф. Да, Инсаф Мисбахович...

М а х м у т. Знаю. (*Вспомнив, что он портной, вскакивает.*) Замзагуль сказала.

И н с а ф. Хоть и знаете, я все же доскажу: Инсаф Мисбахович Мисбахов... И вы, хочу я сказать, тот самый? То есть...

М а х м у т. И я тот самый. То есть Махмут Юлбердин.

И н с а ф. Вот теперь я вашу фамилию вспомнил. Здравствуйте, дай бог вам здоровья.

Махмут подходит к нему, протягивает руку, Инсаф замечает, что тот прихрамывает.

Махмут. Здравствуйте.

Инсаф. Да, верно. Вы самый и есть. Ровно двадцать пять лет назад зы мне свадебный костюм сшили. Рука у зас легкой оказалась. Очень счастливо мы прожили. Новая одежда, она или счастье приносит...

Махмут. Или счастье уносит.

Инсаф. Правда ваша. Опыт подтверждает это.

Махмут. Замзагуль мне уже объяснила.

Инсаф. Хоть и объяснила, хочу и сам отметить. Вот, собираемся с приходом щедрой осени серебряную свадьбу сыграть, если все благополучно будет... Правда, и тот костюм еще хороший. Оказывается, вещи долго живут. Но все же мы с супругой посоветовались и решили обнову справить.

Махмут *(с улыбкой)*. Я тоже так понял.

Инсаф. Вы проницательный человек.

Махмут *(развеселясь)*. Ремесло такое... Ну, хорошо, с этим, пожалуй, и за работу. Какой материал выберем?

Инсаф. Мы с той приветливой девушкой уже выбрали.

Махмут. Ладно! Тогда, как Гофман-покойник говорил, измерим стать вашу вдоль-вширь, в обхват и поперек. Какой фасон возьмете?

Инсаф. Фасон... *(С неожиданной усмешкой.)* Если не очень фасонисто, по мне и хорошо.

Махмут. На ваше усмотрение. Воля ваша.

Инсаф. Да-да, правда ваша. У каждого своя воля. Вот и вы теперь на ночной работе.

Махмут. Днем другие заботы.

Инсаф. Да-да. Жить-то нужно. Вот всяк по-своему и копошится.

Махмут. Фигура у вас — мечта портного!

Инсаф. Вам видней.

Махмут *(улыбаясь)*. Правда ваша. Портной, если ладно сшить хочет, не голько вдоль и вширь должен измерить, но и к мечтам и думам мерку прикинуть. Честное слово! Я днем мерку сниму, а ночью лежу и думаю, понять пытаюсь, что он за человек.

Инсаф. И как? Получается?

Махмут. Получается. Довольно часто угадываю.

Инсаф. Люди много играют, товарищ Махмут Юлбердин, где правда, где притворство, сразу не разглядишь, не угадаешь.

Махмут (*продолжает снимать мерку*). Эге! А правая-то рука у вас, оказывается, длинней. Какой рукой пишете?

Инсаф. Правой...

Махмут (*меряет еще раз*). Да, длинней.

Инсаф (*удивлен*). Первый раз слышу. Может, левая короче?

Махмут. Нет. Правая длинней получается. Вы кем работаете?

Инсаф (*вздрагивает*). Я вашего намека не понимаю, товарищ Юлбердин.

Махмут (*смеется*). Никакого намека нет. Просто так спросил.

Инсаф. Ну, коли так просто... Я по счетному делу.

Махмут. Так сказать, на охране народного достоинства. Зоркий страж.

Инсаф. За высокую оценку спасибо.

Махмут. Теперь брюки. Какую ширину возьмем?

Инсаф. Среднюю. Не широкие и не узкие. ...

Махмут (*отмеряет, записывает*). Как сказано, так и сделаем.

Инсаф. Мастеру, который будет шить, вы заранее намекните, пусть уж постарается. И мы не обидим.

Махмут. Я ведь по старинке — сам крою, сам и шью.

Инсаф. Тогда и совсем хорошо.

Махмут. Решили, значит, во второй раз свадьбу сыграть? Очень хорошо.

Инсаф. В третий. Первая жена от меня ушла, бросила меня. «Больно расчетлив», сказала, ровней себе не приняла.

Махмут. И меня первая жена бросила. «Нерасчетлив больно», сказала, парой себе не посчитала. Расставались — плакали. Все равно ушла. Даже рядом с трамваем бежал. Но разве ушедшую любовь догонишь? Споткнулся и ногу покалечил, только и всего. Вот и остался хромым. (*Хлопает себя по колену.*)

Инсаф. Ладно еще, совсем не оторвало.

Махмут. Впрочем, я, наверное, уже тогда, когда вам шил, хромым был?

Инсаф. Да, хромали... А как ваша вторая супруга?

Махмут (*пожимает плечами, помолчав*). Жена как жена. Походил я семь лет холостяком и женился. Двух

мальчиков и трех девочек народила — не уйми, так до сих пор бы не остановилась.

И н с а ф. Вон как...

М а х м у т. Свадьба — дело хорошее. А своя — в особенности. Я вам такой костюм нарисую! Так и вижу: огромный стол, и вокруг стола — ваши дети, внуки и внучки, родственники и свойственники, друзья и приятели. Во главе застолья два трона, два престола. На одном черный беркут вы, на другом белая голубка — хозяйка ваша. Льется в бокалы шампанское, звучит первый тост.

Распахивается окно. По соседству идет свадьба. Музыка, шум.

Г о л о с а.— Горько! Горько!

— Целуйтесь!

— Да целуйтесь же!

М а х м у т (*закрывает окно*). Вот и вам так же будут кричать. И вы поцелуетесь. Дети ваши застесняются будто, в сторону отвернутся.

И н с а ф. Детей у меня немного... один.

М а х м у т. Не густо.

И н с а ф. Мы тогда, после бракосочетания, сразу в Среднюю Азию уехали. Супруга моя так захотела. Там и сын родился. И сейчас там. Геолог. Золото ищет.

М а х м у т. Выходит, вы в нашем городе только гость?

И н с а ф. Нет, уже год, как мы совсем вернулись.

М а х м у т. Сердце потянуло?

И н с а ф. Что-то толкнуло, что-то потянуло. И супруга моя так захотела.

М а х м у т. Сразу видно, вы свою жену почитаете. Наверное, ей с вами повезло.

И н с а ф. Вроде не жалуется.

М а х м у т (*собирает записи*). На этом все. На когда примерку назначим?

И н с а ф (*надевает пиджак*). Как скажете. Я приноворюсь.

М а х м у т. Тогда через неделю точно в это время пожалуйста.

И н с а ф. Спасибо. Мне можно идти?

М а х м у т. Воля ваша.

И н с а ф. Да-да. Спасибо. До свидания.

М а х м у т. До свидания.

И н с а ф (*собирается уходить, но в дверях останавливается*). И все же, товарищ Махмут Юлбердин, руки еще

раз уточнить бы надо. Как бы, говорю, не ошибиться.

Махмут. Уточним. На примерке.

Инсаф. Спасибо. До свидания. (*Уходит. Возвращается.*) Если мы на примерку вместе с супругой придем? Вы не против?

Махмут. Пожалуйста.

Инсаф. Спасибо. До свидания. (*Уходит.*)

Махмут. Крепко, должно быть, человека жизнь потрепала. Соломинку переломишь — он вздрагивает. «Я приноровлюсь. Спасибо. Правда ваша».

Махмут медленно уходит в глубь сцены. Впереди зажигается свет. Вбегает Замзагуль.

Замзагуль (*манекенам*). Поздравьте меня, великие классические образы! Я сегодня сыграла свою первую роль! Театр! Знаете ли вы, что такое театр? Конечно, знаете! Если вы не знаете, кто же тогда будет знать! (*Открывает дверь в пошивочную, просовывает голову и шепчет.*) Махмут-агай!.. Махмут-агай!.. (*Погромче.*) Дядя Пеший Махмут!

Махмут (*издалека*). Кто там?

Замзагуль. Я! Замзагуль! Радость, у меня радость, Махмут-агай! Я сегодня первую свою роль сыграла. На сцене!

Махмут (*выходит*). Поздравляю, Замзагуль! Значит, сегодня великий день!

Замзагуль. Ночь. Великая ночь! Осыпавшая меня звездами великая ночь!

Махмут. Значит, успех?

Замзагуль. Такой успех! Триумф! Я должна была просунуть голову из-за кулис и сказать одному недотепе: «Я тебя люблю! Я тебя до смерти люблю!» Но я ему не сказала, я подошла к краю сцены, к сидевшему в первом ряду Абдулхаку и крикнула ему прямо в лицо: «Я тебя люблю!» Здорово вышло! Очень хлопали.

Махмут. А он что сказал?

Замзагуль. Кто?

Махмут. Абдулхак.

Замзагуль. Тоже захлопал. Только глазами. И шепчет: «И я... и я... и я...» Бессовестный!

Махмут. И впрямь удачно вышло.

Замзагуль. Еще как удачно. Только режиссер наш, косоглазый Байтура, недоволен, говорит: «Неправильно играла».

Махмут. Да что он понимает, косоглазый Байтура! Ты очень правильно сделала. Если любишь, нужно посмотреть прямо в глаза и крикнуть: «Люблю!»

Замзагуль. Ой, правда? А вы откуда знаете?

Махмут. Да так... От людей слышал.

Замзагуль. А я... а я сама знаю! (*Вдруг вспомнила.*) Ой, Махмут-агай! Я же зачем сюда прибежала? Вину свою вспомнила. Хорошо еще не на сцене спохватилась. Уж какая тогда была бы игра!

Махмут (*со свирепым видом*). Если вину свою признаешь и все, от иголки до ниточки, ничего не тая, по стежку расскажешь, тогда, о грешная душа, кару твою на один аршин убавлю. (*Показывает, вытянув сантиметр.*)

Замзагуль (*падает на колени*). Расскажу, о великий владыка, все расскажу. Я, рабыня твоя бестолковая, торопилась в театр и материал, который выбрал Мисбахов, забыла оставить на твоём столе. (*Встает, приносит из соседней комнаты отрез, снова опускается на колени.*) Вот он. Режьте! Или меня, или его.

Махмут (*берет со стола большие ножницы*). Гневу моему края нет, жестокости — предела. Я его и только его буду резать — и вдоль, и поперек. А ты, безгрешная душа, вставай и порхай по белу свету, в вольном мире, словно бабочка.

Замзагуль (*воздев руки к небу*). За милосердие твое благодарю тебя, о владыка.

Махмут. Благодарность принимаю.

Замзагуль (*садится на стол*). Давай-ка, Махмут-агай, сядем и поговорим, как мужчина с женщиной. Откровенно. Я секреты хранить умею, тут я — бездна, тут я — могила.

Махмут. И я.

Замзагуль. У меня к вам во-от столько вопросов!

Махмут. Ого! Отвечать нужно стоя?

Замзагуль (*серьезно*). Меня протокол не интересует. Садитесь.

Махмут (*садится*). Во-первых?..

Замзагуль. Во-первых, вы кто — чудаки или праведники?

Махмут. Я сам. Просто сам.

Замзагуль. Ответ неудовлетворительный.

Махмут. Дальше постараюсь отвечать лучше.

Замзагуль. Вот и постарайтесь. Думаю, думаю о вас — голова пухнет.

Махмут. А ты голове отдых давай.

Замзагуль. Скажете тоже! Такой человек, на такой должности — и тайком, можно сказать украдкой, по ночам портняжит. А у меня, значит, пусть голова отдыхает? Вот и сейчас иголку в нитку нижет — глаза сушит, до ломоты в пальцах стежки мечет. (*Вздыхает.*) Да-да, нужда заста-авит! Правду, видно, говорят: высоко место, да оклад невысок.

Махмут. Правду. Зарплата невысокая.

Замзагуль. И детей, говорят, целая ватага.

Махмут. Семь ложек враз поднимают.

Замзагуль. А в ватаге дети на еду не промах.

Махмут. Чисто метут. Только, Замзагуль, этот мой ночной промысел не от нужды — от потребности. Душевной потребности.

Замзагуль. А если не от нужды... На таком ведь месте сидите.

Махмут. Да, там «место» — здесь «ремесло». А ремесло, Замзагуль, оно с судьбой вровень ходит. Забыть ремесло — все равно что корни свои, честь свою забыть.

Замзагуль. Ладно, положим, не забыли. Теперь-то оно вам зачем нужно?

Махмут. Очень нужно. Чтобы с судьбой на равных говорить, нужно. Чтобы правду мою суeta всякая, как моль, не изгрызла, нужно. Еще нужно, чтобы на том, как ты говоришь, «месте» сидеть и не позориться. И, наконец, чтобы сюда вернуться было не страшно. Да хоть завтра. Я ведь туда не сам просился — выбрали. А могут... (*Пишет пальцем в воздухе петлю...*) и обратно. Ну, объяснить сумел ли?

Замзагуль. Вы-то сумели. Только я понять не сумела....

Махмут. Есть еще у меня мечта, Замзагуль, тайная мечта. Тебе одной говорю.

Замзагуль. Знаю.

Махмут. Что знаешь?

Замзагуль. Мечту вашу.

Махмут. Ты даже мою тайную мечту знаешь?

Замзагуль. Даже этого не знать! Все старики свой промысел...

Махмут. Не промысел, а ремесло...

Замзагуль. Ремесло своим детям или внукам передать мечтают. Наставничество!

Махмут. Ты, Замзагуль, ясновидящая. Из тебя артистка получится...

Замзагуль. Из меня-то артистка получится, а вот из вашей мечты ничего не выйдет. Это точно!

Махмут (*искренне огорчен*). Ты уж так, одним махом, не рви. Мечта, Замзагуль, материал тонкий. С мечтой надо бережно.

Замзагуль (*беспечно*). Ладно, извините. Вы лучше скажите, у кого из ваших детей иголку взять или наперсток надеть палец чешется?

Махмут. Может, во внуках страсть проснется.

Замзагуль. И-и, дядя Пеший Махмут, страсть, она только от пламенного искусства вспыхивает. Это я вам из собственного опыта говорю.

Махмут. С опытом спорить, конечно, трудно.

Замзагуль. И спорить не надо. Портной — иглой колодец копает, утюгом землю пашет. Скука, а не ремесло!.. Вот вы мне скажите: за всю историю во всем человечестве был хоть один, ну один-единственный гениальный или хотя бы великий портной? А если был — кто он? Фамилия, имя, отчество? Где родился, когда родился, кто родители, кто по национальности, и так далее, и тому подобное?..

Махмут (*горячо*). Был! Имени-звания, роду-племени я не знаю. Но он был! Был такой гениальный портной. Однажды взял он звериную шкуру, разрезал ее каменным ножом и сделал что-то вроде передника, прикрыл свою наготу. Это и есть первый великий мастер нашего дела. Маэстро! (*Воздев палец.*) И существо, которое до того дня было наполовину животным, стало человеком. Следом за ним и другие то же самое сделали. Так человечество от извечного срама и бесстыдства избавилось. И мы, портные, уже сотни тысяч лет дело того гения продолжаем. Фасоны меняются, а суть остается. Если бы не мы-ы!..

Замзагуль. Какую интересную историю вы вдруг рассказали, Махмут-агай! Если поглубже вдуматься, наверное, так и было.

Махмут. А ты поглубже вдумайся.

Замзагуль. Эх, Махмут-агай, немножко только задумаюсь, и то уже голова кругом идет. Да-а, рассказали вы историю... Может, все правда, может, все так и было. А что, если бы у того старика голова не сработала, люди так и... это... без всего... и ходили бы? (*Смущается.*)

Махмут. Так и ходили бы.

Замзагуль. Тьфу, бесстыжие!

Махмут. Вот к какому древнему ремеслу ты общилась, Замзагуль. Знай цену.

Замзагуль. Цену-то знаю, да душа не лежит. Мое гнездо в другом лесу.

Махмут. Отчего же в свой лес не улетишь?

Замзагуль. Вот их, бедненьких (*показывает на манекены*), жалею. Я разговариваю, спектакли с ними ставлю. Каждый из них — большой оригинал.

Махмут (*с иронией*). Оригинальней манекена и быть не может — для понимающего, конечно, человека.

Замзагуль (*недовольно*). Ну... Каждого из них кем хочешь можно одеть, хотела я сказать.

Махмут. А вот человека, как говорил покойник Гофман, только самим собой одевать нужно.

Замзагуль. Махмут-агай, а почему это покойники только умные, хорошие слова говорили?

Махмут (*слегка растерялся*). Действительно...

Замзагуль. А живые и наврут, и обругают, и обидного наговорят. Почему?

Махмут. Этому я и сам удивляюсь, Замзагуль.

Замзагуль. Вот над этим надо будет задуматься поглубже.

Распахивается окно. Врываются Голоса. Махмут и Замзагуль, погруженные в свои думы, ничего не слышат.

Голоса.— Горько! Горько! Горь-ко-о!

— Целуйтесь! Целуйтесь! Крепче! Крепче!

— Целоваться! Встать на стол и целоваться!

Кто-то свистит. Знакомый нам Голос начинает песню.

Голос.

Богачиху, ай да брат,
В жены взял Султанмурат!
Перед домом — «чок» и «чок»! —
Пляшет новый «Москвичок».
Денежки заплачены!..

Голова. Дурак! Разве «Москвич» может плясать?

Голос. Ухватиться, как надо, — запляшет. Уж мы-то? Захотим, не то что «Запорожец» — и «Жигули», и «Волга», и даже «КамАЗ» запляшет. У нас-то? У нас в руках и вселенная запляшет, так запляшет — звезды со стуком посыплются. Капитал заплачен. (*Поет.*)

Наш брат Султанмурат
Ест от пуза виноград!..

Голова. Хватит, говорю, луженая глотка! Дай людям спокойно посидеть, мысль какую-нибудь обдумать.

Голос. Мысль обдумать? Не дам думать! Вот им, кукиш. *(Хихикает.)*

Голова. Беспардонный ты. Невежа. Хам. Как ты надоел! Двадцать пять лет одна и та же песня! Четверть века одно и то же орешь!

Голос. Песня та, слова другие. Масштаб другой. Охват побольше. Только «наш брат» все тот же. *(Поет.)*

Наш брат Султанмурат...

Голова. Хватит! Остановись! А не то...

Голос. «А не то» — что сделаешь?

Голова. А не то?.. А не то дом твой подожгу и дачу.

Голос вдруг замолкает. Голова просовывается в окно.

Голова. Прошу прощения. Покой ваш нарушили, думать помешали. Разве хамство так просто уймешь? Сквозь любую щель пролезет. Прошу прощения, извиняюсь. Я ему не брат и не сват, а, так сказать, сотрапезник, за одним столом сидим, один хлеб едим. Вернее — мне от него кусок перепадает. Сам я исключительно культурный человек. Воспитанный! Где уж там дом поджечь. Прошу прощения, извиняюсь. Спокойной вам ночи. *(Закрывает окно.)*

Замзагуль. Я вас жалею, Махмут-агай.

Махмут. Интересно. За что?

Замзагуль. Хороших людей я всегда жалею. Так и кажется: вот-вот злые люди погубят их.

Махмут. Не бойся. Не настолько я хороший.

Замзагуль. Вы грустный. Я за все вас жалею — и что грустный, и что хромой, и что лысый. Волосы, они так просто не выпадут. От дум и забот лезут они. *(Плачет.)* А тут еще, словно юродивый какой, украдкой одежду шьете. Чудаком вас называют, смеются над вами. А мне плакать хочется. Нашли ремесло, тоже мне.

Махмут. Замзагуль! Знай меру!

Замзагуль. Сам ты меры не знаешь!

Махмут. Я, портной, меры не знаю? Да все мое ремесло *(показывает сложенный сантиметр)* на мерке держится.

Замзагуль. Не знаете! Нет, чтобы чинно-важно в

черной машине разъезжать, свысока на всех глядеть. Он же, только случай выпадет,— сюда ковыляет. Авторитет только свой роняет! Эх вы, сами себя не уважаете, дядя Пеший Махмут!

Махмут. Свысока смотреть и без меня найдутся.

Замзагуль. Ну и что ж!

Махмут. Если бы я, как ты говоришь, чинно-важно разъезжал, свысока глядел, уважала бы ты меня?

Замзагуль. Я-то?

Махмут. Слезы бы лила, меня жалеючи?

Замзагуль. Я-то?

Махмут. Со мной вот так, как мужчина с женщиной, говорила бы?

Замзагуль. Я-то?

Махмут. Ты!

Замзагуль. Я-то говорила бы, да вы не стали бы говорить.

Махмут. А коли так...

Замзагуль. Фу! Что ни скажу, все невпопад. Нет, не умею я поглубже задуматься. А ведь если поглубже задуматься...

Махмут. Ну-ка, ну-ка...

Замзагуль. Если поглубже?.. Вот зайдете вы сюда, прихрамывая на левую ногу, и днем — день, ночью — ночь светлей становится. Какой-то грустный свет исходит... И все так говорят. (*Показывает на манекены.*) А без вас тоскливо, хоть сядь и поплачь немножко. Вот только счастья у вас нет.

Махмут. Как это нет?

Замзагуль. Вот так и нет. Счастливые люди беспечными бывают, а вы всегда печальный.

Махмут. А в чем оно, счастье?

Замзагуль. Знаю, но не скажу. Еще смеяться будете.

Махмут. Не буду.

Замзагуль. Все равно не скажу.

Махмут. Сама говорила: откровенно, по-мужски поговорим.

Замзагуль. Не скажу, Махмут-агай, спугнуть боюсь.

Махмут (*понял*). Тогда не говори. Спугнешь — уйдет и обратно может не вернуться. Один раз увидишь, а потом всю жизнь будешь тосковать... Не тот печален, кто счастья не видел, а тот, кто видел, да потерял.

З а м з а г у л ь. Это точно!.. Чего нет — того не потеряешь. (*Грубо колотят в дверь.*) Ой! Наверно, Абдулхак. Бедняжка!

Не дожидаясь приглашения, боднув дверь, входит плечистый, лет двадцати — двадцати двух П а р е н ь.

П а р е н ь. Папаша! Мамзель! Привет.

М а х м у т (*протяжно*). Привет... А как вас величать, разрешите узнать?

П а р е н ь. Знать не надо. Много будешь знать, скоро состаришься.

М а х м у т (*вспыхнул, но внешне пока спокоен*). Как же мы тогда вам почет окажем?

П а р е н ь. Не оказывай. Стакан дай. Один стакан. (*Показывает палец.*)

З а м з а г у л ь. Стакан воды?

П а р е н ь. Пустой стакан, бестолочь! Извини за грубость, папаша.

З а м з а г у л ь. Хы!

П а р е н ь. Живей, мамзель. (*Кивает на дверь.*) Парни там — что надо. Ждут. Нехорошо. (*Резко.*) Кому говорят, мамзель! Пойдем, папаша, четвертым будешь.

Растерянная Замзагуль приносит стакан. Махмут подходит к Парню. Только тот берет стакан, Махмут вышибает его.

П а р е н ь (*спокойно*). Нахал... Вот наха-ал!.. Значит, мы, будто дикари какие, из горла пить должны, а? Не вежество. Так только мужики пьют. Пройденный этап. Ты чего так уставился?

М а х м у т. Вон, пакостник!

П а р е н ь (*сквозь зубы*). Если ты, папаша, сейчас же, на моих глазах все осколки, все до последнего, до крупиночки, не соберешь, удавлю. Вот так. (*Вытянув руки, показывает.*)

З а м з а г у л ь. Сейчас я сама подберу. Сейчас... (*Начинает собирать.*)

М а х м у т. Замзагуль! Не смей!

П а р е н ь. А ну, папаша, поживей! Я спешу. Там ждут.

М а х м у т. Согнуться не могу. Спина не пускает.

П а р е н ь. На колени встань.

М а х м у т. Колени не гнутся.

П а р е н ь. Тогда я сам тебя согну. (*Тянется к горлу Махмута.*)

Махмут сильным ударом валит его с ног.

З а м з а г у л ь. Ох, здорово! Ох, молодец, дядя Пеший Махмут!

П а р е н ь (*пытается встать*). Товарищ...

М а х м у т. Не вставай. Все осколки по одному, до последней крошки собери.

П а р е н ь. С виду вроде культурный человек. А сам...

М а х м у т. Поживей! Мы спешим.

Парень, стоя на коленях, подбирает осколки.

П а р е н ь. Вот и верь после этого людям. Такой с виду интеллигентный. Не смотрит, что гость, не смотрит, что ночь... Совсем люди очерствели. (*Останавливается.*) Сколько осколков: когда же я их все соберу? (*Чуть не плачет.*) А меня там ждут!..

Свет гаснет.

ПРИМЕРКА

Там же. Прошло две недели. Среди манекенов появился новый персонаж — П е р в ы й П о р т н о й, бородатый, гривастый, спереди прикрыт куском шкуры. З а м з а г у л ь с увлечением разучивает по бумажке роль. В другой комнате М а х м у т — должно быть, за работой.

З а м з а г у л ь (*стоит перед стариком Ажмагулом*). «О, великий владыка моей души! Навеки пленивший меня бесстрашный воитель! Слышишь? Днем я твоей покорной рабыней, а ночами страстной, пылкой...» Как это «страстной, пылкой»?.. Верно, «страстной, пылкой»... «страстной, пылкой твоей возлюбленной буду... Золотая стрела, пущенная тобой, пронзила мне сердце. Я сражена!..» Фу! Вместо пяти слов: «Я тебя до смерти люблю», столько каши намешали. Ну, этот косоглазый Байтура! Чего только не откопает! (*Переходит к роли.*) «О солнцем рожденный мой герой! Ночь, за полночь, в самый глухой час спустись с неба и войди в мои объятия!»

Открывается дверь. Входят И н с а ф и М а д и н а. Замзагуль и они не замечают друг друга.

З а м з а г у л ь. «Войди же в мои объятия, возлюбленный мой!»

И н с а ф (*показывает на манекены*). Полон дом людей, а никого нет.

М а д и н а. Инсафчик, сегодня твой язык не нужен, только фигура нужна — костюм примерить.

И н с а ф. Правда ваша.

М а д и н а. Словно что-то знакомое здесь, что-то знакомое...

И н с а ф. Наверное, манекены. Каждый из них на какого-нибудь артиста похож.

М а д и н а *(сама себе)*. О господи, что же это, что же?

Из-за манекенов выходит З а м з а г у л ь.

З а м з а г у л ь. Инсаф Мисбахович? Вы, словно лев, бесшумно ступаете. Я и не слышала. Здравствуйте!

И н с а ф. Супруга моя. Мадина-ханум.

З а м з а г у л ь. Мадина-ханум... *(Кивает.)* А я приемщица Замзагуль.

М а д и н а. Знаю. Мы уж тут посмеялись, Инсаф Мисбахович рассказал, как ты его в композиторы великие произвела.

И н с а ф. Правда ваша. В композиторы.

З а м з а г у л ь. Если уж над этим посмеялись, вы, наверное, веселые люди.

М а д и н а. Да. Нам бы только повеселиться...

З а м з а г у л ь. Посидите немножко. Мастер сейчас выйдет.

Садятся.

М а д и н а *(кивает на манекены)*. Тут, я гляжу, целый классический театр.

З а м з а г у л ь. Кроме дедушки Ажмагула и Галяун-Зайца. А остальные все — классика. Дедушка с Зайцем — чтобы национальную одежду примерять. Они у нас в инвентарной книге как национальные души записаны.

М а д и н а *(показывает на Первого Портного)*. А это кто? Робинзон Крузо?

З а м з а г у л ь. Не-ет! Это самый первый в истории человечества гениальный портной, и он же — самый первый, самый непривередливый, самый покладистый клиент.

М а д и н а *(беспокойно)*. Словно я уже была здесь. Давым-давно, в незапамятные времена, когда вот этот дикарь еще жил.

З а м з а г у л ь. Бывает такое. Мне тоже порой кажется, что и я много-много лет назад в Мадриде и даже в Токио была. *(Показывает на Кармен и Чио-Чио-сан.)*

Бьют часы.

М а д и н а. Как тревожно бьют часы...

Из соседней комнаты с перекинутым через руку наметанным пиджаком выходит Махмут. Мадина обращает внимание на его прихрамывающую походку.

Махмут. Уважаю тех, кто время уважает. Добрый вечер, Инсаф Мисба... хович... ханум...

Мадина вздрагивает, встает с места. Махмут тоже узнает ее. Он поражен. Пиджак соскальзывает с его руки, падает на пол.

Махмут. Здравствуйте...

Мадина (рванулась к нему). Махмут! (Застывает на месте.) Чуяло сердце, не даром... Ты ли это!

Махмут. И я, и не я...

Мадина. Мах-мут...

Махмут (берет себя в руки). Давай поздороваемся.

Мадина (снова рванулась, остановилась, медленно протянула руку). Поздороваемся.

Махмут. Здравствуй, Мадина.

Мадина (подходит ближе). Здравствуй, Махмут. А ты все так же, день ли, ночь ли, иголкой гору насыпаешь?

Махмут, нагнувшись, пытается поднять пиджак, но дотянуться не может, распрямляется.

Махмут. Что делать, насыпаешь, коли ремесло такое.

Мадина (с жалостью). Бедняжка... Кудри на голове не уместались.

Махмут (подхватывает). И нога не хромала.

Мадина. Теперь хромает...

Замзагуль (готова заплакать). Чужую голову и чужую ногу здесь обсуждать не место, ханум!

Махмут. Замзагуль!

Замзагуль. Ладно уж...

Мадина. Да-а, жизнь... от нее захромаешь.

Махмут. Жизнь не виновата. Сам.

Мадина. Ты уж такой... Во всем только сам виноват.

Махмут. Конечно, сам. Однажды с трамваем наперегонки бежал. Дорогого мне человека увозил трамвай. Упал, покалечился.

Инсаф. Ладно еще — совсем не оторвало.

Мадина. Инсаф Мисбахович...

Инсаф. Да-да... Это... вроде как знакомые оказались?

Мадина. Инсаф Мисбахович, ты бы поднял костюм-то.

Инсаф поднимает пиджак, отряхивает.

З а м з а г у л ь (*забирает у него пиджак*). Дайте сюда.

М а д и н а. А вот глаза все такие же синие, ни пылинки в них не попало.

М а х м у т (*смеется*). Когда пыль, я глаза покрепче зажмуриваю.

З а м з а г у л ь. Тоже скажете! Это вы-то глаза от пыли жмурите? Как бы не так!

М а д и н а. Вот, значит, где прошла твоя жизнь. Тот человек, который в трамвае уехал, может, и прав был?

М а х м у т. Может, и так.

И н с а ф. Примечаю я, вы вроде как знакомые оказались, а?

М а д и н а. Проницательный ты, Инсаф Мисбахович!

И н с а ф (*вглядывается в Махмута, вздрагивает. Про себя*). Так вот кто мне счастливый костюм сшил...

М а х м у т (*смущенный его взглядом, снимает с шеи сантиметр, поворачивается к Замзагуль*). Ну, ладно... Начнем примерку.

Инсаф снимает свой пиджак, с помощью Замзагуль надевает примерочный.

З а м з а г у л ь. Чуть «с богом!» не сказала.

Махмут со всех сторон обходит Инсафа, осматривает, одергивает, поправляет пиджак, перекалывает иголки, метит мелком.

М а х м у т. Вот так... Здесь немножко поднимем. Здесь надо опустить. Все! Ну, ханум, какие будут замечания?

М а д и н а (*не смотрит*). Нет.

М а х м у т (*Инсафу*). Кажется, мы длину рук хотели уточнить? (*Меряет руки*.) Так и есть. Правая длинней.

И н с а ф (*рассеянно*). Странно. Может, левая короче?

М а х м у т. Правая длинней.

М а д и н а. Руки руками, а рукава сделай одинаковые.

М а х м у т. Рукава-то по рукам отмеряются. (*Инсафу*.) А в остальном фигура ваша — мечта портного.

М а д и н а (*с намеком на кого-то из них двоих*). Если другой мечты нет.

М а х м у т (*перейдя на шутливый тон*). Решили еще раз женихом и невестой себя почувствовать? Хорошее дело. Завидую я тем, кто чувствами живет.

М а д и н а. Обычай такой.

И н с а ф. Без чувства и обычая нет, Мадина-ханум. М а д и н а (*язвительно*). Правда ваша.

М а х м у т. К какому сроку нужно, чтобы не опоздать? Ведь у нас, портных, семь пятниц на неделе.

И н с а ф. Как вам удобней... А мы к вам приладимся.

М а д и н а. Нет уж, подлаживаться не будем. Там подлаживайся, здесь подлаживайся — все терпение вышло. Через десять дней пусть будет готово.

М а х м у т. Договорились. Через десять дней встретимся снова. Если хотите, можно и пораньше...

М а д и н а. Раньше не нужно — вовремя нужно, к сроку.

С в е т г а с н е т.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРИМЕРКА

Приемная и кабинет председателя райисполкома. В приемной женщина средних лет — секретарь Ш а р и ф а. Звонит телефон. Она берет трубку.

Ш а р и ф а (*смотрит на часы*). Будет через пятнадцать минут... Ветеран войны, совсем старый... тут, в нашем районе... тяжело заболел, он и хотел зайти, навестить его. Если очень срочно, могу дать телефон. Хорошо. (*Кладет трубку. Снова звонит телефон.*) Скоро будет. Оставьте ваш телефон. Сами позвоним. Почему — неудобно? Наоборот, так гораздо удобней. Как хотите. (*Снова звонит телефон.*) Да, да. Райисполком. Приемная. Если дело срочное — в любое время. (*Снова звонок.*) Слушаю. (*Записывает.*) «К четырем, в горком». К кому? Поняла.

Так же, как и в ателье, грустно быют часы.

Ш а р и ф а (*смотрит на часы, потом на дверь*). Девять часов.

Входит М а х м у т. Он чем-то расстроен. Хорошо одет. Вероятно, потому выглядит значительно солидней. На груди — депутатский значок. Снимает кепку, кладет на шкаф.

М а х м у т. Здравствуй, Шарифа!

Ш а р и ф а. Доброе утро, Махмут-агай.

М а х м у т. Какие новости?

Ш а р и ф а. В два часа ночи в трамвайном парке был пожар.

Махмут. Знаю. Заезжал.

Шарифа. К четырем часам в горком партии.

Махмут. Понятно. Еще?

Шарифа. Пока больше ничего. Как у Мухамедьярова дела, Махмут-агай?

Махмут. Неважные. Как бы он совсем от нас...

Шарифа. Да-а, болезнь никого не щадит.

Махмут. Шарифа, ты меня на полчаса освободишь? Срочные бумаги есть, надо посмотреть.

Шарифа. Хорошо.

Махмут *(идет к себе, на пороге оборачивается)*. Позвони архитекторам, пусть не к пяти приходят, а к шести. Директору школы Бураншину — к семи.

Шарифа. Скажу.

Махмут через кабинет проходит в дальнюю комнату. В приемной осторожно стучат, в приоткрытой двери появляется Инсаф.

Инсаф. Разрешите?

Шарифа. Пожалуйста.

Инсаф. Спасибо. Мы вдвоем.

Шарифа. Пожалуйста, вдвоем.

Входят Инсаф и Мадина. Часы бьют четверть.

Мадина. Все тот же бой часов... *(Удивленно и немало растерянно смотрит по сторонам.)*

Инсаф. Извините, а мы туда попали?

Шарифа. Смотря куда путь держали.

Инсаф. Здравствуйте. Мы к Махмуту Ильясовичу Юлбердину.

Шарифа. Вы разве табличку на двери не заметили?

Инсаф. Не посмотрели. Беда голову пригнула.

Шарифа. Да, радостью поделиться сюда редко приходят... Садитесь. Придется подождать.

Мадина. Лишь бы не впустую... А так нам только ждать и остается.

Шарифа. Если дело правое, просьба справедливая — впустую не будет.

Мадина. Слышали, чуткий очень, внимательный, вот и пришли.

Инсаф. Просьба, она просьба и есть. Просить, ханум, всегда несладко.

Мадина *(сама с собой)*. Странно... Даже отчество совпадает. *(Громко.)* Один Махмут Юлбердин всю жизнь нитку в иглку вдевает, другой Махмут Юлбердин судь-

бы решает. (*Шарифе.*) У нас один знакомый портной есть, тоже Махмутом Юлбердином зовут.

Ш а р и ф а (*с еле заметной улыбкой*). Есть, говорят, такой портной.

И н с а ф. Очень хороший мастер. Двадцать пять лет назад он мне костюм на свадьбу сшил. Рука у него легкой оказалась. Счастливо прожили. Новая одежда или счастье приносит...

М а д и н а (*с легким раздражением*)... или счастье уносит.

И н с а ф. Правда ваша. И на серебряную нашу свадьбу шить начал.

Ш а р и ф а (*настораживается*). Где шить начал? (*Сама с собой, недоуменно.*) Что он, совсем... уже здесь начал шить?

И н с а ф. В ателье «Дятел».

Ш а р и ф а. Почему же тогда в ателье не пошли?

И н с а ф. Ходили. Уже два раза ходили. Скоро будет готово.

М а д и н а. Инсаф Мисбахович! Оставь ты портного в покое, ему свое место.

И н с а ф. Да-да, правда ваша.

Звонит телефон, Шарифа берет трубку.

Ш а р и ф а (*смотрит на часы*). Пожалуйста, позвоните через пятнадцать минут. Передам... Есть, двое... (*Кладет трубку.*)

М а д и н а. Давно работает?

Ш а р и ф а. Кто? Портной? Не знаю.

М а д и н а. Юлбердин. (*Показывает на дверь с табличкой «Председатель».*) Он.

Ш а р и ф а. Председателем пять лет. До этого заместителем был. (*Показывает на наружную дверь.*) Семь лет в эту дверь ходит. А вы разве не в нашем районе живете?

И н с а ф. Мы в Средней Азии жили. Только год как вернулись.

М а д и н а. Пока беда не грянула, так и начальство не нужно было.

Ш а р и ф а (*уяснила ситуацию*). Заместитель тоже очень внимательный, очень отзывчивый человек. Только сегодня из дома отдыха вернулся. Завтра с хорошим настроением за работу возьмется.

И н с а ф. После отдыха человек себя отдохнувшим чувствует.

Ш а р и ф а. Может, ваше дело заместитель решит? Завтра с утра вас первыми и примет.

М а д и н а. Спасибо, ханум. Только нам к самому нужно попасть. Вы уж нас от порога назад не заворачивайте.

И н с а ф. Да-да, пожалуйста. Дело у нас большое, его только большой человек может решить. Да и не с просьбой пришли...

Ш а р и ф а. За советом?

М а д и н а. Э, ханум! Не такие нынче времена, чтобы за пустым советом ходить, людей беспокоить.

Ш а р и ф а. Что-то я не поняла.

М а д и н а. Пусть совет и старичок-пенсионер задарма даст, а нам поддержка нужна. Защита. Несчастье у нас. Сколько лет жили, беды не знали... (*Достает платок.*)

И н с а ф. Да. Ваша правда.

В кабинете появляется Махмут. Звонит. Входит Шарифа.

М а д и н а (*показывает на дверь*). Туда войдем, ты свое «да-да» и «правда ваша» забудь, почаще «нет» говори.

И н с а ф. Да-да... ладно.

М а д и н а. Что-то не по себе мне.

И н с а ф. Да-да. Сколько дней — ни сна, ни покоя...

Шарифа выходит из кабинета.

Ш а р и ф а. Войдите. Он ждет.

Входят. Махмут стоит возле стола.

М а д и н а. Здравствуйте, Махмут Ильяс... Ильясович... Махмут Ильясович!

М а х м у т. Здравствуйте.

Мадина деревянно протягивает руку. Здоровается. Такими же деревянными шагами идет к креслу, садится, сидит прямо, будто аршин проглотила.

М а х м у т (*растерян*). Простите. Я вас никак здесь не ожидал. Извините... Шарифа намекала на что-то, но я не понял. Растерялся даже вот...

И н с а ф. И мы растерялись. Неудобно получилось. Замзагуль тоже на какую-то другую вашу должность намекала. Оказывается... Кто бы мог подумать... |

М а д и н а. Комедия... Зачем ты эту комедию играешь, Махмут?

Махмут. Я не играю. Я живу.

Мадина. Кто же ты, кем ты живешь?

Махмут. Самим собой.

Мадина. Нет, Махмут, даже у той одежды, которую ты шьешь, одна сторона — лицевая, другая — изнанка. А у тебя? Где лицо и где изнанка?

Махмут. Я ведь не одежда, я человек.

Инсаф. Авторитетный человек.

Мадина. Кто ты — районный руководитель или портной?

Махмут. Оба — я.

Мадина. А который же настоящий?

Махмут. Я сам настоящий.

Мадина. Так не бывает! Не бывает так! Мы тоже немного пожили, что к чему — знаем. Ты или по юродству, или по умыслу все это вытворяешь.

Махмут. По какому умыслу?

Мадина. По такому! Таких же, как ты сам, пристыдить хочешь. попрекнуть: дескать, вы такие, а я такой. Я прост, я доступен, я демократичен.

Инсаф. Спорить пристало людям равного положения, Мадина-ханум.

Мадина. Кому она нужна, твоя простота? Те, кто знает, отворачиваются, наверное, и прыскают со смеха.

Махмут (*просто*). Смеются. Смеются над Пешим Махмутом — кто просто тешится, а кто и пыжится.

Мадина. А может?.. Даже язык не поворачивается спросить.

Махмут. Коли подумала, спроси.

Мадина. Может, говорю, оттого портняжить не бросаешь, что нужда поджигает?

Махмут. И не без этого. Семь ложек враз поднимаем. А тут какое-никакое — тоже подспорье.

Мадина. Коли правда — вот это уже настоящее юродство! Весь район под тобой, а у тебя другого пути нет, чтобы накормить семью? Другого способа?

Махмут (*резко*). Какого пути? Какого способа?

Мадина. Разве нет?

Махмут. Нет! Хоть и во главе района — имений да угодий у меня нет, крепостных — тоже нет. Вернее, не я во главе района, а район (*хлопает себя по темени*) у меня на голове. Он мне хозяин.

Мадина. И такие слова мы тоже давно знаем.

Махмут (*с болью*). Нет! Не знаете! Если бы знали,

над моим ремеслом, над моей честной работой, над моей святой верой, может, и не насмехались бы. Вы — которые давно и все знают! Если начальник наверху сидит и вниз не спускается, шепчетесь язвительно: «От народа оторвался», «Зазнался», «Занесся». А спустился он, пешком начал ходить, вы уже хихикаете: «Ломается», «В демократию играет». Хитрость здесь какую-то видите, умысл ищете. Но хуже всего не это. Хуже всего — когда вы тем, что он пешком ходит, с народом близок, начинаете восхищаться, чуть не в праведники его возводите. А что человек может вести себя просто по-человечески, вы и представить не можете. Вы — которые давно все слышали и давно все знаете! Вот ваш суд.

И н с а ф. Правда ваша. Судить легко.

М а х м у т. Кому легко, кому трудно. Суд суду рознь.

При слове «суд» Мадина и Инсаф тревожно переглядываются.

И н с а ф (*потерянно*). Правда ваша... (*Вспомнил.*) Нет...

Пауза. Мадина обходит кабинет, проводит рукой по столу, стульям, по макету района, стоящему поодаль.

М а д и н а. Прости, Махмут, наверное, я просто не хочу понять по-другому... Вот такое твое положение, такой кабинет, такой стол, такие вот стулья, диваны, эти все телефоны — и были моей мечтой. А ты всем будто пренебрегаешь, в старое свое ремесло вцепился. Будто волчонок. Его в теплую шапку положили, а он все в свой лес смотрит. Обидно мне, словно ты над моей мечтой издеваешься.

И н с а ф. Так ведь и волчонок, наверное, не зря в свой лес смотрит. Тянется душа на волю.

М а х м у т (*без иронии*). Правда ваша. Нет воли слаще, чем любимая работа.

М а д и н а. И это слова, красивые слова...

М а х м у т (*неожиданно мягко*). Действительно, сколько сразу всяких слов наговорили. Давайте уж без обиды.

И н с а ф. Объясниться не грех.

М а х м у т. Что ж, добро пожаловать! На этот раз, кажется, не на примерку пришли?

И н с а ф. Нет-нет.

М а д и н а. Мы ведь, Махмут, не к тебе, мы к председателю райисполкома пришли.

И н с а ф. Чуткий, сказали, товарищ, отзывчивый...

М а д и н а. Знать бы, что это ты, может, и не пришли бы. Постеснялись бы.

М а х м у т. В этом районе другого председателя покуда нет. Присядем, пожалуй. В таких случаях древние сначала садились и, богу помолившись, о здоровье, о житье-бытье расспрашивали. А мы?.. Словно через двадцать пять лет и спросить не о чем.

Садятся. Распахивается окно. Врывается шум все той же свадьбы. Крики:

— Горько!

— Горько!

— Целуйтесь!

— Целуйтесь!

Звон бьющейся посуды.

Г о л о с. «Волгу» с дачей, ай да брат,
В жены взял Абдулмурат.
Эх, да с нынешнего дня
Все начальство нам родня!
Денежки заплачены!..

Г о л о в а (*поюще*). Дурак! Двоеженец, что ли, он? (*В окно.*) Извините. Тысячу извинений! (*Поюще.*) Чтоб ты подавился! Чтоб ты лопнул! Хам! Нахал! Невежа! Двадцать пять лет борюсь с ним, одолеть не могу. Пакостник! Я ему не брат и не сват, только, как говорится, сотрапезник. Из одного, так сказать, котла едим. Бросил бы его, чтоб ему пусто было, но котла бросить не могу! На этот раз ваше окно поплотней закрою. Ни ветер, ни сам черт не откроет. Приношу свое тысячу первое извинение. Надеюсь, вы оцените мою воспитанность. (*Закрывает окно.*)

П а у з а.

М а д и н а. Нас в этот кабинет беда привела. Извини, внезапная встреча рассудка лишила, весь ум отбила. Сорвалась я. Сама не знала, что говорила.

М а х м у т. Да и я большого гостеприимства не оказал.

М а д и н а. В надежде на защиту и милосердие пришли мы сюда.

И н с а ф. Судьба наша — в ваших руках.

М а х м у т. От несправедливости защитить я готов. Но так легко свою судьбу в мои руки отдавать не спешите.

И н с а ф. Так уж говорится.

Махмут. Я вас внимательно слушаю, Мадина Даяновна... Инсаф Мисбахович...

Мадина. И отчества моего не забыл.

Махмут. И отчества не забыл. (*Инсафу.*) Слушаю.

Инсаф. Беда—со мной.

Махмут. Тогда вам и слово.

Инсаф. Начну немного издалека.

Махмут. Как удобно, так и начинайте.

Инсаф. Спасибо. Как мы с Мадиной-ханум из дальних краев вернулись, начал я работать на заводе товарища Ялаева главным бухгалтером.

Махмут (*настораживается*). Завод Ялаева?.. Разве такой заводчик есть?

Инсаф. Так уж в народе говорят. Наступил конец квартала. Вызвал меня Ялаев и ткнул пальцем в отчет: «Вот сюда... и вот сюда надо две маленькие цифры вписать».

Мадина (*вспышка раздражения*). Ты, конечно, тут же «правда ваша» сказал.

Инсаф. Нет, я сказал «нет». Наотрез. Поначалу... «Чего-о?!» — заорал тот, я думал, оба глаза у него выкатятся. «Ты чего,— говорит,— до сих пор костышками в божьей конторе щелкал? Сколько раз ангелы поцеловались, на баланс брал, дебет-кредит выводил? — говорит.— Никогда ни одной цифре в конце квартала хвост да гриву не наставлял?» Я возьми да и скажи: «На прежней работе всяко бывало, но как домой вернулся, зарекся, на родной земле клятву дал». Тот вдруг на уговоры перешел: «Я ведь вашу клятву и ваш зарок рабочим вместо премии раздать не могу, уважаемый Инсаф... как там... Мисбахович,— говорит.— Неужто вы такой бездушный, я бы даже сказал, безжалостный человек? Вы же тысячу людей премии лишаете, рабочий народ по натруженным рукам бьете, куса его лишаете. Впрочем,— говорит,— что вам, пришлому, честь завода, интересы рабочего класса — есть ли они, нет ли их...» Нехорошо так посмотрел на меня. Я вконец растерялся, взял карандаш. Взял и две цифры, какие он сказал, своей рукой и вписал. А там и полугодие завершилось, и уже годовой отчет подошел. Сколько директор скажет, столько я и приписывал... Я всегда перед начальством теряюсь. Даже на собраниях выйду на трибуну, а стоять спиной к началству стесняюсь. Так боком и держу речь. «В зал гово-

ри!» — кричат из зала. А что он, зал? Покричит и затихнет...

М а д и н а. Как ты на трибуне стоишь, нужно ли здесь?

И н с а ф. Правда ваша.

М а х м у т. Опять «правда ваша»?

И н с а ф. Да-да, правда...

М а х м у т (*внезапно вспыхнув*). «Правда ваша», «Правда ваша», «Правда ваша»! Откуда это бесконечное «правда ваша»? А ваша-то, ваша правда где? Может, вы, Инсаф Мисбахович, так с «Правдой вашей» и родились? Или уже потом таким выросли?

И н с а ф. Я-то?

М а х м у т. Вы.

И н с а ф. Каким я родился, товарищ Юлбердин, я не помню, а вот что рос мальчиком смышленным, живым, как говорится, крепкоголовым — помню хорошо. Как вспомню — плакать хочется.

М а д и н а. Только и осталось в воспоминания пуститься...

И н с а ф. Я, Мадина-ханум, на вопрос отвечаю.

М а д и н а. Других вопросов полно, на них тоже придется ответить.

И н с а ф. Пусть. Какой вопрос раньше задан, на тот прежде и отвечать нужно.

М а д и н а. Инсаф Мисбахович, удивляешь ты меня...

И н с а ф. Спасибо, что спросили, товарищ Юлбердин. Говорят, в кои-то веки и незаряженное ружье выстрелит. Расскажу.

М а д и н а. Инсаф!

И н с а ф. Но однажды, там, где другой бы согнулся и потом выпрямился, я сломался. С хрустом переломился. Видать, из твердой породы был. Сломался, товарищ Юлбердин. В «Правду вашу» превратился.

М а х м у т. Кто сломал? Когда?

И н с а ф. На этот ваш вопрос мой ответ будет долгим.

М а д и н а. Инсаф! (*Кивает на Махмута.*) Время ведь не только наше.

М а х м у т. Время — ваше. Рассказывайте.

И н с а ф. Давно это было. Я тогда учился в пятом классе. Готовили нас приветствовать передовиков района. Я должен был подойти к краю сцены и крикнуть в зал всего четыре слова: «Мы пойдем дорогой отцов!». «Не пойду и не скажу!» — отказался я наотрез. Тут целая

буря поднялась. Вожатая к классной руководительнице побежала, классная руководительница — к завучу, завуч — к директору. Сняли с меня стружки, сколько положено, и, наконец, уже всего обструганного, перед директором поставили. И уговаривал, и угрожал директор. Я крепко на своем стоял: «Нет, не пойду! Нет, не скажу!» — твердил я. «Тогда сейчас же вызовем твоего отца», — сказал директор. У меня дыхание перехватило, голова закружилась. «Пойду, скажу...» — прошептал я. «Вот и хорошо, и всегда таким послушным, таким покладистым будь», — похвалил меня директор и по спине хлопнул. Жесткая была рука, увесистая. А на слете я вышел и четко, отрывисто крикнул: «Мы пойдем дорогой отцов!» Крикнул, убежал за кулисы и так там плакал, по полу катался! Как раз тогда моего отца за кражу государственного имущества на четыре года посадили в тюрьму. С тех пор на собраниях стал я говорить готовыми словами и «Правду вашу» прибавлять. Даже на собраниях начинаю с того, что к предыдущему оратору присоединяюсь. Вот какой я человек. Сумел объяснить?

Пауза. Тем временем Мадина несколько раз открывает и закрывает сумку, что-то ищет.

Махмут. Объяснить сумели. Если я вас правильно понял...

Инсиф. Пожалуйста, поймите...

Махмут. Если я правильно понял, вы вину свою признали...

Инсиф. Вину мою и без меня уже признали. Суда ждем.

Махмут. Кто признал?

Инсиф. Комиссия. Специальная комиссия.

Мадина. Может, еще не поздно?

Махмут. Поздно. Комиссию на завод я послал. Сигналы были.

Растерянность. Пауза.

Мадина. Ты. Опять ты. Всюду ты! Что за чертов круг. Куда ни ткнемся — ты. Нет, нет! Не чертов круг. Это жизнь так кругами идет. Сама нас к тебе, к защитнику, к спасителю, привела. Спаси, защити, Махмут! Все в твоих руках. Отпусти грехи, отведи беду!

Махмут. Тут не беда, Мадина, тут преступление.

Мадина. Все равно спаси! В твоей воле, в твоих руках!

Махмут. Не моли так, Мадина. Ты меня знаешь. Я не изменился.

Мадина. Пусть! Пусть не изменился, все равно молю!

Махмут. Простите, я вам голую правду скажу, без прикрас: взять Мисбахова под защиту — бесчестно и несправедливо. Несправедливо и бесчестно. Его судьба не в моих руках, а в руках закона.

Мадина. Честь... справедливость... закон... И чего вы, такие насквозь справедливые, этой самой честью весь мир пугаете, в страхе держите? Ею, как пенсионер палкой, грозитесь, грозитесь, грозитесь... А мы кто? Людей грабим, чужое отнимаем? Дармоеды мы, захребетники? Мы — общественность. Никому не угрожаем, никого не объедаем, живем, как время велит, как нужда подскажет. Мы — большинство. А вы большинством править хотите... Приписка, видите ли! Золотые горы он себе приписал! Зарок свой забыл, клятву свою преступил, для народа старался. Ради завода! Ради коллектива!

Махмут. Весьма ты пламенно выступила, Мадина.

Мадина. Пускай! Не только вы, мы тоже лозунги кричать умеем.

Инсаф. От пустого крика и горло надсадить можно.

Мадина. Этим пустым криком кое-кто всю жизнь кормится.

Инсаф. Политики касаться не будем, Мадина-ханум, не нашего это ума дело.

Махмут. Сидел я, слушал тебя, Мадина, самый виноватый-то здесь, никак, я оказался?

Мадина. И ты виноват! Они все под твоей рукой (*показывает на Инсафа*). И Ялаев под твоей рукой.

Махмут. И все же их греха на себя не возьму. Хотя, кажется, от наказания и мне кусок отвалят.

Мадина. Как отвалят? Морально? На вид поставят или выговор вынесут? По мне если, так пусть хоть сотню вынесут.

Махмут. А по мне — и одного много. У меня, Мадина, пятеро детей. Я им в глаза прямо должен смотреть — каждый день, каждый час.

Мадина. Детей-то разве пятеро только?

Махмут. По нынешним временам и того немало.

Мадина. На одного меньше посчитал, Махмут.

Махмут. Как это?

Мадина. Так вот. На одного меньше...

И н с а ф *(вскакивает, пытается остановить ее)*. Мадина-ханум!

М а д и н а. Молчи, Инсаф! Ты ничего не знаешь. Ты ему тут про свою жизнь...

И н с а ф. Я знаю. Я его в прошлый раз узнал.

М а д и н а *(изумленно смотрит на него, потом резко поворачивается к Махмуту)*. Так вот, если шестой твой ребенок, глядя тебе в глаза, молить будет? Если он потребует?

М а х м у т. Кто потребует? Чего?

М а д и н а. Если шестой ребенок прощения, защиты, спасения попросит?

М а х м у т. О чем ты говоришь, Мадина?!

М а д и н а. Вот там в углу *(показывает на Инсафа)* один смирный, терпеливый, покладистый человек сидит. Инсаф Мисбахович Мисбахов это. Он, этот человек, твоему сыну, который у меня в чреве был, стал отцом. Даже чей он, не спросил, своим назвал. Любил, заботился, растил, человеком сделал.

М а х м у т. Где он?

М а д и н а. Далеко. *(Достает из сумочки две фотографии.)* Вот. Взгляни. На одной — ты в молодости, на другой — твой взрослый сын. Такой же, как ты, кудрявый, с ясными синими глазами. Красивый и даже умный. Ну, который кто — различишь? Порой я сама сразу различить не могу.

М а х м у т *(берет обе фотографии, застывает пораженный)*. Что за наваждение...

М а д и н а. Сумасбродная женщина я, двадцать пять лет твою карточку при себе носила. От Инсафа даже не прятала. Двадцать пять лет эти твои глаза и преследовали, и защищали меня. Покоя лишали, совесть мучили. Изорвать бы и выбросить — не изорвала, не выбросила. Хотя бы один раз Инсаф закричал: «Забудь!» Хотя бы один раз ногой топнул. Не закричал и не топнул. Вот и вышло все, как в тяжелом сне. В жизни не подумала бы, что когда-нибудь эти карточки покажу тебе. Никогда в жизни...

М а х м у т. Выходит, ты у меня не только себя отняла, но и сына.

М а д и н а. Да, отняла... А ты, почему ты отпустил меня? Почему не уговорил? Почему не приказал? Не отругал? Не избил, наконец. Ты же боксер был... Может, покуда на ноги вставала, и одумалась бы. Что-нибудь

другое забрело бы в голову. Зачем ты отпустил нас? Зачем не удержал?

Махмут. Не умел... не сумел...

Мадина. Почему отпустил? Почему рядом с трамваем семенил? Почему вперед не забежал и поперек рельсов не лег?.. А после, почему после не искал меня? Я же тебе нужна была. Ты без меня жить не мог!

Махмут. Я тебе не был нужен...

Мадина. Разве мы, глупые женщины, знаем, что нам нужно? Только во мне одной десять женщин живут и меж собой грызутся. Поди — узнай, которой что нужно. Хоть бы один из вас взял этих десять и твердой рукой в один ком, в одну плоть, в одну душу сжал и слепил. Бог женщину ниткой сотворил, а мужчина ее в клубок смотать должен. Ушла я от тебя, Махмут, и не каялась. Не каялась, но мучилась. Всего лишь мучилась. Не каялась. Если бы я тогда не ушла, ты потом, может, сам меня бросил бы. Вижу, оба мы не изменились.

Махмут. Я ждал тебя. Долго ждал... *(Показывает на фотографию.)* Как зовут?

Мадина. Максут.

Махмут. Максут Махмутович...

Инсаф. Извините, Инсафович... Максут Инсафович.

Махмут. Наверное... пожалуй, что так.

Мадина. Вот ради него, ради своего сына, ради Максута, ты Инсафа Мисбаховича Мисбахова должен спасти от беды.

Махмут *(не может оторваться от фотографии)*. А я тебя, Максут, еще даже не видел. Вот сейчас поставим тебя посредине и начнется торг. Будь ты Максутом Махмутовичем, как бы ты к этому отнесся?

Инсаф *(срывается с места и останавливается)*. Нет, товарищ Юлбердин. Мой сын Максут никогда Махмутовичем не будет. Нет у меня сына, чтобы с кем-то поделиться. *(Забирает карточку из рук Махмута.)* Максут Инсафович Мисбахов, да, Максут Инсафович Мисбахов себя товаром в купле-продаже выставлять не позволит. И я не позволю! Ребенка не троньте! Да вы что, люди! Чтобы я... это же все равно, что срам свой кораном прикрывать. Думаете, мягкий да покладистый, так, значит, и вовсе честь потерял? Должен ведь когда-нибудь человек с самого себя спросить, по всей строгости... совести, хотя бы. Вот я и спрашиваю. Сам себя к ответу призываю. На собственный суд и расправу.

М а д и н а *(мягко)*. Подожди, подожди, Инсаф.

И н с а ф. Не подожду. Я себя не за приписки — это дело закона, я себя за трусость, за безволие, за соглашательство, за «правду вашу» на суд тяну. Позорный приговор выношу. *(Чуть спокойнее.)* Да и приписок в моей жизни было немало. Одна сережка у тебя в ушах, Мадина-ханум, настоящая, а другая — приписка. Одно колечко на пальцах у тебя настоящее, а другое — приписка. У меня на одной ноге ботинок настоящий, на другой — приписка. На одно честное слово — одно бесчестное. *(С усмешкой.)* Баш на баш... Товарищ Юлбердин!

М а х м у т *(вскидывает голову)*. А?

И н с а ф. До сих пор я для вас не существовал. Пускай и впредь так же останется. Считайте, что мы к вам не приходили. Весь свой век меж правдой и ложью живу, устал я. Очень устал. Зря мы вам про своего сына сказали, только душу вам смутили. Простите, неудобно получилось.

М а х м у т. Да, неожиданно получилось. Если я очень попрошу...

И н с а ф. И без просьбы понимаю. Пожалуйста. *(Отдает ему карточку Максута)*. Мой единственный сын — кровь ваша, но душа моя. Единственная моя на свете опора...

М а х м у т. Спасибо. *(Свою карточку машинально протягивает Мадине.)*

М а д и н а. Пусть и эта у тебя остается.

И н с а ф. Ладно... прощаемся.

М а х м у т. Ваше дело, Инсаф Мисбахович, я тщательно, со всем вниманием...

И н с а ф. Не беспокойтесь. Был грех, пусть и кара будет.

М а д и н а *(долго стоит неподвижно)*. На этом все. Ни встреч, ни расставаний больше не будет. Ну, простимся, Пеший Махмут! Пеший... конный Махмут... Так ты на аргамака своего и не сел, так и водишь в поводу... *(Делает к нему шаг, но резко поворачивается, идет к выходу.)*

И н с а ф *(подходит к Махмуту, кланяется)*. Мы с вами, товарищ Юлбердин, выходим, не встречались, только лишь расстались. Будьте здоровы.

С в е т г а с н е т.

РАСЧЕТ И ЧАЕВЫЕ

Ателье «Дятел». Вечер. В кресле сидит Махмут — то ли задремал, то ли задумался. На шее у него, как обычно, висит сантиметр. Нет, не задремал — думает.

Махмут. Уходя, Мисбахов прощения попросил. Наверное, говорит, душу вам смутили... Сколько лет сердце ныло. Тоске этой вот кто, значит, причиной был. (*Достает из нагрудного кармана фотографию.*) А теперь этой боли вовсе конца не будет. Но все же есть на белом свете еще один мой человек. Не-ет, я не потерял, я нашел. Он же есть! Дышит, живет... (*Вздыхает*). А вот про меня... что на свете живу, дышу — он не узнает никогда. Они не скажут... мы не скажем.

Тихо стучат в дверь. Махмут не слышит. Как и давеча, бьют часы. Снова стук в дверь,

Махмут. Войдите!

Входит Парень, который приходил в первом действии.

Парень. Можно?

Махмут. Можно, коли вошли уже.

Парень. Спасибо.

Махмут. С кем имею честь?

Парень. Если забыли, то и напоминать стыдно.

Махмут (*приглядывается*). Стакан нужен?

Парень. Не-ет...

Махмут. А что нужно?

Парень. Прощение нужно, отец. И еще благословение...

Махмут. Я не святой отец — грехи отпускать и благословение раздавать. Я портной.

Парень. Это я знаю... да ведь... Обидел я вас тогда. Рисовался — удалой, дескать, лихой парень. «Папаша, мамзель»... Своего ума нет, так и занял не там. За науку спасибо, отец. На пользу пошло.

Махмут. А хватило?

Парень. Хватило. В самый раз.

Махмут. Так в чем же дело?

Парень. Сказать прямо, я, отец, на большую стройку еду. Вчера вечером сюда приходил, в окнах было темно. Через два дня уезжаю.

Махмут. Поезжай. Это хорошо.

Парень. Мне так просто уезжать нельзя. Я ведь не за длинным рублем... я туда человеком стать еду.

Махмут. А это — совсем хорошо.

Парень. Да нет, пока не очень. Ваше прощение нужно. Я всех, кого обидел, одного за другим обошел. Шестеро простили, один прогнал, один в командировке. Теперь вот к вам пришел. С головой, кругом виноватой, в такой дальний путь выходить нельзя. Простите меня, а?

Махмут. Ты, брат, всерьез это говоришь? Или только придуриваешься?

Парень. Всерьез говорю, отец. Очень даже всерьез. Мне, прежде чем на новую дорогу выйти, хорошенько очиститься нужно. Я и зеленому змию голову свернул. Честное слово!

Махмут (*улыбается*). Ну, человека с такими благими намерениями не благословить нельзя.

Парень. А вы без смеха благословляйте. По-настоящему, от души...

Махмут. Зовут-то как?

Парень. Робеспьер.

Махмут. Робеспьер?

Парень. Мой отец во Франции воевал, в партизанах. В семьдесят пятом умер. Осколок до сердца дошел...

Махмут. А мой отец в Венгрии похоронен. Я туда в шестьдесят первом году ездил, могиле его поклонился... На озере Балатон, на высоком берегу лежит. За могилой смотрят — все время в цветах.

Парень. Чтят, значит...

Махмут. В таком разе оба мы с тобой солдатские сыновья — ты и я.

Парень. Солдатские сыновья, отец!

Махмут. Тогда вот что: нам с прощениями и благословениями возиться не с руки. Надо только свои обещания, данную нами клятву по-солдатски твердо, как отцы наши, держать. Вот и у самого давеча «честное слово» выскочило.

Парень. Правильно выскочило.

Махмут (*протягивает руку*). Твердо?

Парень. Твердо, отец, твердо! Честное слово, твердо!

Махмут. Ну, счастливого тебе пути.

Парень. Спасибо, отец! Твердо!

Махмут. Счастливо.

Парень (*останавливается на пороге, начинает что-то вытаскивать из кармана*). Чуть не забыл. Возьми, отец.

Махмут. Что это?

Парень. Стакан. Нанесенный мною материальный ущерб возмещаю.

Махмут. Что ж, и это хорошо. Ну, удачи тебе, Робеспьер! Робеспьер...

Парень. Робеспьер Туктамышев. *(Выходит.)*

Махмут. Кого только на этом свете нет... Даже Робеспьер Туктамышев есть. А ведь неплохо звучит — Робеспьер Туктамышев...

Махмут уходит в другую комнату, в глубь сцены. Некоторое время сцена пуста. Вбегает Замзагуль.

Замзагуль. Уф! Со стыда умру! Кто бы мог подумать, что до такого часа доживу! Кто бы мог подумать! С высокой башни искусства — уже все, думала, уже все, уже залезла! — и вдруг прямо вниз полетела. Сломались крылья моего таланта. Оба крыла сразу, под самый корень. *(Манекеним.)* На вас глядя, мечтала, на вас глядя, с ума сходила. А вы обманули меня... Может, вы совсем не из того божественного рода, не из той небесной породы — притворяетесь только? Может, вам только кажется, что вы из другого, из волшебного мира сюда явились — сами себя обманываете? Только понарошку живете... Бедные вы мои! Есть среди вас хоть одна счастливая душа? Хоть одна? Чио-Чио-сан, может, ты счастлива? Или ты, Кармен? Или ты, Дездемона? О твоём счастье, Дон-Жуан, и говорить не стоит, а не то я бы сказала! А ты, дедушка Ажмагул, ходишь, придуриваешься, вот и вся твоя радость. А ты, наш дикий предок? Может, хоть ты был счастлив, а?.. Мечты погасли, надежды разбиты. *(Сдирает одежду с манекенов, раздевает одного за другим.)* Все, кончилась игра! Начинается работа! Работа! Завтра же я вас по-человечески одену. И тебя! И тебя! И тебя! *(Останавливается перед Первым Портным.)* А тебя — не трону. Так и стой, людям в укор. Ты никого не обманывал. Потому что не играл. *(Срывает с Дон-Жуана шляпу и плащ.)* Не лицедействовал.

Входит Махмут, смотрит в удивлении.

Махмут. Это что еще за ночной стриптиз?

Замзагуль. А?.. Что, агай?

Махмут. Зачем их раздела, говорю?

Замзагуль *(кладет голову ему на грудь и плачет)*. Пропала головушка, Махмут-агай! Все пропало! Кончи-

лась игра. Погасли мечты. Погасла рампа. Сегодня я с самой высокой, самой святой из всех башен — с башни искусства вверх тормашками полетела.

Махмут. А высоко ли взобралась?

Замзагуль. Очень высоко.

Махмут. Голова закружилась?

Замзагуль. Нет, не закружилась. Косоглазый Байтура столкнул. Взащей меня выгнал. «Чтоб,— говорит,— духу твоего больше в театре не было! Вместо того,— говорит,— чтобы, как у автора, по написанному играть, ты все по-своему выворачиваешь, отсебятину несешь. Если,— говорит,— такая умная, садись и сама пьесу пиши». Еще и крикнул вслед: «Ты лучше свое портняжье дело знай!»

Махмут. Ты, Замзагуль, будешь артисткой. Настоящей артисткой.

Замзагуль. Да-а... это вы, чтобы утешить, говорите...

Махмут. Я знаю, что говорю.

Замзагуль. Откуда знаете?

Махмут. Бес в тебе сидит. Бесенок лицедействия. Наплевать нам на этого косоглазого Байтуру.

Замзагуль. На него плевать нельзя, он режиссер!

Махмут. Тогда мы ни на кого плевать не будем, а возьму я тебя за руку и в институт искусств, прямо к Загиру Исмагилову отведу.

Замзагуль. Ой, Махмут-агай! Ведь крылья моего таланта с треском сломались, под самый корень! Я решила — с завтрашнего дня швейному делу начну учиться...

Махмут. Сломанное — заживет.

Замзагуль. Правда, Махмут-агай?

Махмут. Заживет. А толковой портнихи из тебя все равно не получится. Портной — это тебе не артист, это — художник!

Замзагуль. Голова кругом! Режиссер гонит: «В портнихи иди». Портной говорит: «Артисткой будешь». Куда мне теперь податься? Ведь мне уже восемнадцать лет. Восемнадцать! Даже немножко девятнадцатый...

Махмут. А моему старшему сыну — двадцать четыре. Скоро двадцать пять будет. Он далеко. Геолог. Золото ищет.

З а м з а г у л ь. Находит?

М а х м у т. Уж коли ищет, конечно, находит. Вот карточка.

З а м з а г у л ь (*берет фотографию*). Ой, какой красивый! Почти как Абдулхак!

М а х м у т. На меня похож. Такой же кудрявый.

З а м з а г у л ь (*прыскает со смеху*). Тоже скажете! Такой тут один кудрявый!..

М а х м у т (*сухо*). В молодости, имеется в виду.

З а м з а г у л ь. А-а, в молодости. Тот дядя... Мисбахов тоже от меня кудрявого портного требовал — вынь да положь. Оказалось, он вас молодого искал.

М а х м у т (*вспомнил*). Мисбахов... (*Смотрит на часы*.) Видно, сегодня уже не придет... И костюм его я куда-то повесил, никак найти не могу.

З а м з а г у л ь. Он больше не придет.

М а х м у т. Как? А костюм?

З а м з а г у л ь. Еще вчера днем забрали.

М а х м у т. Недошитый костюм?

З а м з а г у л ь. Как есть, недошитый. Оказывается, им вдруг уезжать нужно, далеко куда-то.

М а х м у т. Кто приходил?

З а м з а г у л ь. Жена его. Чем-то очень расстроена была.

М а х м у т. Ничего не сказала?

З а м з а г у л ь. Сказала. (*Из ящика стола достает конверт*.) Вот, шестьдесят рублей денег оставила. И сказала: «Сорок пять рублей за работу, а пятнадцать — портному». С нажимом так сказала: «портному».

Махмут застывает на месте.

Возьмите, Махмут-агай!.. Вот!..

М а х м у т. Ты пока их, Замзагуль, сунь обратно в конверт и положи в ящик стола. В какой-нибудь праздник мы на эти деньги, без остатка, шампанского накупим, такой пир на всех закатим, все ателье «Дятел» ходунот ходить будет...

З а м з а г у л ь. «Праздник», говорит, «пир закатим». А у самого оба глаза тоской полны... Не-ет, до праздников еще далеко.

М а х м у т. А мы, если затоскуем, Замзагуль, если занот сердце, невтерпеж станет, сами себе праздник придумаем. Без праздников жить нельзя. Нельзя без праздников, Замзагуль!

З а м з а г у л ь. А нельзя — так и не будем. Веселиться будем!

М а х м у т. Веселиться будем!

З а м з а г у л ь. И петь будем?

М а х м у т. И петь будем!

З а м з а г у л ь. И плясать будем?

М а х м у т. И плясать будем!.. Ноги от радости сами понесут. Вот так?!

Играет музыка. Они пляшут сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее.

З а м з а г у л ь. Вот так! Вот так!

М а х м у т. И вот так! И вот так!

З а м з а г у л ь. И вот так! И вот так!

Вместе с ними пускаются в пляс полуголые манекены. В окне появляется и застывает в изумлении Г о л о в а. Махмут и Замзагуль сквозь слезы смотрят друг на друга, смеются. Свет гаснет.

ОБ АВТОРЕ

В творчестве Мустая Карима, отмеченном жанровым многообразием, выделяется его автобиографическая повесть «Долгое-долгое детство». «Чистым, незапятнанным зеркалом человеческой души» назвала повесть народная поэтесса Чечено-Ингушетии Раиса Ахматова. Философская мудрость жизни, детская непосредственность и незащищенность удивительно лирично сочетаются в повести.

В детстве формируется человек. От первых впечатлений бытия исходит и чувство Родины. Пройдя сложными дорогами жизни, писатель, как и герой его повести, остался верен тем принципам, в которых воспитала его родная деревушка Кляшево. Все то, что она дала ему, герой взял с собой в большую жизнь, в творчество. С детских лет Мустай Карим впитал обычаи и обряды родного народа, и яркость, сочность фольклора трансформировали в его поэтической интонации, окрасили творчество этого самобытного писателя.

Первый сборник его стихотворений вышел в свет в 1938 году, когда поэту было всего 19 лет. «...Книгу, которую мы выпустили с Вали Нафиковым,— вспоминает Мустай Карим,— мы назвали «Отряд тронулся». Помыслы юных авторов были устремлены только вперед. Тогда мы еще не знали, что отряду, когда он трогается в путь, больше всего хочется оглянуться назад... Это мы узнали потом, потом пришла эта горькая и отрадная потребность — оглядываться назад. Потому, вероятно, что в воспоминаниях, как в дорогах, как в текущей воде,— очищение».

Мустай Карим многое видел и пережил: радость удач и боль утрат, счастье Дня Победы и трудное послевоенное время. «Я уйду на фронт» — одно из первых стихотворений военной лирики поэта, подкупающее искренностью, простотой, человечностью:

...я ухожу на фронт
За ту весну, что навсегда настанет,
За светлый сад, которым край наш станет,
За маленького сына моего...

На фронте он написал три книги стихов и поэм. Тогда же родился замысел поэмы «Черные воды». Человек, теряющий чувство Родины, обречен на гибель — такова была основная мысль поэмы, ставшей одним из значительных произведений о войне в советской литературе.

В послевоенные годы Мустай Карим выступает как активный борец за мир. В его поэтических циклах 50-х годов — «Европа — Азия», «Стихи о Вьетнаме» звучит голос гуманиста, борца за мир, голос человека, испытавшего на себе все ужасы войны. В этих стихах так же, как и в повести «Долгое-долгое детство», написанной гораздо позже, писатель отстаивает детскую чистоту и веру в жизнь и людей.

Философскими размышлениями, чувством нравственной взыскательности пронизана книга стихов «Четыре времени любви» (1980), где собрана любовная лирика поэта. К людям, способным делиться душевной теплотой, обращены строки стихотворения «Песнь мольбы»:

Любовь моя,— молю,— не покидай меня,
Сейчас ведь только лишь еще начало дня.

.

Закуковал простор. Летят с небес, легки,
Не то снежинки вниз, а может — лепестки.
Лишь старый камень тих. В молчании его
Не то печаль, не то надежды волшебство.

В блаженный этот час найдется ль кто-нибудь,
Кто в душу бы ему надумал заглянуть?..
Любовь моя,— молю,— не покидай меня,
Ведь жизнь лишь началась, надеждами маня.

.

Вечная жажда самопознания и самоусовершенствования, философское проикновение в тайны человеческой души нашли отражение в книге «Берега остаются». Концентрируя внимание на духовном и нравственном началах, поэт чутко ощущает связь времен: в художественном наследии народа, в его традициях он видит истоки, обогащающие нравственный мир современника.

От философской лирики поэт переходит к высокой романтике. В цикле стихов «Монологи Прометея» (1980), проникнутых гражданским пафосом, поэт создает образ-идеал человека нового времени, ставя перед ним высокий пример подвижника, титана. Лирический герой Карима чувствует себя ответственным за будущее не только своего народа, но и всей цивилизации:

Провидцем значусь и считаюсь богом...
Нет, я ребенок, ищущий дорогу.

Перед рассветом, сбросив мрака бремя,
Поэту вняв, остановил я время —

На миг остановил, и ввысь я глянул,
И глянул вниз — и в тот же миг отпрянул:

Там, скорчившись, вселенная застыла,
За миг лишь стала старой и бескрылой.

Мир безобразный был мной обнаружен,
Когда был ход, черед и лад нарушен.

Опасно вечности часы качнулись...
Но люди в ту секунду не очнулись:
Но люди крепко спали в утомленье
И не заметили того мгновенья...

Ответственность за будущее планеты звучит и в пьесе «Коня диктатору!» (1979). В поисках новых форм художественного воплощения этой идеи, автор как бы раздвигает границы сценического жанра, превращая трагедию в фарс, уподобляя глупости манию величия «современных фараонов».

Жанровое разнообразие драматургии Мустая Карима (драмы, комедия, трагедии, фарс, притча), переход от одних видов сценических форм к другим свидетельствует о богатейших возможностях его таланта. От пьесы к пьесе писатель не только совершенствуется в этом жанре, но и как мыслитель поднимает серьезные морально-общественные проблемы. Многие герои его пьес несут в себе черты людей коммунистического будущего, демонстрируя силу добра, гуманизма, творческого, заинтересованного отношения к жизни. Таков, например, Махмут Юлбердин в пьесе-притче «Пеший Махмут» (1981). Здесь же автор выступает против потребительства, сожалея о тех,

кто попался в коварные сети мещанства. Но, создавая свой идеал человека, писатель отнюдь не однозначен и категоричен, напротив, он призывает читателя вместе с ним поразмыслить над извечными общечеловеческими проблемами. Эта гибкость и мудрость писателя способствовали его глубокому проникновению в сложные явления современной жизни.

Сейчас Мустай Карим в расцвете творческих сил. Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, народный писатель, Мустай Карим много сил и энергии отдает делу своей жизни — литературе. Поэт, прозаик, драматург, он пишет также литературно-критические статьи, рецензии, очерки, публицистические заметки. И о чем бы он ни писал, он всегда выступает как гуманист, отстаивающий добро, правду, справедливость. Тепло отозвался о Мустае Кариме Кайсын Кулнев: «Живет рядом с нами крупный человек-поэт... Он дорог нам прежде всего своей большой человеческой добротой. Я имею в виду ту доброту, которой движимо все прекрасное на земле. Через нее печется хлеб, слагается колыбельная песня и совершаются подвиги».

Точнее, пожалуй, не скажешь.

Н. ГАЙДУКОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО. Повесть	5
КОНЯ ДИКТАТОРУ! Фарс в двух частях	263
ПЕШИЙ МАХМУТ. Притча в двух действиях	317
Об авторе	361

Мустай КАРИМ
ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Г. Метченко

Редактор Н. Гайдукова

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор Л. Сухоставская



ИБ № 795

Сдано в набор 21. 03. 84. Подписано в печать 22. 06. 84. А06082.

Формат 84×108^{1/32}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,57. Уч.-изд. л. 19,80. Тираж 268 000 экз. Заказ № 3094.

Цена 1 руб. 60 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
103791, ГСП, Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени тип. изд. «Звезда».
614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

**В 1984 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

В. Богомолов. Момент истины. Роман. Повести. Рассказы.

Г. Глазов. Расшифровано временем. Повести. Рассказы.

Д. Гусаров. За чертой милосердия. Цена человеку. Романы.

Ю. Давыдов. Две связки писем. Судьба Усольцева.

М. Заринь. Фальшивый Фауст. Романы. Перевод с латышского.

М. Карим. Долгое-долгое детство. Повесть. Пьесы. Перевод с башкирского.

Т. Каипбергенов. Сказание о Маман-бие. Роман. Перевод с каракалпакского.

И. Кашафутдинов. Глубина. Повести. Рассказы.

А. Коптелов. Точка опоры. Роман.

Г. Медынский. Ступени жизни.

Ю. Мушкетик. Позиция. Роман. Повести. Перевод с украинского.

В. Петросян. Одинокая орешина. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

Ш. Рашидов. Величие сердца. Роман. Повесть. Перевод с узбекского.

Ю. Семенов. Альтернатива. Романы.

Узбекские повести.

Карим Мустай (Каримов Мустафа Сафич)

К23 Долгое-долгое детство. Коня диктатору! Пеший Махмут. Повесть. Пьесы. Авторизованный перевод с башкирского И. Каримова.— М.: Известия, 1984.— 368 с., ил.

В книгу народного поэта Башкирии, Героя Социалистического Труда Мустая Карима входит повесть «Долгое-долгое детство» — лирическое повествование о судьбах людей его поколения, о довоенном детстве, о фронтовой юности, о послевоенной поре зрелости и драматургия: политическая сатира «Коня диктатору!» и пьеса-притча «Пеший Махмут».

470211C000—073
К — 674(02)—84 65—84 подписное

ББК84 Баш.7
С[Баш.]2

Художник М. ХУДАТОВ

